Евфросиния
Керсновская

ПРАВДА КАК СВЕТ

Книга 2

Правда как свет!
Никогда луч тьмы не проникает
в светлое пространство.
Поэтому ваша черная ложь
боится правды!

Е. Керсновская

После выхода книги Е.А. Керсновской «Сколько стоит человек» (2006) на русском языке мы регулярно получали просьбы от посетителей сайта gulag.su выпустить очередное издание, так как печатное воспроизведение имеет свои преимущества перед электронным. Письма и постоянные вопросы близких о том, скоро ли увидит свет новая версия воспоминаний Евфросинии Антоновны, вдохновили нас на это издание. Всем тем, кто убедил нас подготовить книгу, — наша искренняя благодарность.

Игорь Чапковский

Одной из первых сменных выставок в нашем Музее была выставка факсимильных копий тетрадей Евфросинии Керсновской «Е. Керсновская. Сколько стоит человек», которая впоследствии начала свое движение по городам России.
У Евфросинии Керсновской не просто удивительная судьба. Это необыкновенный, вдохновляющий пример того, как в нечеловеческих условиях все-таки можно оставаться человеком — мыслящим, преодолевающим, созидающим, сохранившим достоинство и внутреннюю свободу.
Лагерный опыт, переплавленный в художественное наследие, предельно важен для нас и сегодня. Тетради Евфросинии Керсновской напоминают нам, кто мы, откуда мы идем, и, быть может, станут подсказкой, куда и как нам идти завтра.

МУЗЕЙ ГУЛАГА

Роман Романов
Директор Музея ГУЛАГа

Евфросиния Керсновская — величайшая фигура в русской, советской истории. В несвободе, лишенная привычного уклада, в диких условиях ГУЛАГа, на убойных лагерных работах, она зафиксировала то, что стало противоядием от тезиса про эффективность жестокости.
Увидевший рисунки Керсновской не поверит никакому новейшему учебнику истории, утверждающему, что репрессии в СССР оправданы подавлением вражеской «пятой колонны». В эпоху политического средневековья у нас жил и создавал трагичные шедевры художник эпохи Возрождения.
Значит, оно у нас возможно.

Новая газета

Дмитрий Муратов
Главный редактор «Новой газеты»

Евфросиния Керсновская

Правда как свет

Иллюстрированные воспоминания
о сороковых-пятидесятых

Книга 2

MAIER
2014

Концепция издания, руководство проектом:
Игорь Чапковский, Нелли Подгорская

Составление, текстовые связки
между альбомами, примечания,
маршруты на картах:
Галина Атмашкина

Вступительная статья:
Никита Алексеев

Послесловие:
Виталий Шенталинский

Дизайн:
Константин Чубанов

Керсновская Е.А.
Правда как свет: Иллюстрированные воспоминания о сороковых-пятидесятых:
в 2 кн. Кн. 2: Альбомы 6–12 / Евфросиния Керсновская. — М.: ИП Подгорская Н.О.,
2014. — 430 с. : портр., ил.
Евфросиния Антоновна Керсновская (1907–1994) могла избежать тяжелых испытаний, которые начались со ссылки из Бессарабии в Сибирь в 1941 году, но выбрала крестный путь. Она следовала правде, помогала людям и никогда не считала себя жертвой. Пребывание в ГУЛАГе не наложило на нее отпечатка — она осталась «нормальным европейцем». После лагеря и ссылки Евфросиния жила в Ессентуках, написала воспоминания и сама проиллюстрировала их. Представленный здесь альбомный вариант этого произведения — уникальная рукописная книга XX века.

ISBN 978-5-905494-11-6

©Чапковский И. (наследник), текст, рисунки,
фотографии Е. Керсновской, 2014
©Подгорская Н., издатель, 2014
©Чубанов К., дизайн-проект, 2014
©Алексеев Н., вступительная статья, 2014
©Шенталинский В., послесловие, 2014

Книга 2
ISBN 978-5-905494-12-3

Содержание

КНИГА 1

Никита Алексеев
Делай что должен, будь что будет 9

Пролог
1963–1964 28

Альбом 1. Часть 1
1936 — август 1940 30
Развернутые подписи 61

Альбом 1. Часть 2
сентябрь 1940 — июнь 1941 66
Развернутые подписи 100

Альбом 2
июнь — июль 1941 104
Развернутые подписи 126

Альбом 3. Часть 1
июль — декабрь 1941 130
Развернутые подписи 159

Альбом 3. Часть 2
декабрь 1941 — февраль 1942 162
Развернутые подписи 200

Альбом 4. Часть 1
март — апрель 1942 204
Развернутые подписи 246

Альбом 4. Часть 2
апрель — август 1942 250
Развернутые подписи 288

Альбом 5. Часть 1
август 1942 — февраль 1943 292
Развернутые подписи 356

Альбом 5. Часть 2
март — декабрь 1943 362
Развернутые подписи 405

КНИГА 2

Альбом 6
декабрь 1943 — июнь 1944 6

Альбом 7
июль 1944 — декабрь 1945 36

Альбом 8
январь 1946 — май 1947 90

Альбом 9. Часть 1
июнь 1947 — 1948 122

Альбом 9. Часть 2
1949 — октябрь 1952 172

Альбом 10
октябрь 1952 — июль 1956 246

Альбом 11
август — октябрь 1956 282

Альбом 12
октябрь 1956 — май 1960 353

Эпилог
1970-е 424

Виталий Шенталинский
Не убоявшаяся тьмы 426

Сведения об авторах 428

Альбом 6

декабрь 1943 — июнь 1944

6

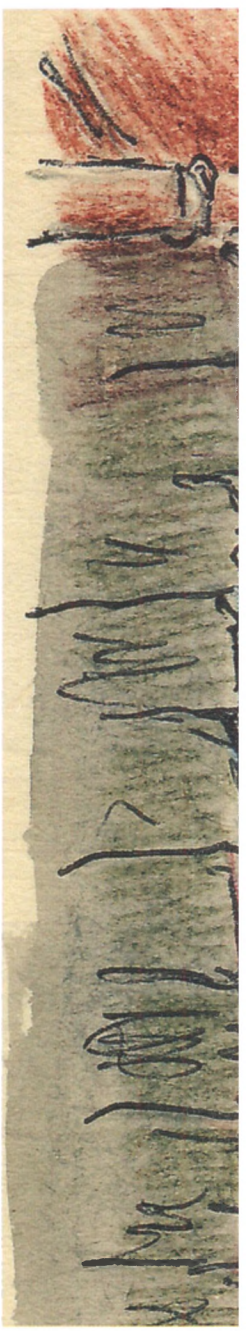
Евфросинию, как ветеринара по специальности, вызвали на лагерную свиноферму, в которой разразилась эпидемия неизвестной болезни. Она вызвалась спасти умирающих свиней, определив с помощью анализов, как их лечить, и сделав им необходимые прививки. Она пошла на этот риск несмотря на предупреждение врача Сарры Гордон, которая спасла ее от дистрофии в лагере Межениновка и теперь, будучи проездом в Ельцовке, советовала не браться за эту работу, потому что, если прививки не помогут, ее могут обвинить во вредительстве и расстрелять. Спасти свиней удалось, и Евфросиния принялась налаживать работу свинофермы.

Евфросиния продолжала опекать ослабевшую после родов Веру Леонидовну Танькову, которой она отдавала почти весь свой хлебный паек. По ее просьбе Евфросиния окрестила ее новорожденного сына Дмитрия в комнате для кормящих матерей в бараке. Вскоре Танькову с ребенком перевели в другой лагерь, и след ее потерялся.

Работа Евфросинии ветеринаром не устраивала лагерное начальство, потому что она отказывалась подписывать фиктивные акты о гибели свиней, по которым охранники могли получать парное мясо сверх им положенного. Евфросиния действовала, как всегда, прямодушно, открыто высказывала все, что думала, и это послужило поводом для доносов на нее. Сначала ее перевели на строительство клуба комсомола. Евфросиния уже привыкла к животным и не могла понять, почему ее оторвали от дела. Она не знала, что перед арестом принято было человека уволить с работы и тем самым деморализовать.

18 апреля 1944 года ее арестовали и посадили в подземную тюрьму лагеря.

22 июня 1944 года постоянная сессия Новосибирского областного суда по делам ИТЛиК НКВД на основании статьи 58–10 приговорила Евфросинию к 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в гражданских правах. Неотбытая мера наказания поглощалась данным приговором. Вместо восьми лет ей предстояло отбывать десять.



АЛЬБОМ 6. РИС. 12 (ФРАГМЕНТ)

— Керсновская! Кто здесь Керсновская?*
— Керсновская — я! А в чем дело?
— Скажите, вы можете принимать поросят? ...В личном деле записано, что вы учились в ветеринарном.

Помещение было очень хорошее, но, Боже мой, в каком состоянии были сами свиньи! Грязные, худые, они не могли встать на ноги и визжали от боли и голода. Было много больных, но чем?! Чумой? Рожей? Сибирской язвой? Ревматизм смазывал картину. Надо было это все выяснить. И я решила действовать.

* В книге 2 отсутствует раздел «Развернутые подписи», так как в данных альбомах автор дает достаточно полные пояснения к рисункам. Текстовые вставки из тетрадного варианта произведения Евфросинии выделены в подрисуночных подписях полужирным начертанием шрифта. (*Прим. ред.*)

Перед самым моим приходом подох подсвинок, осмотр и вскрытие не дали исчерпывающего ответа, оставалось одно — послать части органов в эпидемиологическую станцию... Я нашла конвоира и распорядилась таким авторитетным тоном, что он сейчас же повел меня к начальнику.

Боже! Он так шарахнулся от меня, что чуть не опрокинул стул. Я ему объяснила, что содержимое банки не опасно, но **его** необходимо отправить в санбаклабораторию, а когда будет установлен диагноз, необходима вакцина и все, что необходимо для прививки.

Успокоившись, Волкенштейн обещал выполнить все, что нужно. И обещание он сдержал.

Несмотря на предостережение Сарры Абрамовны, **«что из-за этих обреченных свиней вас расстреляют»**, я перешла Рубикон — сделала прививку всем свиньям, придерживаясь инструкции, приложенной к присланному мне материалу, и, отчасти, собственного вдохновения! И все получилось на редкость удачно, чему я по сей день не перестаю удивляться. Ведь пациенты были истощены. Многие уже заражены. Доза зависит от живого веса. А если он… полуживой?!

Однако и тут мне сопутствовала удача, порой необъяснимая.

Несмотря на предостережение Сарры Абрамовны „я перешла Рубикон" - сделала прививку всем свиньям, придерживаясь инструкции, приложенной к присланному мне материалу... и, отчасти - собственного вдохновения! И всё получилось наредкость удачно..., чему я, по сей день не перестаю удивляться. Ведь „пациенты" были истощены. Многие - уже заражены. Доза зависит от „живого веса"! А, если он... полуживой?! Однако и тут мне сопутствовала удача, порой - необъяснимая.

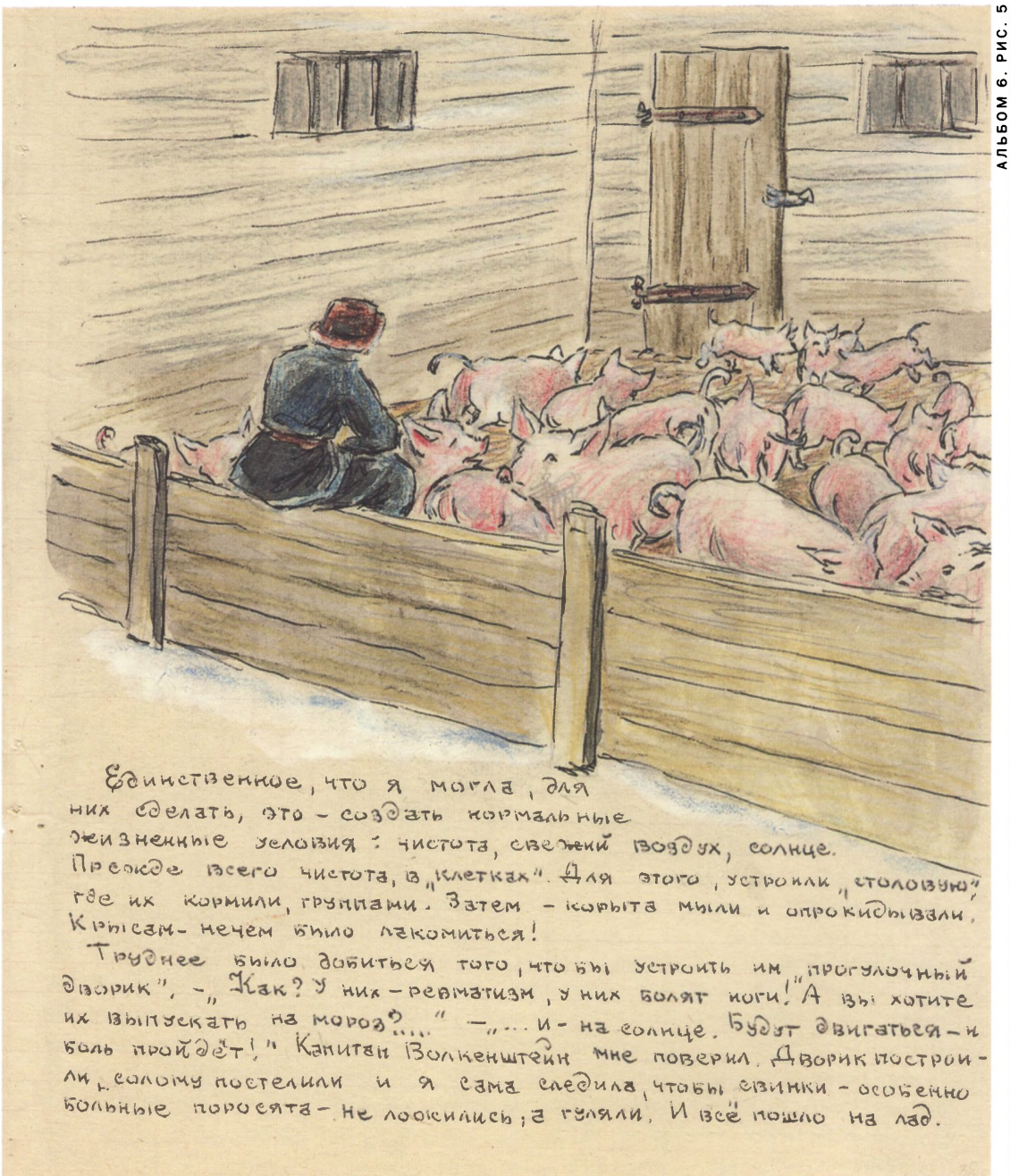
Крысы... Это просто бич Божий! Сколько раз я просыпалась под навалившейся на меня тяжестью. Сплошной ковер из шевелящихся омерзительных крыс. Я закутывала голову, но все равно то одна, то другая впивалась зубами то в ухо, то в губу. Они нисколько не боялись, и глаза их сверкали в темноте, и отовсюду слышался шорох и злобный писк.

Крысы.... Это - просто „бич Божий"! Сколько раз я просыпалась под, навалившеюся, на меня, тяжестью. Сплошной ковёр из шевелящихся омерзительных крыс. Я закутывала голову, но, всё равно, то одна, то другая, впивалась, зубами - то в ухо, то - в губу. Они нисколько не боялись и глаза их сверкали, в темноте и отовсюду слышался шорох и злобный писк.

Единственное, что я могла для них сделать, — это создать нормальные жизненные условия: чистота, свежий воздух, солнце. Прежде всего чистота в клетках. Для этого устроили столовую, где их кормили группами. Затем корыта мыли и опрокидывали. Крысам нечем было лакомиться!

Труднее было добиться того, чтобы устроить им прогулочный дворик.
— Как? У них ревматизм, у них болят ноги! А вы хотите их выпускать на мороз?
— ...и на солнце. Будут двигаться, и боль пройдет!

Капитан Волкенштейн мне поверил. Дворик построили, солому постелили, и я сама следила, чтобы свинки, особенно больные поросята, не ложились, а гуляли. И все пошло на лад.



АЛЬБОМ 6. РИС. 5

Вообще окрестить слабенького ребенка in articulae mortis* вправе любой человек, который может прочесть «Символ веры». В крайнем случае имеет на это право и женщина. Я взяла крестик, погрузила его в воду и медленно и отчетливо прочитала молитву Господню «Отче наш». Затем Вера Леонидовна вынула из чемодана своего ребенка, передала его мне и опустилась рядом с ящиком на колени, сжав руки и уронив на них голову.**

Свеча, воткнутая в бутылку, слабо освещала большой ящик, заменяющий аналой. На моих руках, на куске белой байки, слабо сучил ножками юный внук и правнук адмиралов Невельских, так много сделавших для России. Момент был торжественным... Святого мура*** не было, и я начертила знаки креста, макая крестик в воду, на лбу, на груди, на паху, на ладонях и подошвах со словами:

* In articulae mortis – при смерти (*лат.*).

** Вскоре Веру Леонидовну Танькову отправили, возможно, в Мариинские лагеря, где были детские дома, куда помещали детей заключенных. Судьба ее и ее сына Дмитрия неизвестна.

*** Святое миро (муро, благовонное масло) необходимо для Таинства Миропомазания.

АЛЬБОМ 6. РИС. 6

Свеча, воткнутая в бутылку, слабо освещала большой ящик, заменяющий аналой. На моих руках, на куске белой байки, слабо сучил ножками юный внук и правнук адмиралов Невельских, так много сделавших для России. Момент был торжественным... „Святого мура" не было и я начертила знаки креста, макая крестик в воду – на лбу, на груди, в паху, на ладонях и подошвах, со словами: „пусть чувства твои будут чисты, разум – ясен. Пусть путь твой будет направлен к добру, поступки твои служат правде. Да будет воля Твоя, Господи! Аминь!"

И опять все откликнулись: Аминь! Все женщины, одна за другой, опустились на колени.

— Пусть чувства твои будут чисты, разум — ясен. Пусть путь твой будет направлен к добру, поступки твои служат правде. Да будет воля Твоя, Господи! Аминь!

И опять все откликнулись: «Аминь!» Все женщины, одна за другой, опустились на колени.

АЛЬБОМ 6. РИС. 6 (ФРАГМЕНТ)

Теперь, столько лет спустя, мне самой кажется неестественным тот фанатизм, с которым я боролась за жизнь своих подопечных! Мне давали литр молока для подкормки слабых поросят. Теперь мне понятно негодование работников свинофермы: они надеялись забелить этим молоком ту овсянку, которой они питались. Ела поросячью овсянку и я, но без молока. Молоко все, до последней капли, я размешивала с кашей, которой кормила с ложечки слабеньких поросят. У меня не только слюнки, но и слезы текли от зависти и, чтобы противостоять соблазну, я пела, пока кормила молочной кашей слабеньких.

АЛЬБОМ 6. РИС. 7

Теперь, столько лет спустя, мне самой кажется неестественным тот фанатизм, с которым я боролась за жизнь своих подопечных! Мне давали литр молока, для подкормки слабых поросят. Теперь мне понятно негодованье работников свинофермы - они надеялись забелить этим молоком ту овсянку, которой они питались. Ела поросячью овсянку и я, но... без молока. Молоко все, до последней капли, я размешивала с кашей, которой кормила, с ложечки, слабеньких поросят. У меня - не только "слюнки", но и слёзы текли, от зависти и, чтобы "противостоять соблазну" я... пела, пока кормила, молочной кашей "слабеньких".

Я уснула в клетке свиньи, которая должна была опороситься. Ночью я проснулась от какого-то гулкого топота. Глянув через загородку, я остолбенела и даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю: Петя — тот Петя, с переломом позвоночника, который на костылях являлся на работу в пошивочную, — этот парализованный Петя... отплясывал, размахивая костылями, вместе с нашим Николой.

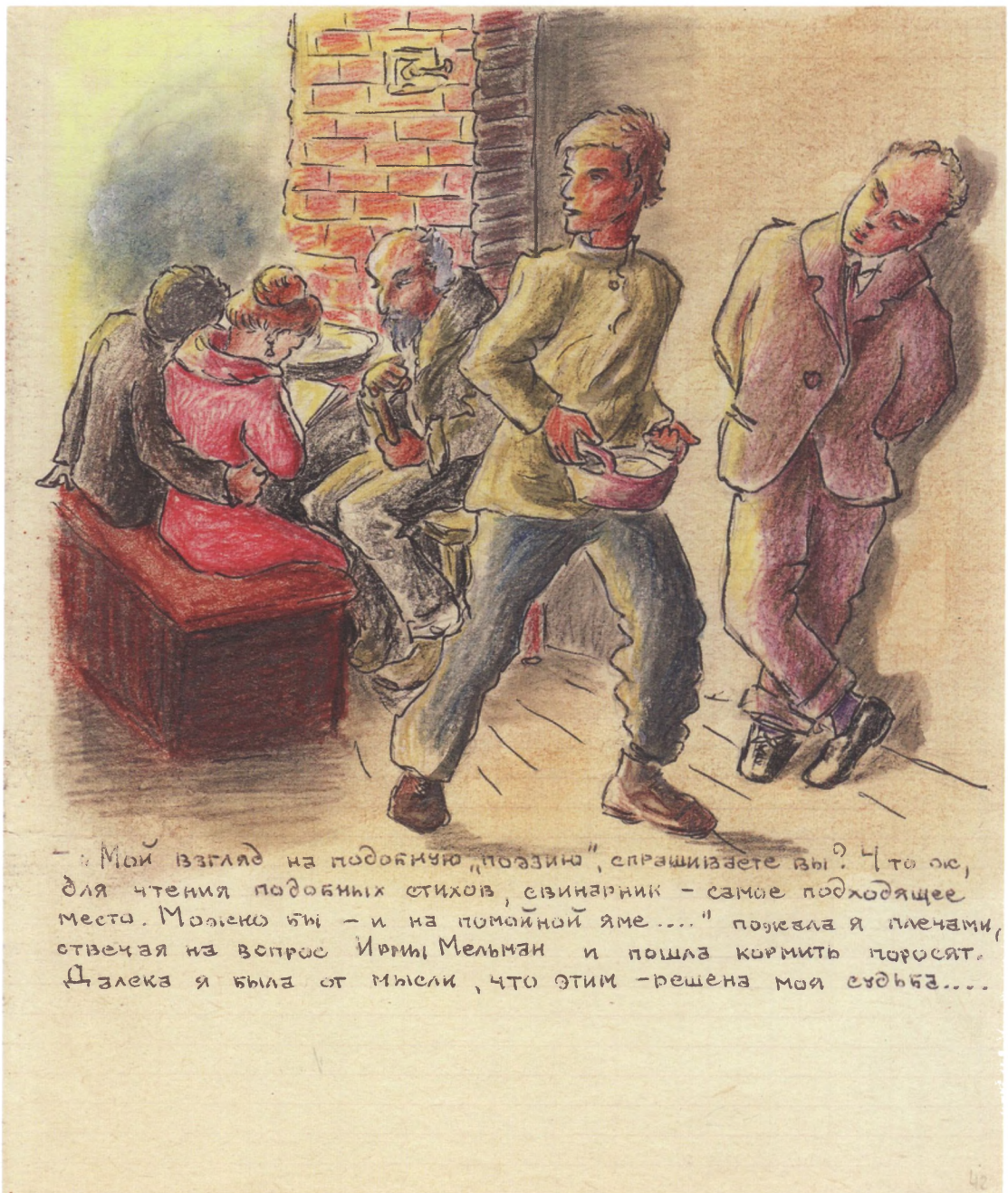
Ну и ну! Вот это ловкач!

Я уснула в клетке свиньи, которая должна была опороситься. Ночью я проснулась от какого-то гулкого топота. Глянув через загородку, я остолбенела и даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю: Петя – тот Петя, с переломом позвоночника, который, на костылях, являлся на работу в пошивочную, этот парализованный Петя.... отплясывал, размахивая костылями, вместе с нашим Николой.

Ну и ну! Вот это – ловкач!

Как-то бывший ветеринарный работник свинофермы Ирма Мельман принесла целый сборник антирелигиозной поэзии.

— Мой взгляд на подобную поэзию спрашиваете вы? Что ж, для чтения подобных стихов свинарник — самое подходящее место. Можно бы и на помойной яме... — пожала я плечами, отвечая на вопрос Ирмы Мельман, и пошла кормить поросят. Далека я была от мысли, что этим решена моя судьба.



АЛЬБОМ 6. РИС. 9

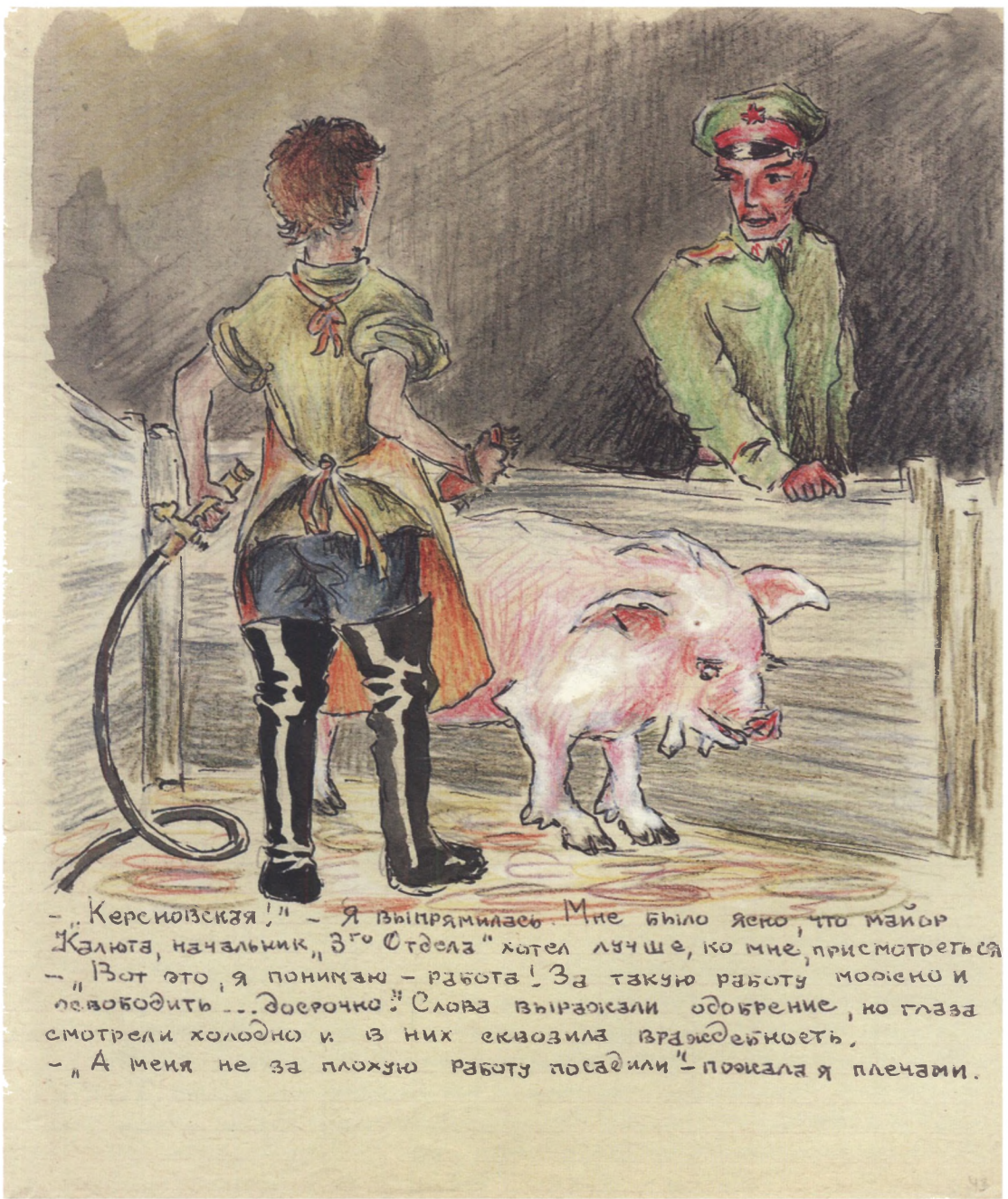
— Керсновская!

Я выпрямилась. Мне было ясно, что майор Калюта, начальник 3-го отдела, хотел лучше ко мне присмотреться.

— Вот это, я понимаю, работа! За такую работу можно и освободить... досрочно. — Слова выражали одобрение, но глаза смотрели холодно, и в них сквозила враждебность.

— А меня не за плохую работу посадили, — пожала я плечами.

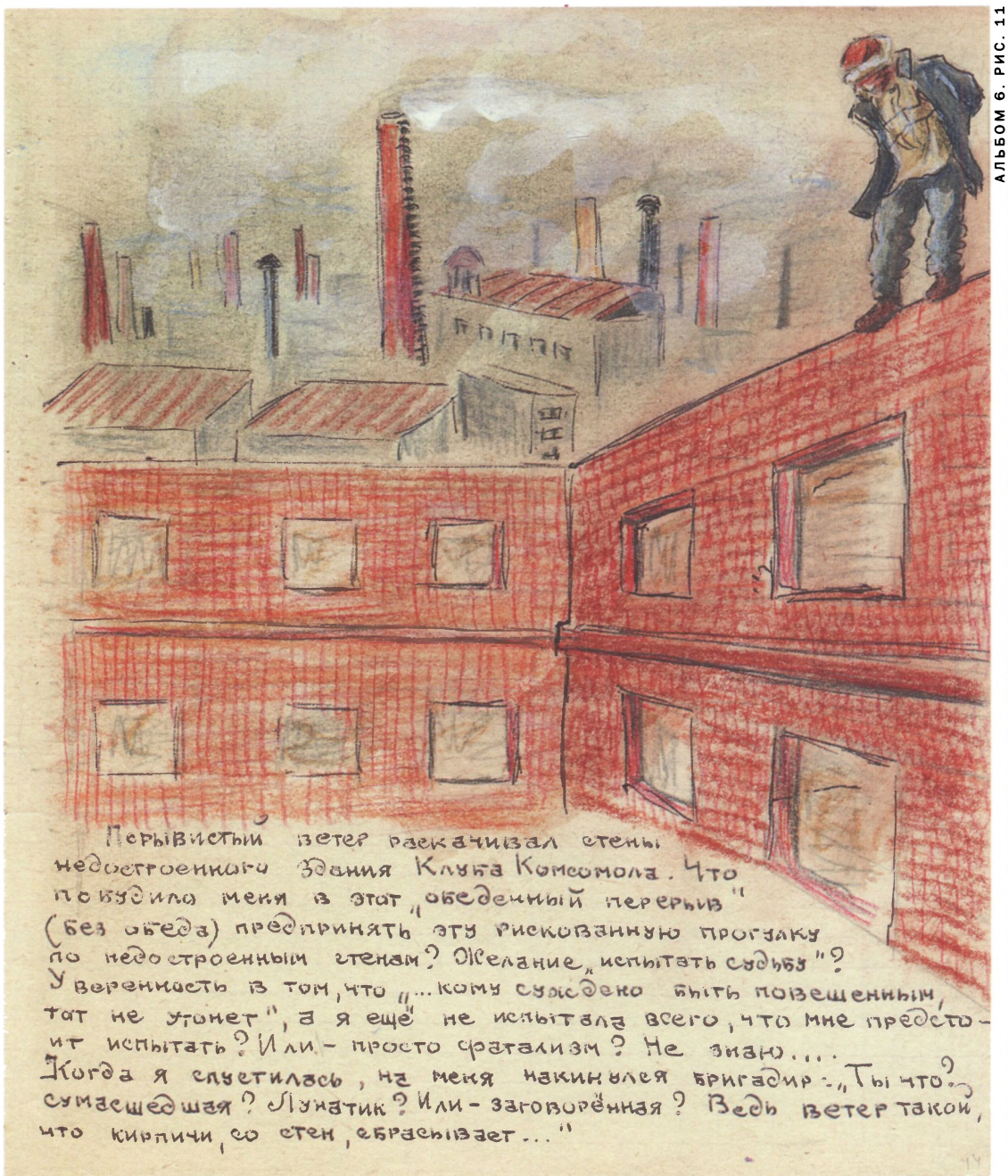
Чем объясняется этот визит майора Калюты, я поняла значительно позже: моим отказом написать фальшивый акт о падеже подсвинка, чтобы работник НКВД мог увезти в командировку в Москву чемодан мяса.



Порывистый ветер раскачивал стены недостроенного здания Клуба комсомола. Что побудило меня в этот «обеденный перерыв» (без обеда) предпринять эту рискованную прогулку по недостроенным стенам? Желание испытать судьбу? Уверенность в том, что «кому суждено быть повешенным, тот не утонет», а я еще не испытала всего, что мне предстоит испытать? Или просто фатализм? Не знаю...

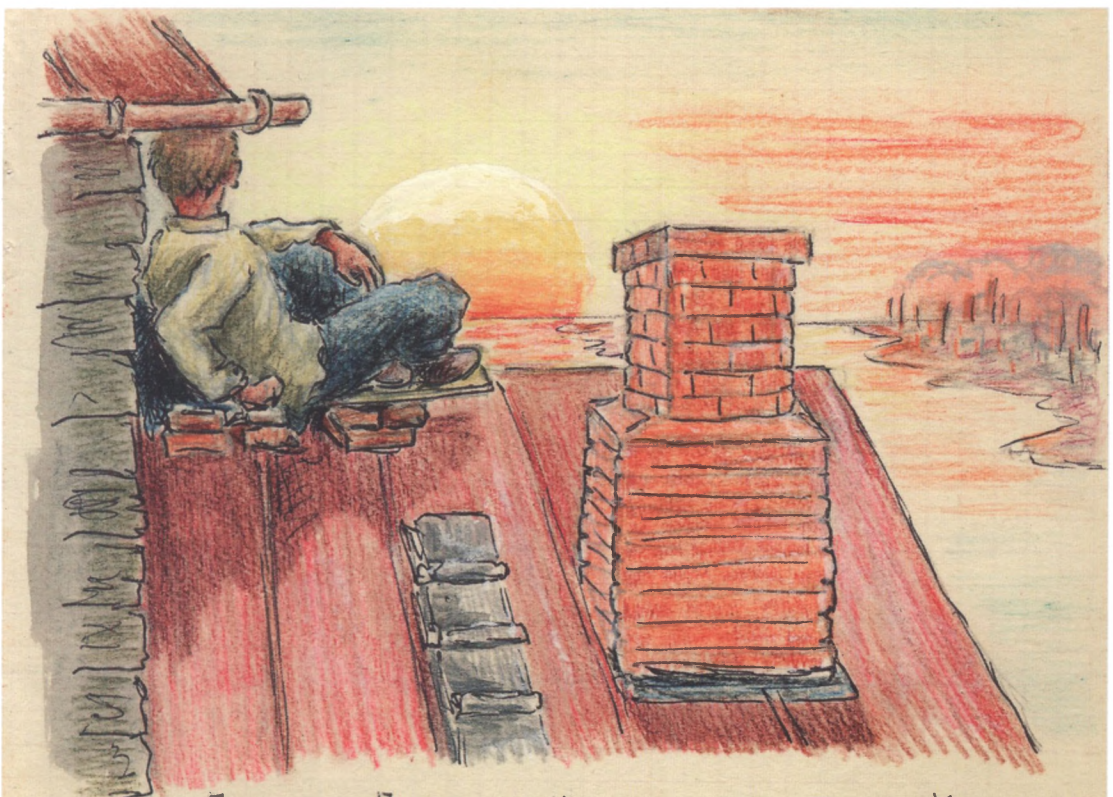
Когда я спустилась, на меня накинулся бригадир:

— Ты что? Сумасшедшая? Лунатик? Или заговоренная? Ведь ветер такой, что кирпичи со стен сбрасывает...



АЛЬБОМ 6. РИС. 11

Провести Пасхальную ночь на крыше барака — как, почему пришла мне такая дикая идея в голову? Не знаю. Но это была удачная идея. Я ужасно озябла и не сомкнула глаз, подмостив под себя несколько кирпичей и пару дощечек. Зато ничто не мешало мне мысленно перенестись в далекие края к тем, кто был мне близок. И я встретила солнечный восход. Здесь Обь поворачивает на запад и разделяется островом надвое. И Пасхальное Солнце — огромное, оранжево-огненное — вынырнуло из расплавленного золота Оби. Я повернулась лицом на запад — туда, где все, что мне дорого. Запад еще тонул в сиреневой мгле. Новосибирск светился тысячами окон, в которых отражалось солнце. Они вспыхивали и гасли. Солнце оторвалось от Оби и стало шаровидным и ярким-ярким! — Христос воскресе! — сказала я вслух и мысленно добавила: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» И мне стало на душе спокойно, и я себе сказала: «Держись и не сдавайся: солнце взойдет!»



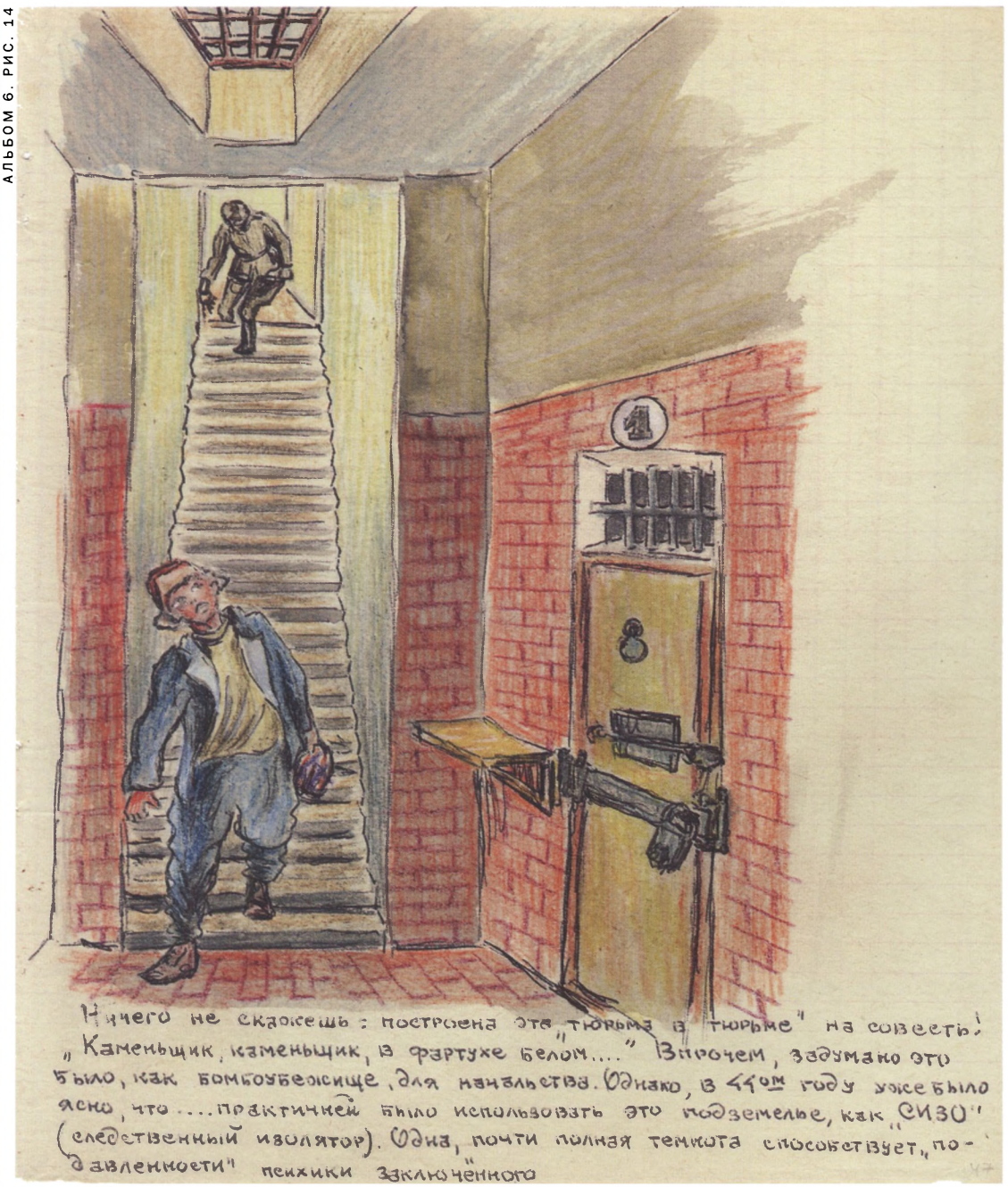
Провести Пасхальную Ночь на крыше барака. Как, почему пришла мне такая дикая идея в голову? Не знаю... Но это была удачная идея. Я ужасно озябла и не сомкнула глаз, подмостив под себя несколько кирпичей и пару дощечек. Зато ничто не мешало мне, мысленно, перенестись в далёкие края к тем, кто был мне близок. И я встретила солнечный восход. Здесь Обь поворачивает на запад и разделяется, островом, надвое. И „Пасхальное Солнце" — огромное, оранжево-огненное, — вынырнуло из расплавленного золота Оби. Я повернулась, лицом, на запад — туда, где всё, что мне дорого. Запад ещё тонул в сиреневой мгле. Новосибирск светился тысячами окон, в которых отражалось солнце. Они вспыхивали и гасли. Солнце оторвалось от Оби и стало шаровидным и ярким-ярким! „Христос Воскресе!" сказала я, вслух и, мысленно, добавила: „Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!" И мне стало, на душе, спокойно и я себе сказала: „Держись и не сдавайся: солнце взойдёт!"

Дома слово «пожар» сразу меня подымало на ноги; в заключении так действует слово «этап». Этап — это перемена, а для невольника всякая перемена — к худшему. Но на сей раз этапу я обрадовалась: наверное, это обратно на ферму! Как я ошиблась!

Ничего не скажешь: построена эта тюрьма в тюрьме на совесть!
«Каменщик, каменщик в фартуке белом...»*

Впрочем, задумано это было как бомбоубежище для начальства. Однако в 1944 году уже было ясно, что практичней было использовать это подземелье как СИЗО (следственный изолятор). Одна почти полная темнота способствует подавленности психики заключенного.

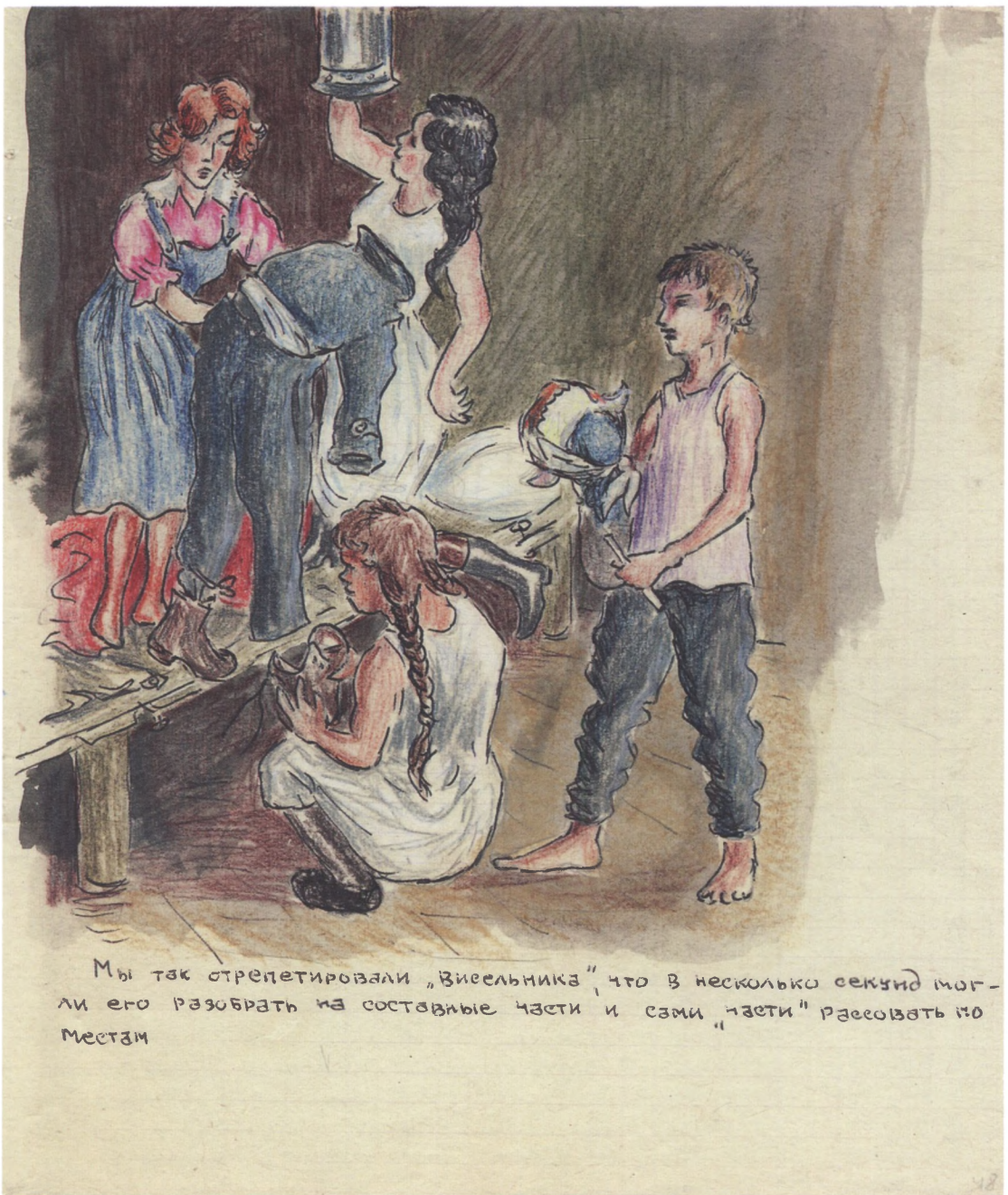
* Из стихотворения В. Брюсова.



В потолке находилась вентиляционная труба. В трубе закреплялась щепка. На этой лучинке и должен был висеть самоубийца — чучело, сделанное из Лидиной подушки, моей телогрейки, шапки и Машкиных ватных брюк.

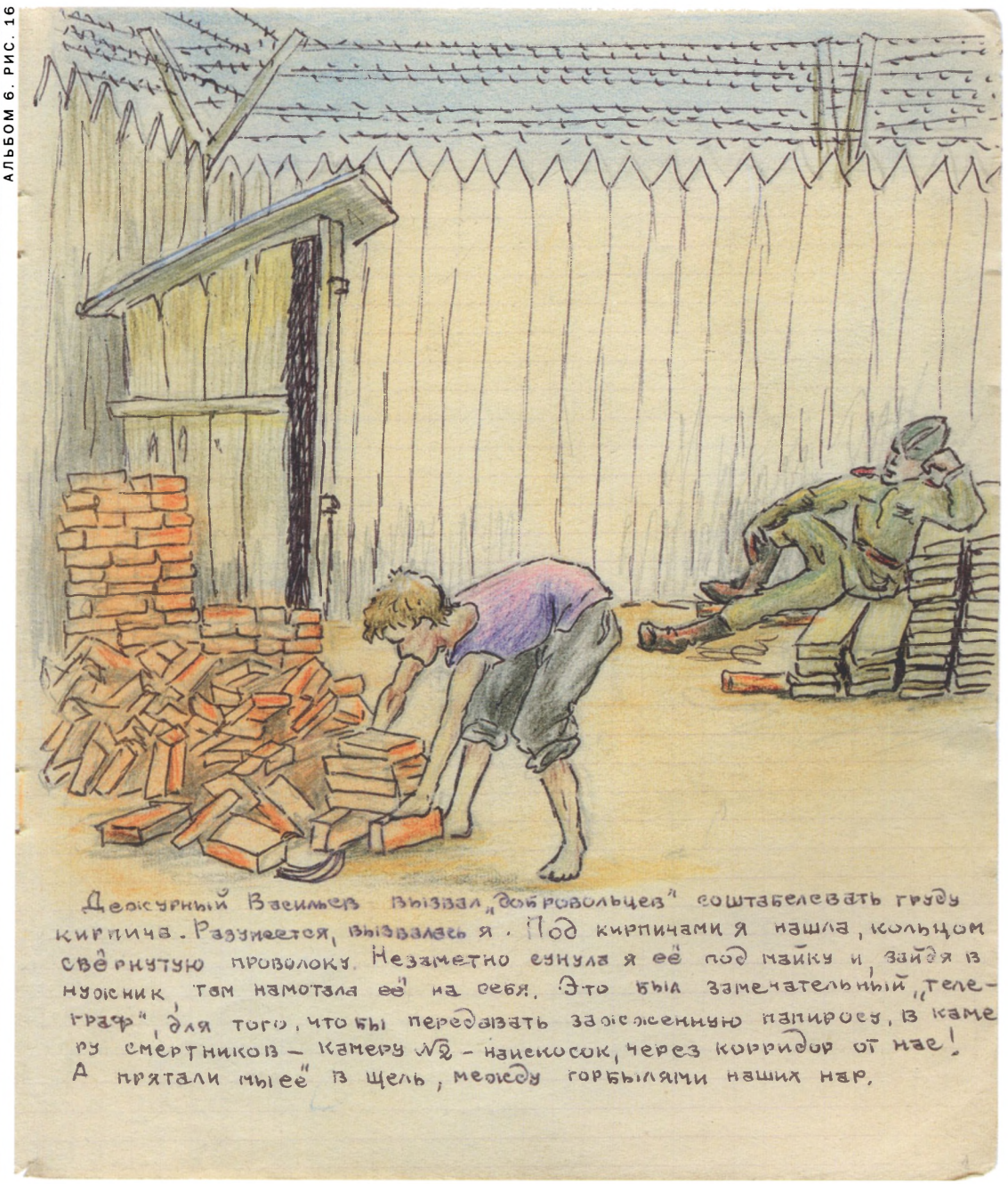
Мы так отрепетировали висельника*, что в несколько секунд могли его разобрать на составные части и сами части рассовать по местам.

* Дежурный Дунаев отобрал у Лиды Арнаутовой накануне суда осколок зеркала и губную помаду, которая ей была нужна, чтобы скрыть бледность — последствие сыпного тифа. Отомстить дежурному можно было, испугав его инсценировкой самоубийства заключенной, за что его могли отправить на фронт.



Дежурный Васильев вызвал добровольцев соштабелевать груду кирпича. Разумеется, вызвалась я. Под кирпичами я нашла кольцом свернутую проволоку. Незаметно сунула я ее под майку и, зайдя в нужник, там намотала ее на себя. Это был замечательный телеграф для того, чтобы передавать зажженную папиросу в камеру смертников — камеру № 2 — наискосок через коридор от нас!

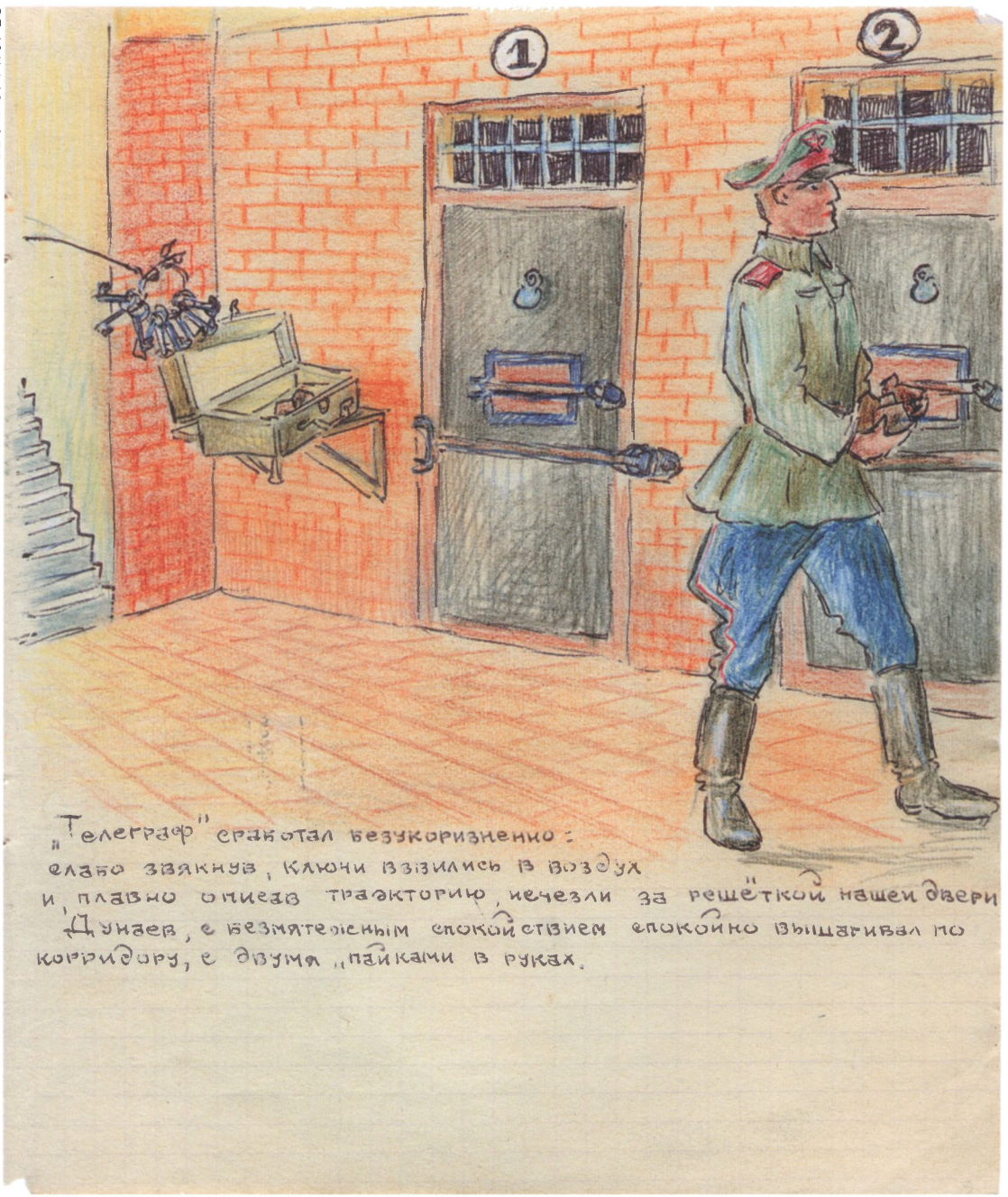
А прятали мы ее в щель между горбылями наших нар.



Вот так мы передавали последнюю папиросу смертнику... Машка Братищева — надежный постамент. На ее спине я могла, твердо стоя, удобно манипулировать «телеграфом», а Лида Арнаутова ловко устанавливала «перископ» — осколок стекла на фоне черной косынки.

«Телеграф» сработал безукоризненно: слабо звякнув, ключи взвились в воздух и, плавно описав траекторию, исчезли за решеткой нашей двери.

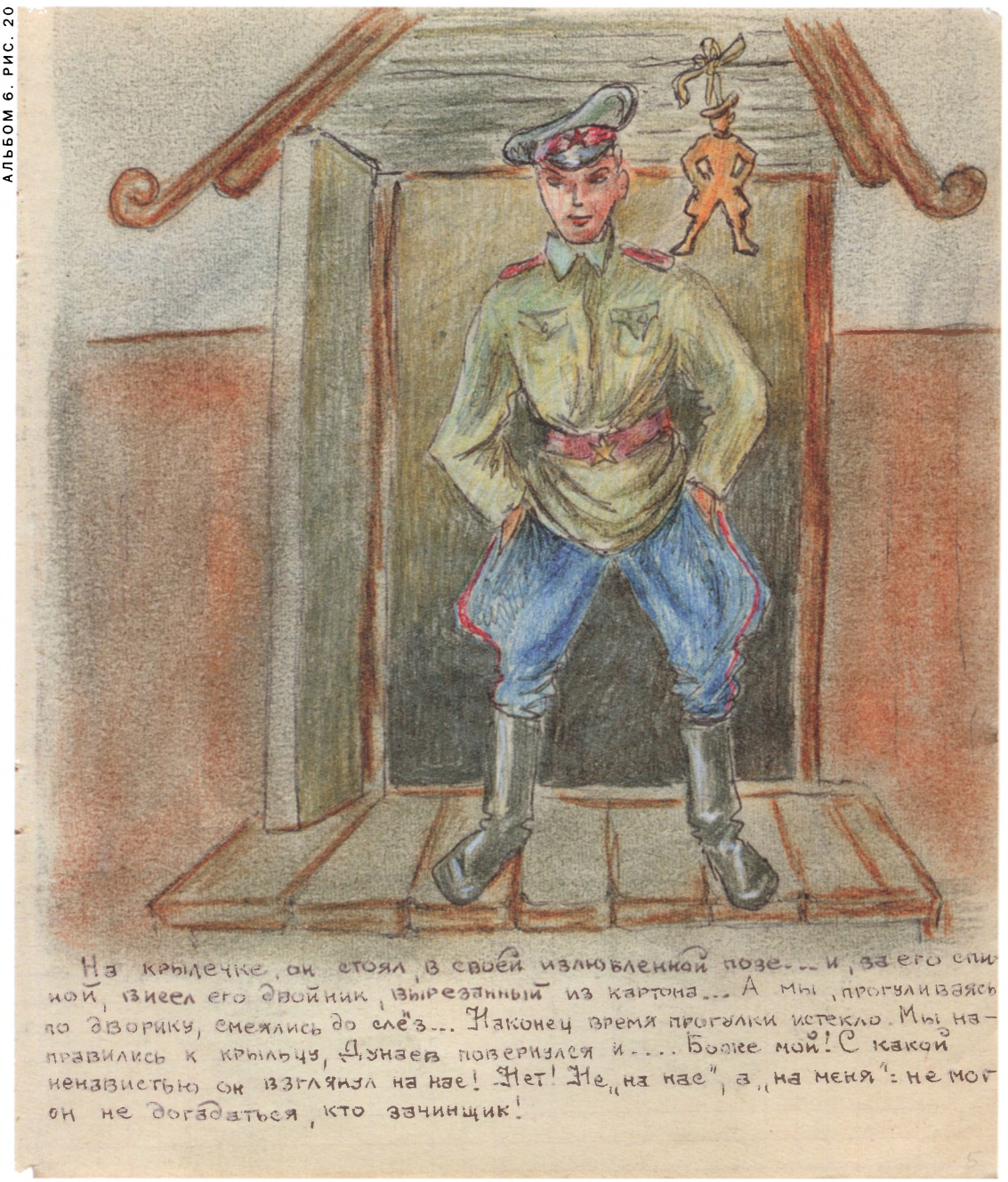
Дунаев с безмятежным спокойствием вышагивал по коридору с двумя пайками в руках.



Ключи были рассунуты в щелях между кирпичами, но не в камере, а снаружи. Воспользовавшись теми несколькими минутами, когда Дунаев пошел вверх в дежурную, связка была развязана и ключи спрятаны. И никому не пришло в голову их там искать! А ремешок Маша Братищева вплела в свою — поистине пышную — косу.

Ключи были рассунуты в щелях между кирпичами, но... не в камере, а снаружи. Воспользовавшись теми несколькими минутами, когда Дунаев пошел вверх, в „дежурную" связка была развязана и ключи спрятаны. И никому не пришло в голову их там искать! А ремешок Маша Братищева вплела в свою - поистине пышную - косу.

На крылечке он стоял в своей излюбленной позе, и за его спиной висел его двойник, вырезанный из картона. А мы, прогуливаясь по дворику, смеялись до слез... Наконец, время прогулки истекло. Мы направились к крыльцу, Дунаев повернулся и... Боже мой! С какой ненавистью он взглянул на нас! Нет! Не на нас, а на меня: не мог он не догадаться, кто зачинщик!



Я догадалась: здесь перлюстрируют письма.

Я смотрела, с каким холодным равнодушием она рвала и бросала в корзину письма, даже не бросив на них хоть самого беглого взгляда! Там было мало настоящих писем. Больше это были треугольнички полевой почты, иногда на обрывке газеты. Может быть, это последний привет сына, мужа... Военная цензура пропустила, а эта, лагерная... Отвращение, как тошнота, подкатывало к горлу. Я — вся дрожала от негодования.

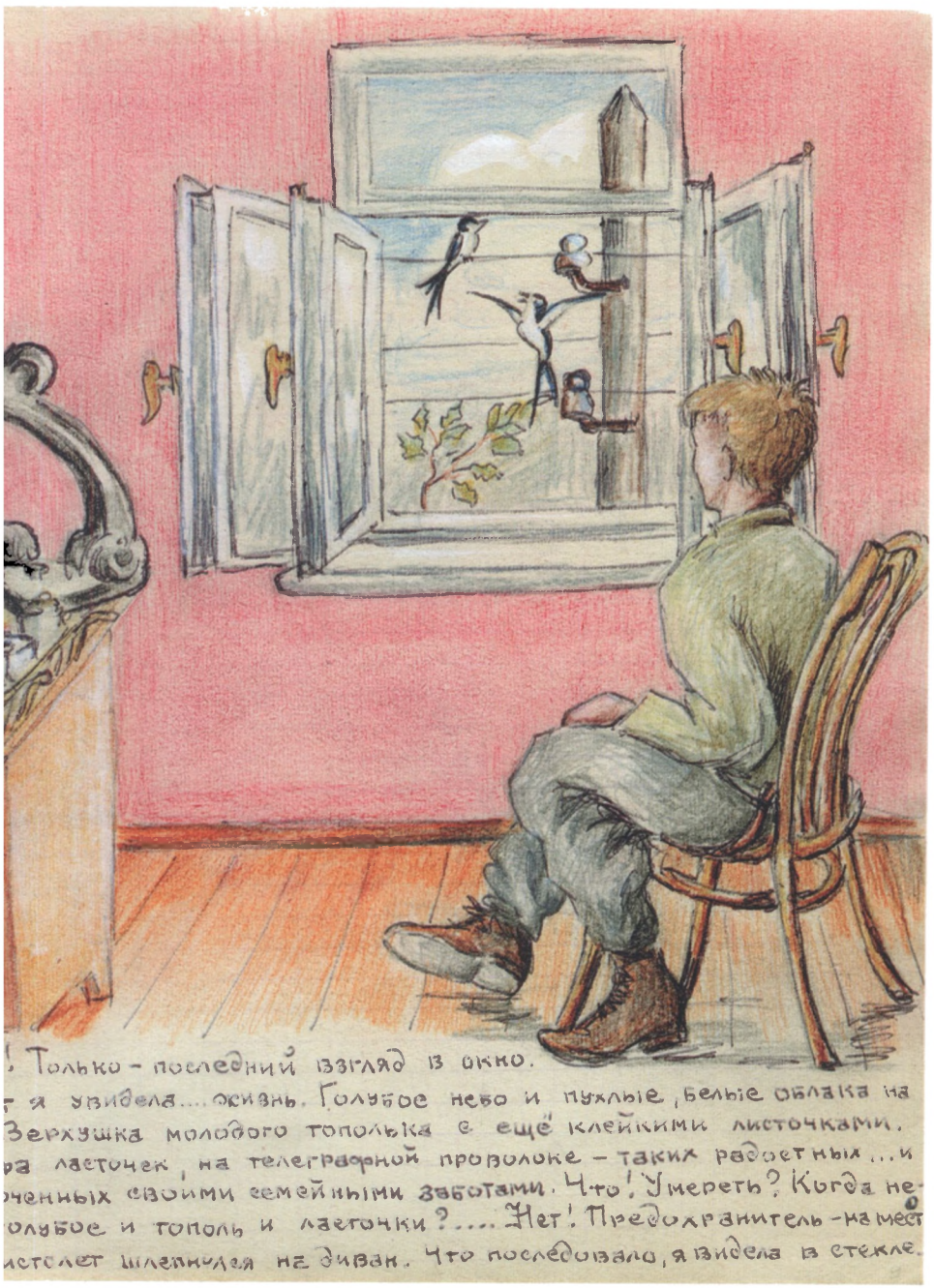
Я так резко толкнула дверь, что она, отскочив от стены, ударила меня так, что я отшатнулась. Следователь наклонился и через мое плечо удержал дверь, причем его расстегнутый китель задрался и моя левая рука оказалась возле расстегнутой кобуры крошечного дамского пистолетика.

Никогда, ни до ни после, я не подвизалась в роли вора-карманника! Как это получилось, что двумя пальцами, к тому же левой руки, я подцепила пистолетик и он перекочевал в рукав моей гимнастерки?

Говорят: самоубийце помогает Сатана. Иначе, как его помощью, я не берусь объяснить легкость, с которой пистолет очутился в моей руке. А что мне дальше с ним делать, у меня не было ни сомнения, ни колебания. На душе было как-то пусто и... смешно. Да, смешно: вот будет следователю задача! Его подследственный в его кабинете из его пистолета застрелился! Вот это хохма! И я сдвинула предохранитель.

Все! Только последний взгляд в окно.

И тут я увидела... жизнь. Голубое небо и пухлые белые облака на нем. Верхушка молодого тополька с еще клейкими листочками. И пара ласточек на телеграфной проволоке — таких радостных и [занятых] своими семейными заботами. Что, умереть? Когда небо голубое, и тополь, и ласточки? Нет! Предохранитель — на место, и пистолет шлепнулся на диван. Что последовало, я видела в стекле.



АЛЬБОМ 6. РИС. 23

АЛЬБОМ 7, РИС. 2
(ФРАГМЕНТ)

Альбом 7
июль 1944 — декабрь 1945

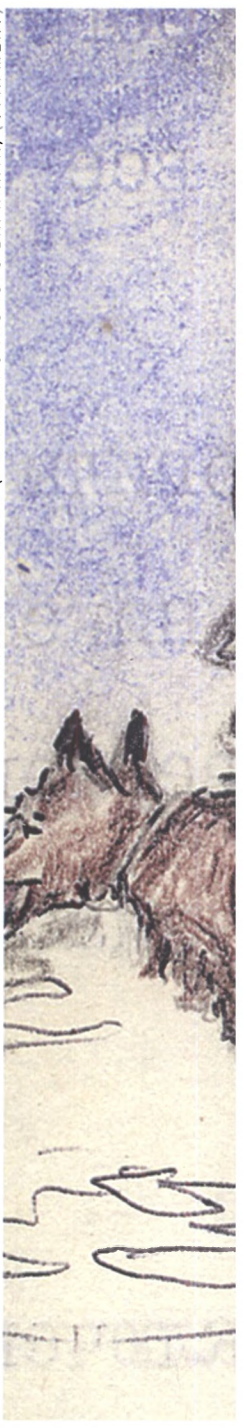
36 После приговора суда Евфросинию перевели в барак усиленного режима (БУР) лагеря Ельцовка под Новосибирском к уголовникам-рецидивистам. Работала она в прачечной, где вручную стирала окровавленное белье, доставленное с фронта. Вскоре всех рецидивистов отправили в Красноярск.

Из порта Злобина под Красноярском, где заключенные сначала занимались погрузкой барж, их повезли по Енисею в Норильск в трюме корабля. Евфросиния заступилась за пожилого человека, над которым издевались уголовники, и тем самым спасла, как оказалось, крупного ученого профессора Н.М. Федоровского.

В Норильск этап прибыл в августе 1944 года. Евфросиния работала на строительстве пятиэтажного городского дома, асфальтировать крышу порой приходилось на четвереньках, и она повредила ногу. Ее не лечили, и болезнь перешла в общее заражение крови. С лихорадкой ее госпитализировали в Центральную больницу Норильского лагеря (ЦБЛ), где хирург Билзенс прооперировал и спас ей ногу. Почти весь медперсонал — заключенные, высококвалифицированные врачи. Им предстояло вернуть заключенных в строй, так как Норильский комбинат давал продукцию оборонного значения.

Больница была частью лагеря, но все же это был «оазис в аду» благодаря начальнику ЦБЛ В.И. Грязневой, которая смогла создать там человеческие условия для заключенных. Такие врачи, как Вера Ивановна Грязнева, Леонхард Мардна, медсестра Маргарита Эмилиевна Ивченко, были интеллигентными, культурными людьми, они ценили Евфросинию и хотели помочь ей.

Выздоровев, она работала медсестрой в нескольких отделениях ЦБЛ: в хирургическом она работала медсестрой, зарисовывала операции И.А. Кузнецова, проходила терапевтическую практику у заведующего отделением Л.Б. Мардны. Евфросиния стала донором крови, а полагавшийся ей высококалорийный паек отдавала тяжелобольным.



АЛЬБОМ 7. РИС. 6 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА) (ФРАГМЕНТ)

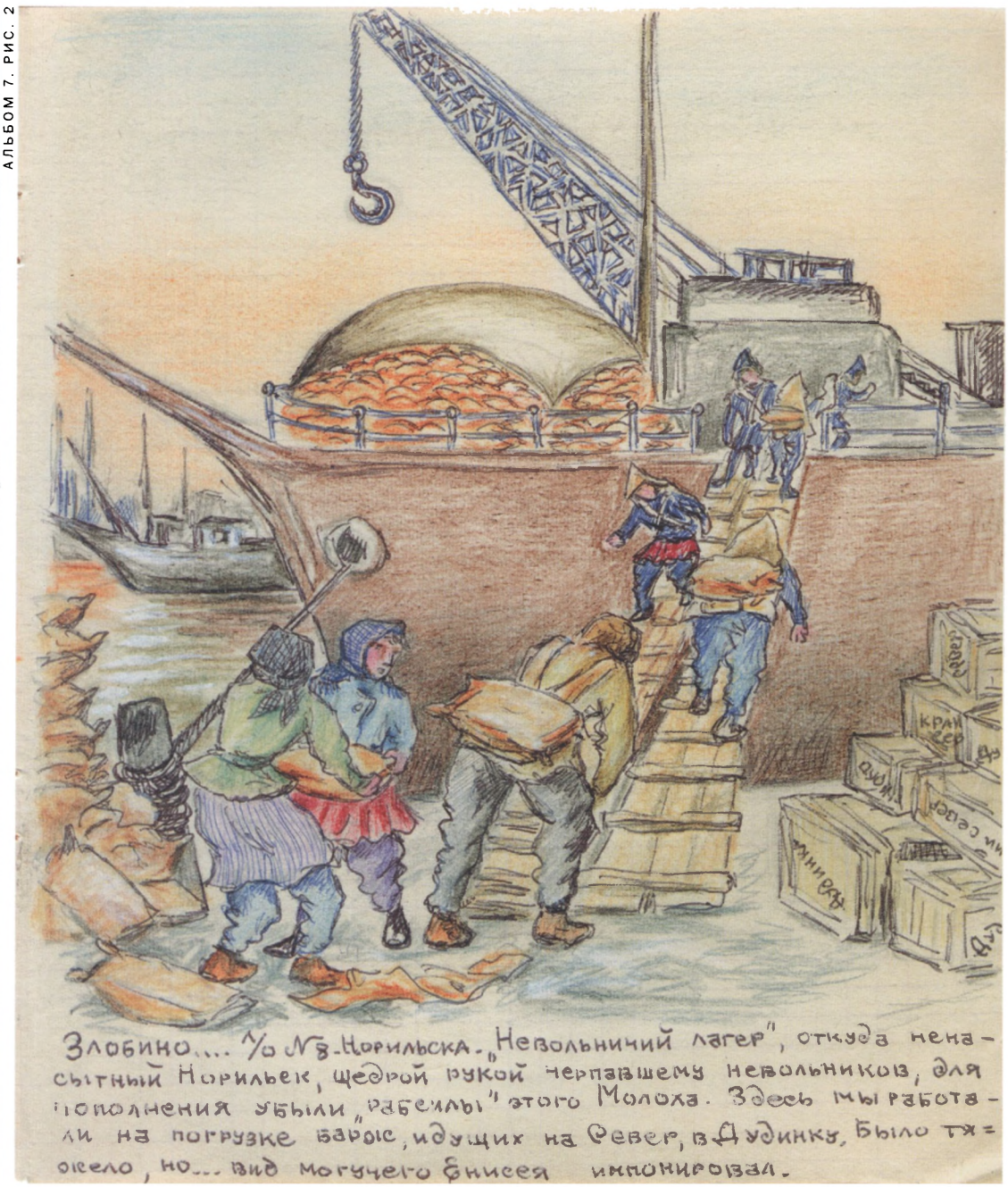
В коллективе инфекционного отделения, где для медперсонала главное было выжить любой ценой, а нуждами тяжелобольных пренебрегали, Евфросиния остаться не могла. Мардна, которого она очень уважала, уговорил ее работать в морге прозектором.

После суда — БУР, барак усиленного режима. И работа: 12 часов стирать окровавленные маскировочные халаты в чуть теплой воде и почти без мыла.

Стирало нас двое: я и глухая от побоев финка. Остальные жучки из БУРа кровавого, заскорузлого белья с фронта не стирали. То мыло, что им давали (пилотка жидкого мыла), расходовали налево и зарабатывали передком, обслуживая охрану.

Злобино... л/о* № 8 Норильска. Невольничий лагерь, откуда ненасытный Норильск щедрой рукой черпал невольников для пополнения убыли рабсилы этого Молоха. Здесь мы работали на погрузке барж, идущих на Север, в Дудинку. Было тяжело, но вид могучего Енисея импонировал.

* Л/о – лагерное отделение.

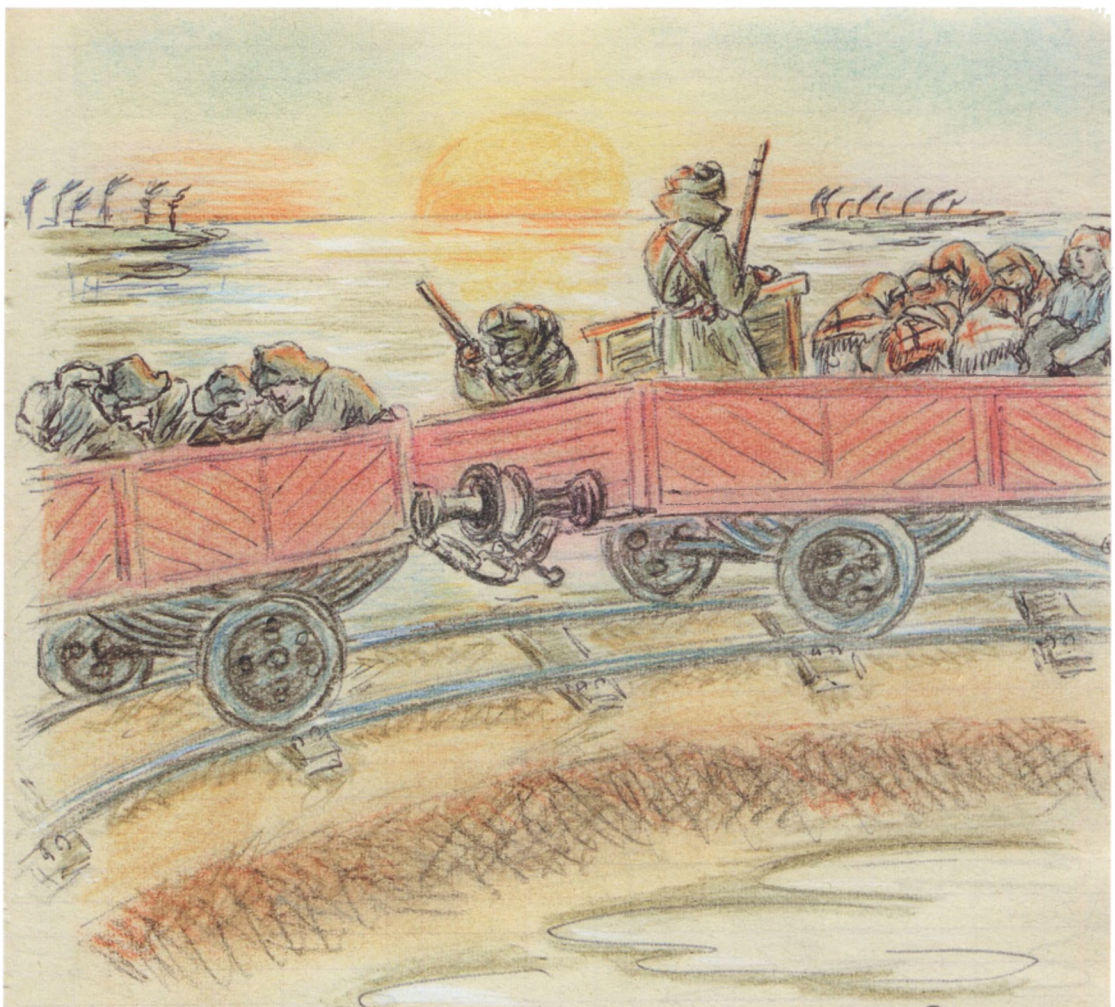


Перепуганные «аисты», **которых грабили уголовницы,** и не подумали сопротивляться и, закрывая лицо руками, попадали на колени вокруг своей, не менее их перепуганной бригадирши Аистовой. Никто из них и не подумал о сопротивлении! Разумеется, в схватку ринулась я, обезоружила ту бандитку, что являлась главарем, и разогнала остальных. Теперь я уже знала, насколько опасно идти против воровского закона, но другой закон продолжал повелевать мною: закон Дон-Кихота.

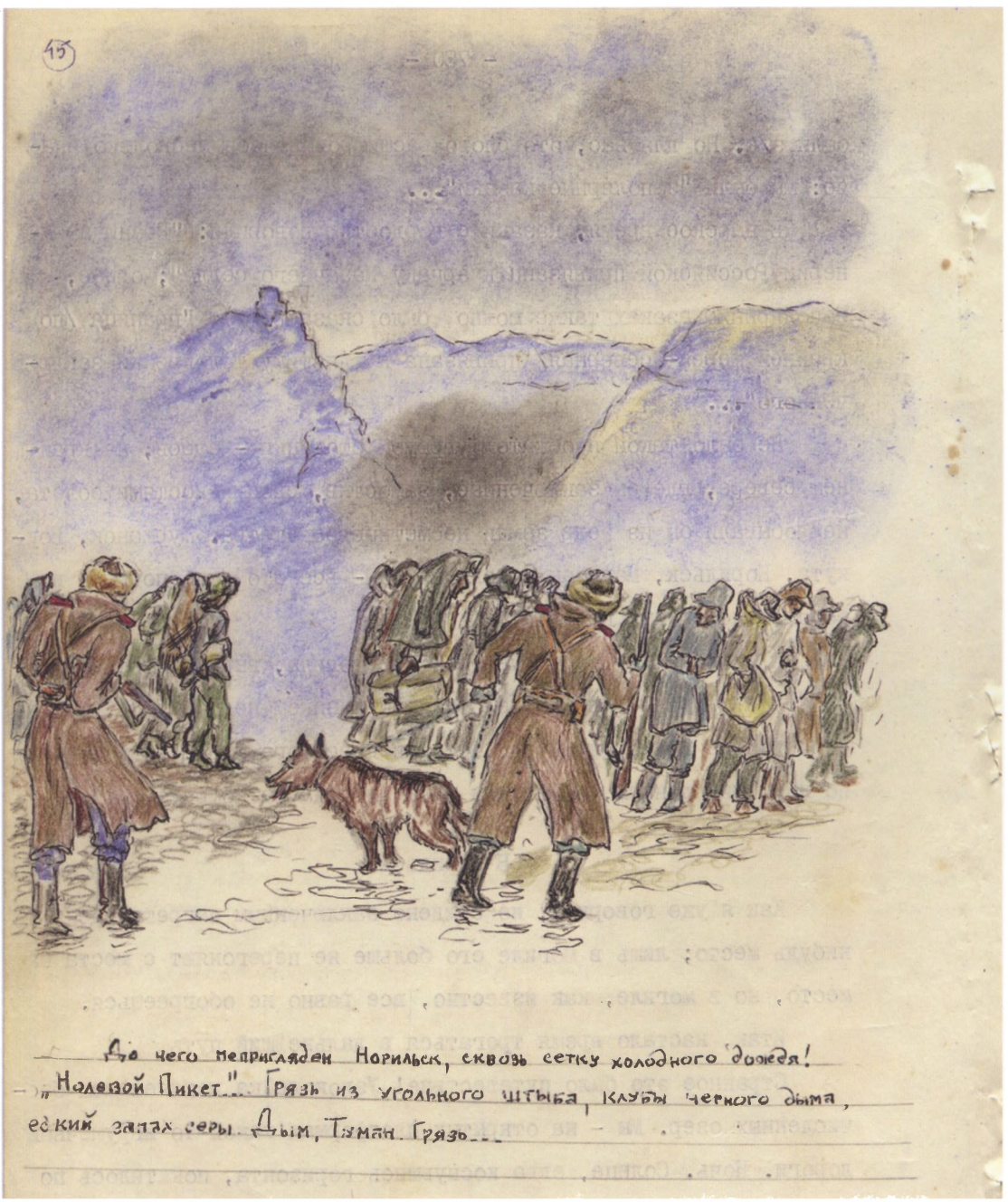
Я не знала, что урки с особым наслаждением издеваются над видным ученым-ядерщиком Федоровым*. Я видела только, что толпа уголовников издевается над одним человеком (очевидно фраером), и этого было достаточно, чтобы ринуться его защищать. Били меня ведром по голове. До самой Дудинки я лежала чуть жива. Один мой башмак выбросили в иллюминатор. Так прибыла я в Заполярье — вся в синяках и в одном башмаке. Профессора Федорова я больше не встречала, но через [три] года мне принесли письмо, полное благодарности.

* В тетрадном варианте Е.А. Керсновская верно указала фамилию ученого: Федоровский.

Мне все это казалось сплошной нереальностью. Эти игрушечные платформы, ползущие по узеньким рельсам, как бы плывущим по болотам, по воде. Полуночное солнце тоже ползло по этому болоту. На этих платформах ехали не люди, а сгустки горя. Чахлые деревца, растущие на островках, все были согнуты, наверное, тоже от горя!



До чего неприглядeн Норильск сквозь сетку холодного дождя! Нолевой Пикет... Грязь из угольного штыба, клубы черного дыма, едкий запах серы. Дым. Туман. Грязь...



Работали мы на строительстве в оцеплении № 13, в Горстрое, на постройке пятиэтажного дома под номером семь на Севастопольской улице…

Мне и в голову не пришло отказаться от этой работы, от которой другие отказывались, ссылаясь на головокружение. Напротив! Я была рада, что в свободную минуту я могла смотреть вдаль на тундру, на далекие горы, и не видеть колючей проволоки и стадо невольников за этой проволокой. Но, Боже, до чего все было уныло, безнадежно! Тогда я с удвоенной энергией накидывалась на работу, ища в ней забвение.

Мне и в голову не пришло - отказаться от этой работы, от которой другие отказывались ссылаясь на головокружение. Напротив! Я была рада, что, в свободную минуту, я могла смотреть вдаль, на тундру, на далёкие горы ... и не видеть колючей проволоки и стадо невольников, за этой проволокой. Но - Боже! до чего всё было уныло, безнадёжно! Тогда я, с удвоенной энергией накидывалась на работу, ища, в ней, забвение...

В который раз я допускала ту же ошибку — забывала, что в исправительном лагере надо ждать удара в любую минуту и с любой стороны. Только чудом удалось мне спасти хлеб целой бригады! Опрокинув ящик, я им накрыла хлеб и единственным лежавшим тут голышом отбивалась от малолеток, пока они, чего-то испугавшись, не скрылись в свою зону.

Лишь одной пайки недосчиталось, и я голодной пошла на работу.

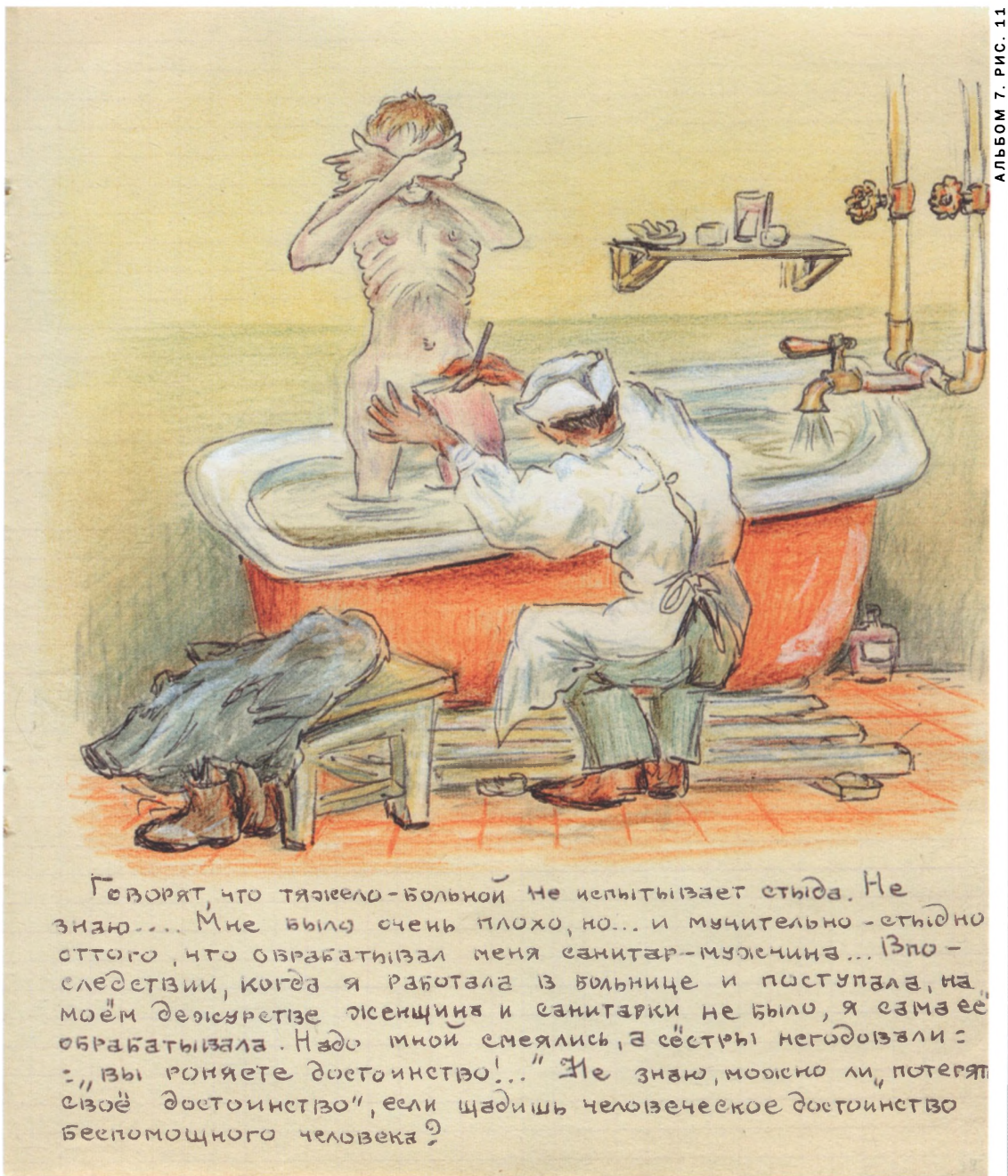
АЛЬБОМ 7. РИС. 8

Когда у меня заболело колено, я не заметила. Потом появился сизый конусообразный прыщ и стало ломить всю ногу. Работавшая с доктором Мейером медсестра Сорокина меня просто выгнала: «Чего еще выдумала тоже! С прыщами лазят!»

Превозмогая боль, в полубессознательном состоянии я продолжала таскать воду на пятый этаж. Как и когда я свалилась — не помню. Меня нашли на лестнице. Я лежала вниз головой и так крепко прижимала к груди меховой жилет Зины Поп, что не могли разжать моих рук. Я бредила, ногу разнесло как колоду, по всему телу пошли багровые пятна. Скорая помощь доставила меня в ЦБЛ — Центральную больницу лагеря — с диагнозом септикопиемия.

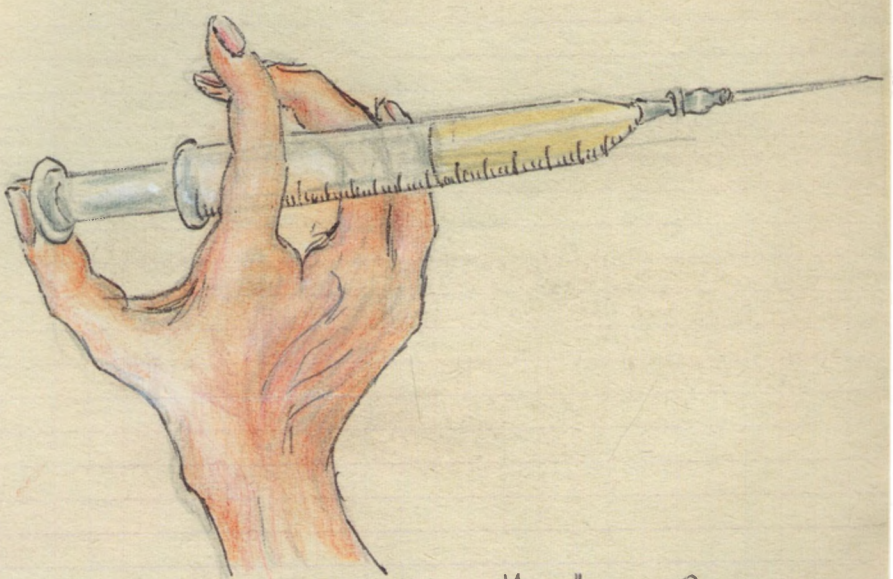
Вот так появилась в Центральной больнице лагеря. Санитары с носилками пошли встречать носилочного больного. Но я не захотела на носилки и упрямо двинулась своим ходом: волоча распухшую ногу, я поползла на четвериках на третий этаж, а санитары, чертыхаясь, следовали за мной, а на носилках торжественно покачивался меховой жилет бедняжки Зины.

Говорят, что тяжелобольной не испытывает стыда. Не знаю... Мне было очень плохо, но и мучительно стыдно от того, что обрабатывал меня санитар-мужчина. Впоследствии, когда я работала в больнице и поступала на моем дежурстве женщина и санитарки не было, я сама ее обрабатывала. Надо мной смеялись, а сестры негодовали: «Вы роняете достоинство!..» Не знаю, можно ли потерять свое достоинство, если щадить человеческое достоинство беспомощного человека?



АЛЬБОМ 7. РИС. 11

Что было потом, я помню очень смутно. И все же одно воспоминание запечатлелось ярко: это рука, похожая на клешню, и в этой руке-клешне — шприц. То желтый, то синий, то бесцветный. Это хирургическая сестра — старшая — Маргарита Эмилиевна вводила в вену тот нехитрый арсенал, который был предназначен для спасения заключенных: риванол, метиленблау, уротропин... Стрептоцид появился позже, а сульфидин — лишь в конце 1945 года.



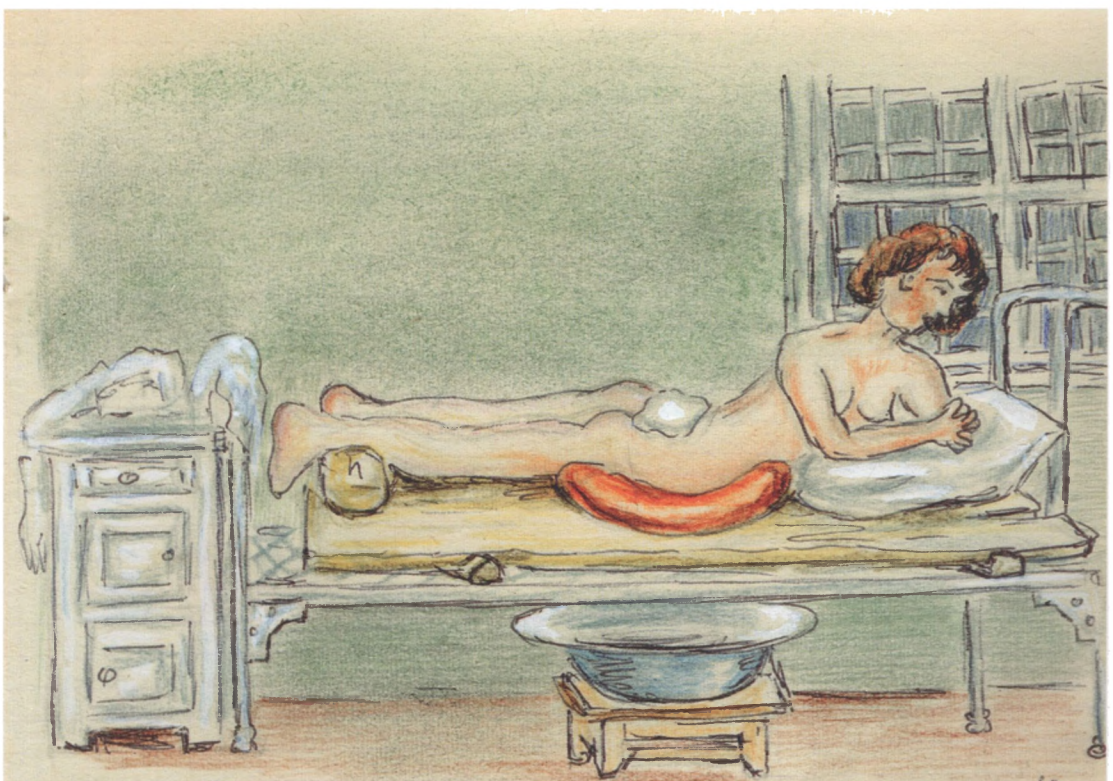
Что было потом я помню очень смутно. И всё же одно воспоминание запечатлелось ярко: это - рука, похожая на клешню и в этой руке - клешне - шприц - То жёлтый, то - синий, то - бесцветный. Это хирургическая сестра - „старшая" - Маргарита Эмилиевна вводила в вену тот нехитрый арсенал, который был предназначен для спасения заключённых: Ривазол, метиленблау, уротропин... Стрептоцид появился позже, а сульфидин лишь в конце 45 года.

Меня навещал доктор Мардна, знающий врач и культурный человек. С ним и с сестрой Маргаритой можно было говорить без опаски, не боясь предательства и встречая понимание. А я так изголодалась по нормальным человеческим отношениям!

Поля Симакова — перелом позвоночника с параличами. Она — совсем еще девчонка — лежала в той же палате, что и я.

В девятом лаготделении Поля работала на уборке снега и упала меж двух платформ. Ее придавило и переломало поясничные позвонки... Уже на второй день у нее образовались пролежни на крестце и ягодицах, да такие глубокие, что обнажились кости. Она бы сгнила заживо, но, на ее счастье, главный хирург Кузнецов взялся ее прооперировать, чтобы освободить спинной мозг, зажатый обломками позвонков… Ей назначили массаж, но никто ей его не делал. Тут за дело взялась я. И сама-то чуть живая, я возилась с несчастной девчонкой по нескольку часов в день: массаж, пассивная гимнастика...

…меня, к великому моему удивлению и еще большей радости, после выздоровления не отправили назад в девятое лаготделение, а оставили на работе в Центральной больнице лагеря — ЦБЛ.



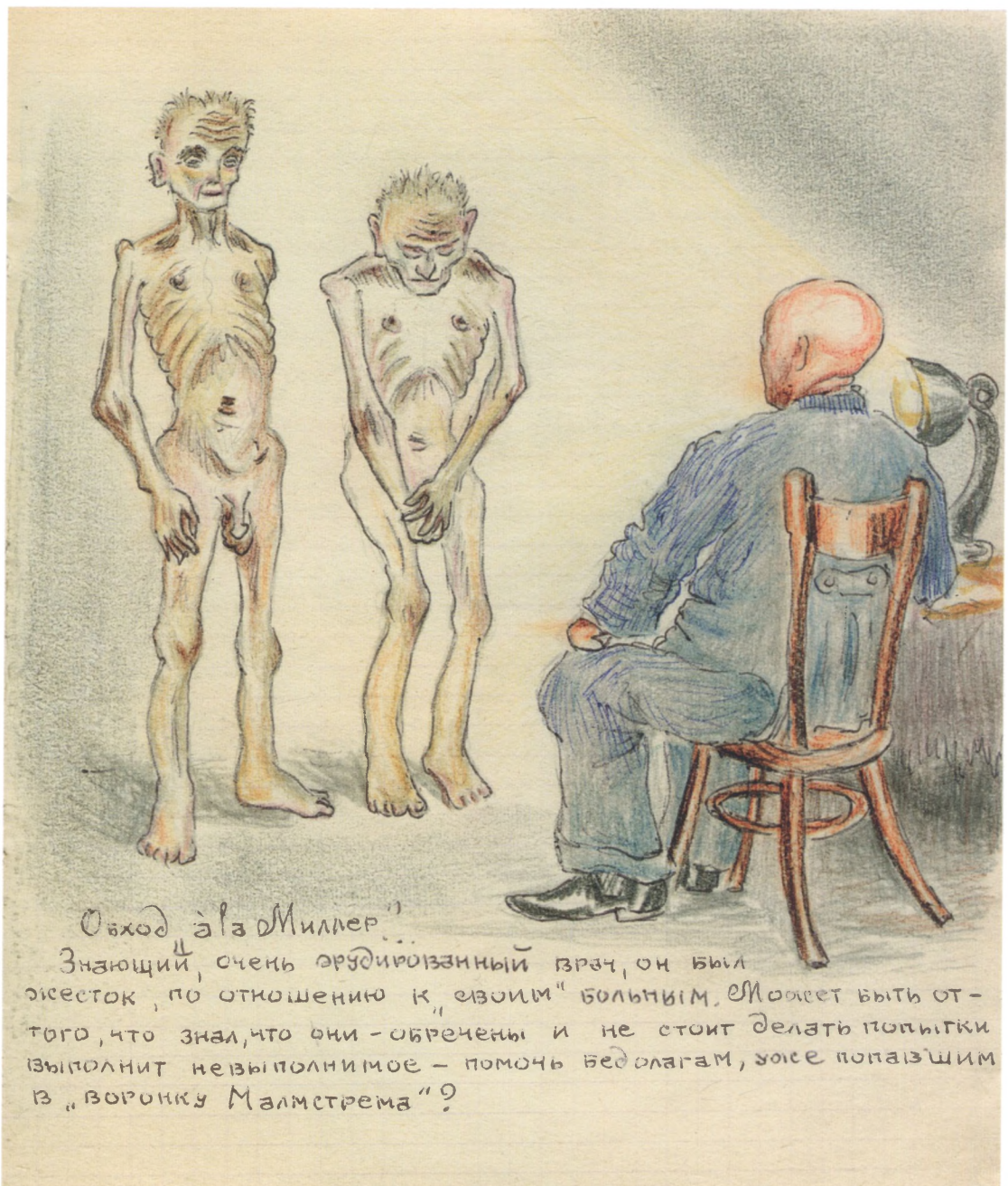
Поля Симакова, — перелом позвоночника, с параличами. Она — совсем еще девчонка — лежала в той же палате, что и я.

Обход à la Миллер*...

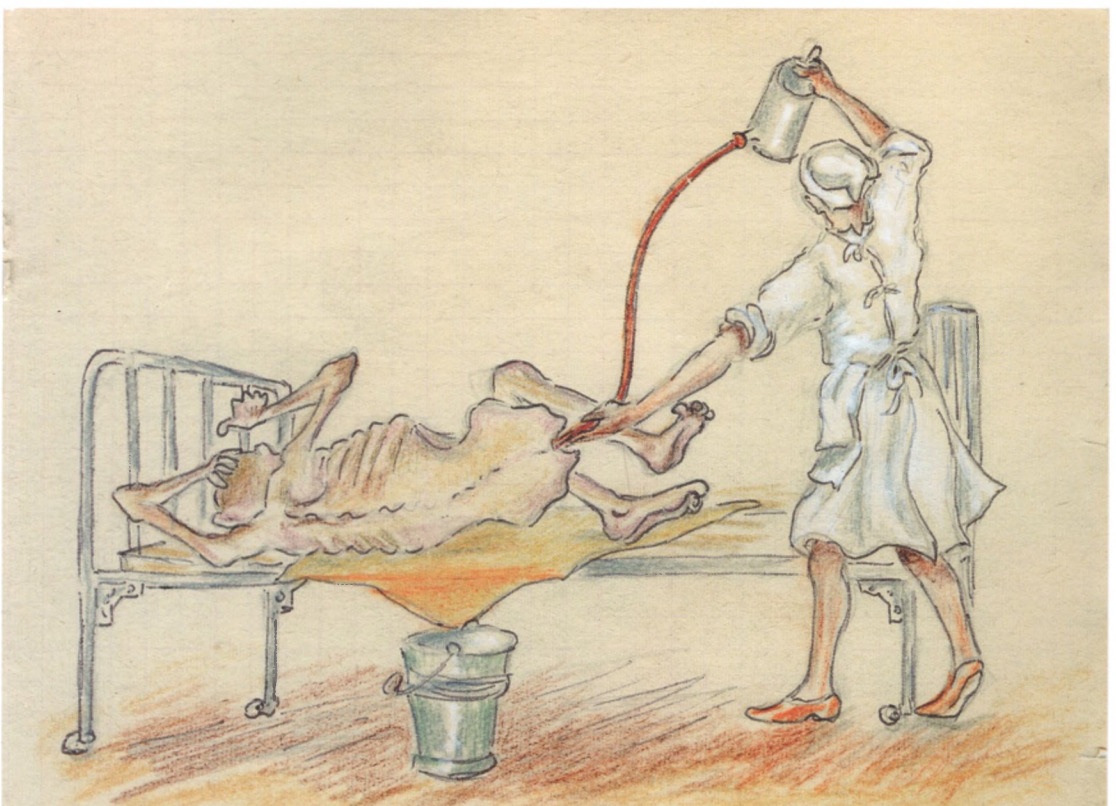
Знающий, очень эрудированный врач, он был жесток по отношению к своим больным. Может быть, оттого, что знал, что они обречены и не стоит делать попытки выполнить невыполнимое – помочь бедолагам, уже попавшим в воронку Мальстрема?**

* А.В. Миллер – руководитель инфекционного отделения Норильской ЦБЛ в 1947 году.

** Фантастический, огромный водоворот в рассказе Эдгара По «Низвержение в Мальстрем».



Раз в месяц заключенные, в том числе и каторжане, получали свою пайку сахара — 400 грамм, и это было сущее наказанье: голодные, до предела истощенные люди выменивали у придурков, то есть хлеборезов, поваров, зав. баней, зав. клубом и прочих, паек 4–5 хлеба за свой сахар и съедали весь этот хлеб за один присест. В результате — заворот кишок, инвагинация, одним словом, то, что называется «острый живот». Иногда при помощи клизмы удавалось просифонить такого доходягу, и тогда дело обходилось без операции. Чаще всего выполнение этой процедуры доставалось мне.



Раз в месяц заключенные – в том числе и каторжане – получали свою „пайку" сахара – 400 грамм ... и это было сущее наказанье: голодные, до предела истощенные люди, выменивали у „придурков" – т.е. хлеборезов, поваров, зав-баней, зав-клубом и пр – паек 4-5 хлеба, за свой сахар и съедали весь этот хлеб, за один присест. В результате – заворот кишок, инвагинация, одним словом, то, что называется „острый живот"! Иногда, при помощи клизмы, удавалось „просифонить" такого доходягу и тогда дело обходилось без операции. Чаще всего выполнение этой процедуры доставалась мне.

Перед перевязочной больной должен был пройти ванну. А как быть, если санитары принимают поступающего больного? Или пошли за обедом? Или понесли жмурика в морг? Тогда я подхватывала очередного доходягу, несла его в ванную, мыла и затем относила в перевязочную. Это не мое дело? Не беда! Справлюсь!

Вера Ивановна Грязнева — наш начальник ЦБЛ. У англичан есть выражение «*the right man on the right place*» («подходящий человек для занимаемого им места»). Кроме ума и личного обаяния, она обладала весьма ценным для начальника качеством: она умела находить и подбирать себе помощников и помогала им полностью проявлять свои возможности.

Вера Ивановна Грязнева - наш начальник ЦБЛ. У англичан есть выражение - the right man on the right place („подходящий человек для, занимаемого им места"). Кроме ума и личного обаяния, она обладала, весьма ценным, для начальника, качеством: она умела находить и подбирать, себе, помощников и помогала им, полностью, проявлять свои возможности.

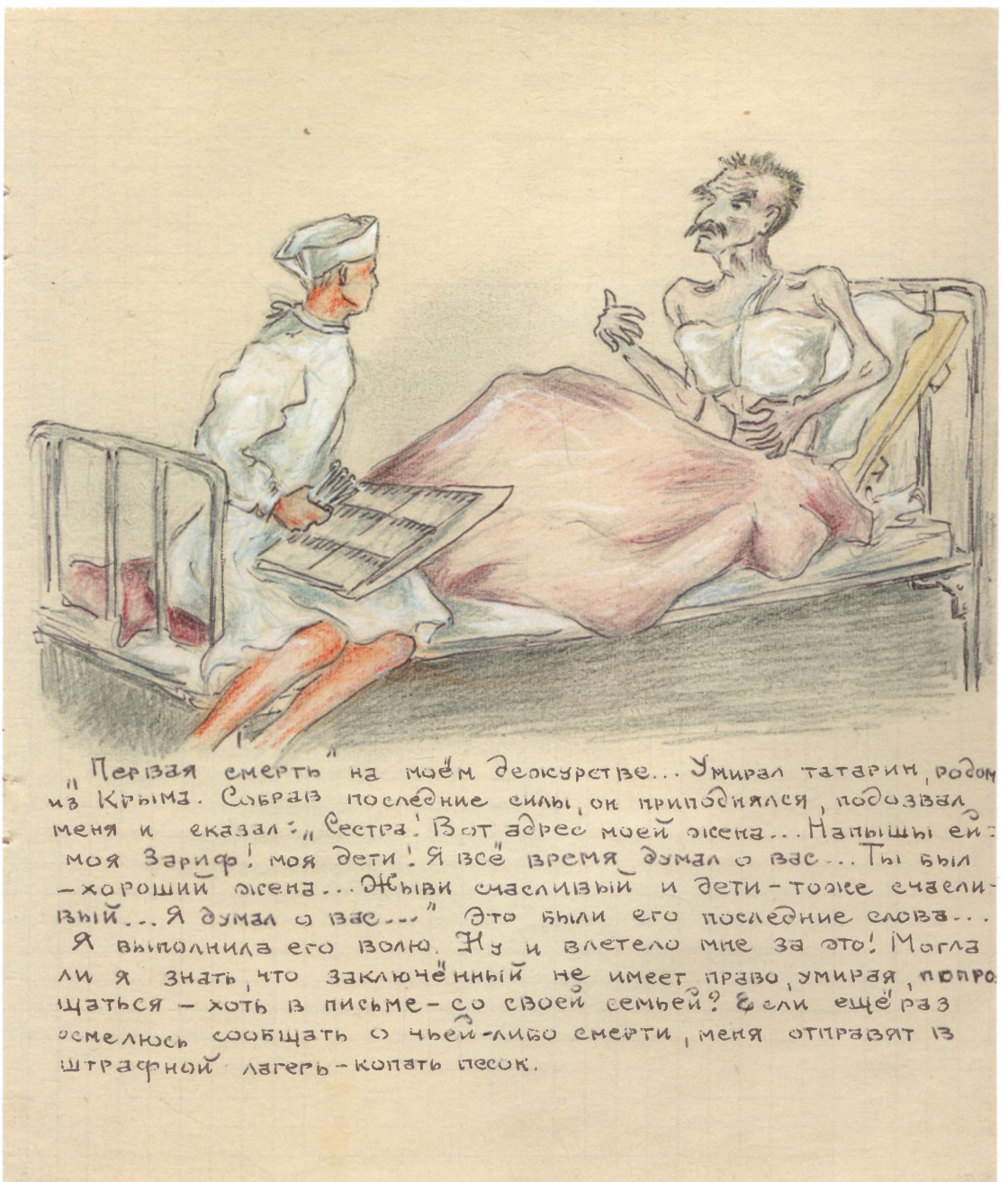
Эрхардт Петрович [Билзенс] — начинающий, но подающий большие надежды хирург. С ним работать было интересно, так как он не только оперировал, но и выхаживал своих больных. Работая с ним, можно было многому научиться. Главным (хоть и не единственным) его недостатком было то, что он был неисправимым бабником, однако вместе с тем трусоватым. Самым удобным временем для кобелирования были ночи, когда он был дежурным по больнице. Чтобы не терять ни минуты драгоценной ночи, он приносил ко мне папку с историями болезней его больных и просил написать status idem, «жалоб нет» или «без перемен», пользуясь тем, что я очень похоже могла имитировать его почерк.

Эрхардт Петрович Бильзенс - начинающий, но, подающий большие надежды, хирург. С ним работать было интересно, т-к. он не только оперировал, но и „выхаживал" своих больных. Работая с ним, можно было многому научиться. Главным (хоть и не единственным) его недостатком, было то, что он был неисправимым бабником, однако, вместе с тем - трусоватым. Самым удобным временем для „кобелирования", были ночи, когда он был дежурным по больнице. Что бы не терять ни минуты драгоценной ночи, он приносил ко мне, папку с „историями болезней" его больных и просил написать „status idem", „жалоб нет" или „без перемен", пользуясь тем, что я, очень похоже, могла имитировать его почерк.

Первая смерть на моем дежурстве... Умирал татарин, родом из Крыма. Собрав последние силы, он приподнялся, подозвал меня и сказал:
— Сестра! Вот адрес моей жена... Напышы ей: Моя Зариф! Моя дети! Я все время думал о вас... Ты был хороший жена... Жыви счастливый и дети — тоже счастливый... Я думал о вас...

Это были его последние слова...

Я выполнила его волю. Ну и влетело мне за это! Могла ли я знать, что заключенный не имеет право, умирая, попрощаться, хоть в письме, со своей семьей? Если еще раз осмелюсь сообщать о чьей-либо смерти, меня отправят в штрафной лагерь — копать песок.



72 часа напряженной работы! Днем мое дежурство; ночью я заменяла сестер: Макарьян болеет желтухой, Симонова — гриппом, а Батурина... Ну это — вольная: когда дурная погода, у нее зубы болят. А тут — большой пожар на Промплощадке: всю ночь — обработка обожженных... А днем я даю наркоз на операциях — то эфир, то хлороформ... Я делаю нечеловеческие усилия, чтобы не потерять сознания, и вдруг слышу саркастическое замечание Кузнецова:

— Больной! Пощупайте пульс у сестры!

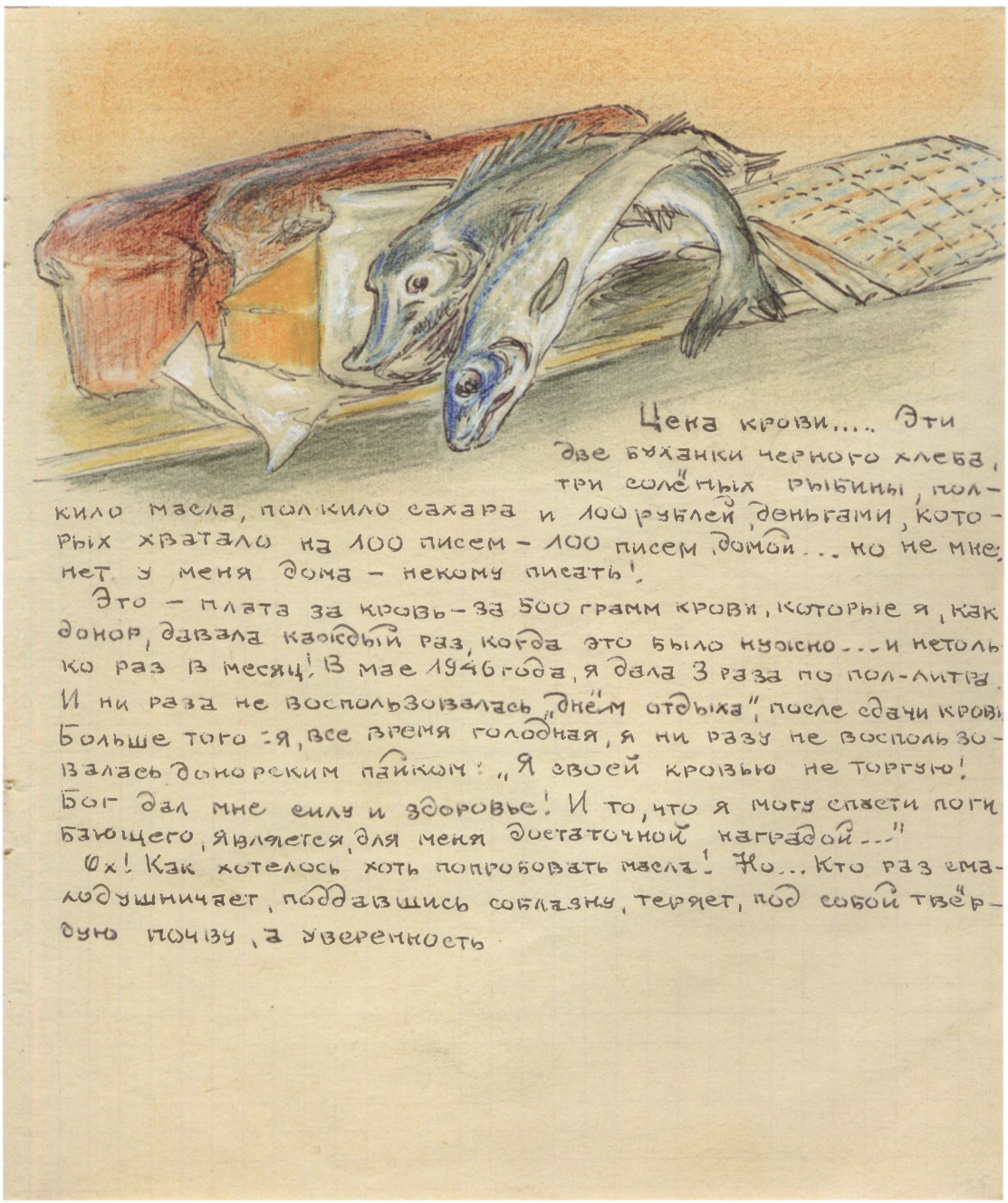
Это меня доконало: шаг, другой... и я грохнулась без чувств.

Цена крови... Эти две буханки черного хлеба, три соленых рыбины, полкило масла, полкило сахара и 100 рублей деньгами, которых хватало на 100 писем — 100 писем домой... но не мне, нет у меня дома, некому писать!

Это плата за кровь — за 500 грамм крови, которые я, как донор, давала каждый раз, когда это было нужно, и не только раз в месяц! В мае 1946 года я дала 3 раза по пол-литра. И ни разу не воспользовалась днем отдыха после сдачи крови. Больше того: я, все время голодная, я ни разу не воспользовалась донорским пайком: «Я своей кровью не торгую! Бог дал мне силу и здоровье, и то, что я могу спасти погибающего, является для меня достаточной наградой».

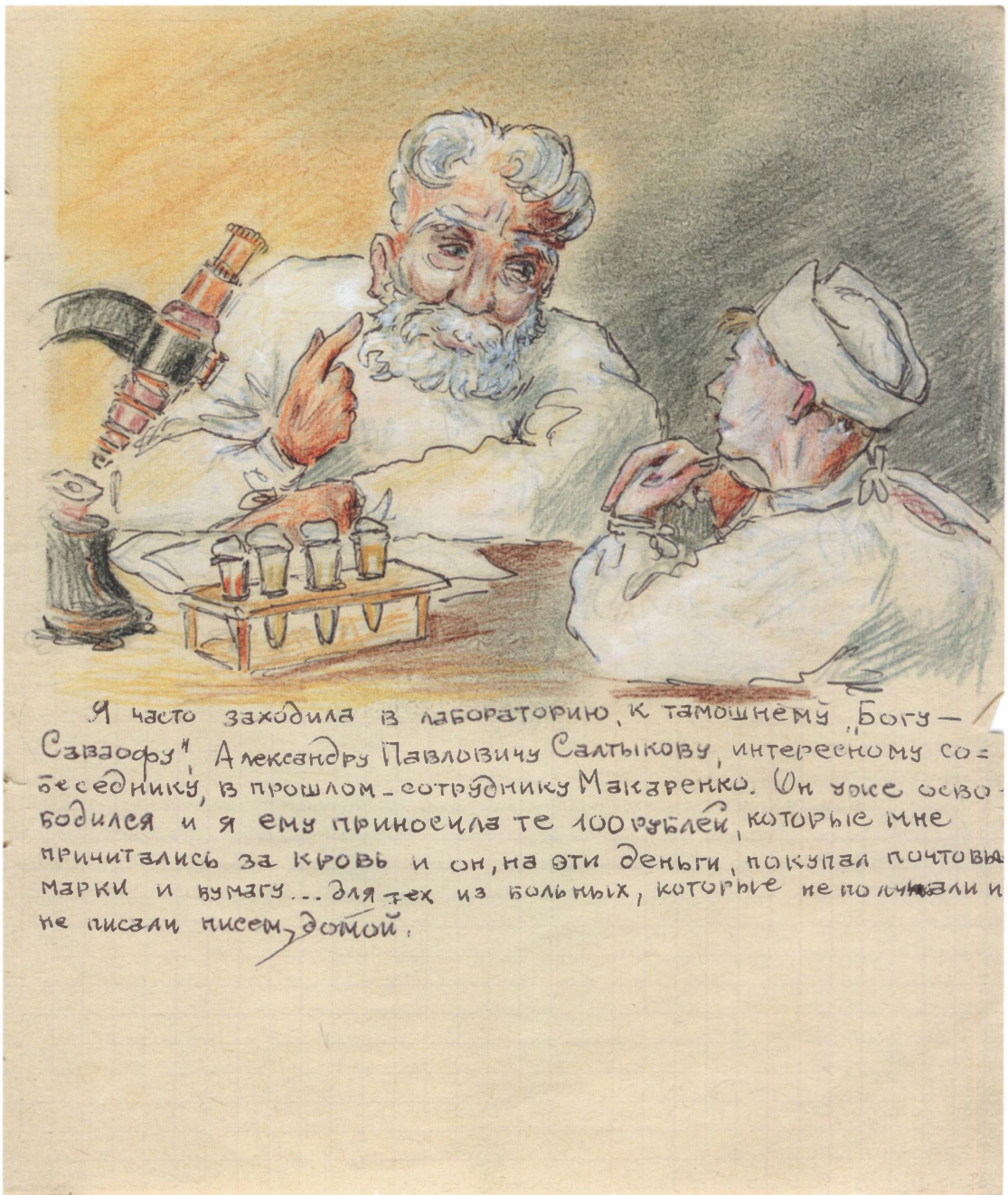
Ох как хотелось хоть попробовать масла! Но, кто раз смалодушничает, поддавшись соблазну, теряет под собой твердую почву, а уверенность <...>*

* Подпись не окончена. В тетрадном варианте эта мысль завершена: «...а именно уверенность в непоколебимости своих принципов придавала мне силы в тяжелые минуты». В главке «Донор-чудак» тетради 7 Евфросиния конкретно указывает, что «выписанный мне паек я получала и сразу относила туберкулезникам — тем, у кого находили гнойный плеврит».



Я часто заходила в лабораторию к тамошнему Богу-Саваофу, Александру Павловичу Салтыкову, интересному собеседнику, в прошлом — сотруднику Макаренко*. Он уже освободился, и я ему приносила те 100 рублей, которые мне причитались за кровь, и он на эти деньги покупал почтовые марки и бумагу для тех больных, которые не получали и не писали писем домой.

* Макаренко Антон Семенович (1888–1939) – организатор трудовых колоний для несовершеннолетних правонарушителей, в которых применял разработанную им педагогическую систему, и писатель.



Многие наши больные — бывшие военнопленные, иногда попавшие в плен ранеными, в бессознательном состоянии, и перенесшие в концлагерях ужасные лишения, были после освобождения изменниками родине и приговорены по ст. 58–1б к 10 (а в дальнейшем к 15, 20, а то и 25 годам неволи), — упорно не желали писать домой: «На меня домой в свое время прислали похоронную. Близкие меня оплакали... Может быть, на детей пенсию выплачивают... Или считают пропавшим без вести... Так хотя бы их не преследуют. Зачем им знать, что я жив?»

Я никак не могла этому поверить. Мне казалось, что это так дико! И я уговаривала, уговаривала... И, к сожалению, иногда с успехом. Годы прошли, пока я убедилась, что правы были они... А я, приобретая на свои донорские 100 рублей марки, думала, что совершаю доброе дело.

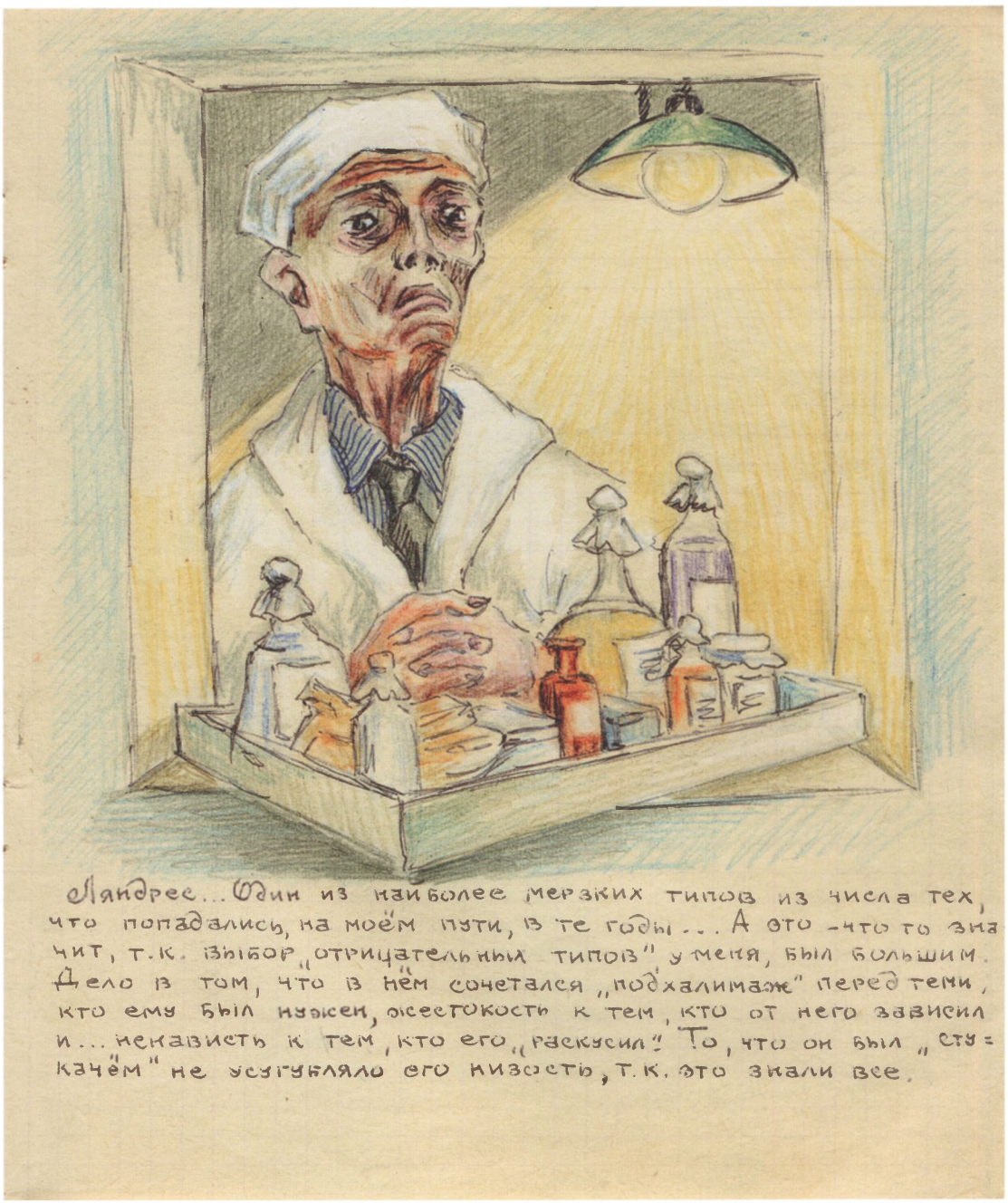
До чего я была наивна!

Многие наши больные – бывшие военнопленные, иногда попавшие в плен ранеными, в бессознательном состоянии и перенёсшие, в концлагерях ужасные лишения – были, после освобождения, „изменниками родине" и приговорены, по ст $58^{1б}$ к $10^{ти}$, (а, в дальнейшем $15^{ти}$, $20^{ти}$, а то и $25^{ти}$ лет неволи), упорно не желали писать домой: „на меня, домой, в своё время, прислали „похоронную". Близкие меня оплакали... Может быть, на детей, пенсию выплачивают... Или считают „пропавшим без вести"... Так, хотя бы, их не преследуют... Зачем им знать, что я жив?"

Я никак не могла этому поверить... Мне казалось, что это так дико! И я уговаривала, уговаривала... И, к сожалению, иногда, с успехом... Годы прошли, пока я убедилась, что правы были они... А я, казалось, приобретя на свои донорские 100 р. марки, думала, что совершаю „доброе дело"

До чего я была наивна!

Ляндрес... Один из наиболее мерзких типов из числа тех, что попадались на моем пути в те годы. А это что-то значит, так как выбор отрицательных типов у меня был большим. Дело в том, что в нем сочетался подхалимаж перед теми, кто ему был нужен, жестокость к тем, кто от него зависел, и ненависть к тем, кто его раскусил. То, что он был стукачом, не усугубляло его низость, так как это знали все.



— ...Вон! Вон из моего отделения! Всех выгоню на общие работы!

Кузнецов был взбешен: он ненавидел Билзенса и боялся, так как Билзенс был способным и образованным врачом. И вдруг он осмелился посягнуть на прерогативу его, Кузнецова: Билзенс выписал сульфидин!

Что сульфидин, да еще cito*, назначил Билзенс, в этом Кузнецов не сомневался. Но Кузнецов забрал Билзенса ассистировать на операции, Билзенс не успел подписать рецепт, Ляндрес вот-вот уйдет обедать, а затем отдыхать до 5 часов... Шесть часов! А сульфидин нужен cito... Я подмахнула рецепт сама, чтоб больной не умер...

Вера Ивановна Грязнева перевела меня в терапевтическое отделение, и я смогла работать с таким замечательным врачом и высококультурным человеком, как доктор Мардна.

* Cito – срочно (*лат.*).

АЛЬБОМ 7. РИС. 26

— ...выслушайте его и скажите, в какой доле у него крупозная пневмония? — сказал доктор Мардна.

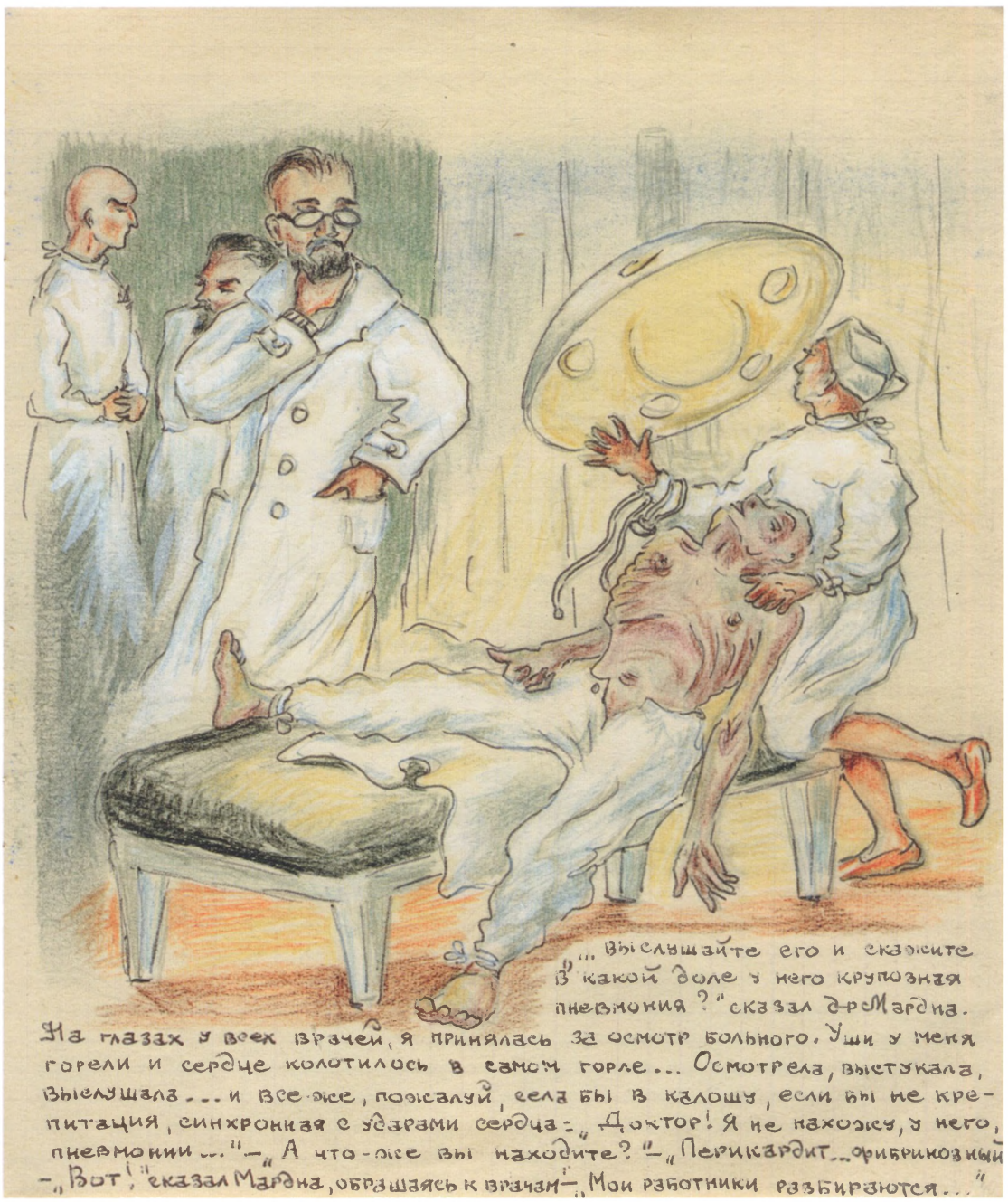
На глазах у всех врачей я принялась за осмотр больного. Уши у меня горели, и сердце колотилось в самом горле. Осмотрела, выстукала, выслушала и все же, пожалуй, села бы в калошу, если бы не крепитация, синхронная с ударами сердца:

— Доктор! Я не нахожу у него пневмонии...

— А что же вы находите?

— Перикардит... фиброзный.

— Вот! — сказал доктор Мардна, обращаясь к врачам. — Мои работники разбираются...



Дверь с треском распахнулась, и маленькая удмуртка Лиза ворвалась в физкабинет* с воплем:

— Вера Ивановна пришла... Прямо — в процедурку!

Я не поняла, отчего Мардна схватился за голову, а Моня в растерянности вскочил. Оказалось, что врач Николай Николаевич Сухоруков уговорил Мардну положить на обследование Лялю Фадееву, артистку, — любовницу Сухорукова. Но злые языки утверждали, что Вера Ивановна, женщина молодая и свободная, была неравнодушна к Сухорукову. Вера Ивановна нередко появлялась среди ночи в больнице, но на этот раз это была не случайная инспекция: кто-то успел накапать, и Вера Ивановна прямо направилась в процедурку, где были заперты Сухоруков с Лялей. Убедившись, что дверь заперта, Вера Ивановна пошла в палату № 12, женскую, где у дверей была койка Ляли, чтобы убедиться, что койка пуста. Увы! Она была пуста...

* Физкабинет – физиотерапевтический кабинет.

Дверь, с треском распахнулась
и маленькая удмуртка-Лиза ворвалась в физкабинет, с воплем:
"...Вера Ивановна пришла.... Прямо - в процедурку!.." Я не поняла,
отчего Мардна схватился за голову, а Моня, в растерянности, вскочил.
Оказалось, что врач Николай Николаевич Сухоруков уговорил Мардну
"положить на обследование" Лялю Фадееву, артистку - любовницу
Сухорукова. Но злые языки утверждали, что Вера Ивановна -
женщина молодая и свободная - была неравнодушна к Сухорукову.
Вера Ивановна нередко появлялась, среди ночи, в больнице, но, на
этот раз, это была не случайная инспекция: кто-то успел "накапать"
и Вера Ивановна, прямо, направилась в процедурку, где были за-
перты Сухоруков с Лялей. Убедившись, что дверь заперта, Вера
Ивановна пошла в палату №12 - женскую - где, у дверей была койка
Ляли, чтобы убедиться, что койка пуста. Увы! Она была пуста....

Пока Вера Ивановна ходила в 12-ю палату, Али нашел выход из положения:

— Николай Николаевич, откройте.

Мгновение — и он, схватив в охапку Лялю и ее халат, швырнул их в женскую уборную, что была рядом, а сам заскочил в процедурку и захлопнул за собой дверь. И вовремя!

Твердым шагом подошла Вера Ивановна и рванула запертую дверь.

— Отворите!

Что-то загрохотало и затихло.

— Немедленно отворите дверь!

Вера Ивановна шагнула и... Она увидела не то, что она ожидала. Но она не растерялась: она сделала вид, что поверила, что доктор Сухоруков заболел. Она его освидетельствовала, признала засорение желудка и вкатила ему лошадиную порцию английской соли. В эту ночь Николаю Николаевичу было не до любовных утех. На следующий день Лялю Фадееву выписали.

«Под Шмитиху» прибыло пополнение. Среди голых жмуриков — один гроб. В нем Патимат, женщина-мусульманка, говорившая на непонятном языке. Бедная «террористка» Патимат…

На улице в Махачкале убили какого-то коммуниста, и всю улицу посадили! У Патимат было пятеро детей: три мальчика и две девочки. «Кого, Патимат, ты больше любишь, мальчиков или девочек?» — «Малчик болше лублу, девичка — болше лублу».

Али выхлопотал для Патимат разрешение быть похороненной в гробу и одетой: «Я не могу допустить, чтобы женщина-мусульманка голая лежала в куче голых мужчин-немусульман».

АЛЬБОМ 7. РИС. 31 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА)

До чего же мы гордились, когда Мардна доверял нам осмотр какого-нибудь из вновь поступивших больных! Как серьезно обсуждали мы, какие это прослушиваются хрипы! Мелкопузырчатые или сухие? И что это — укорочение или притупление звука?

*Сцена у фонтана**

Ярошенко написал картину «Всюду жизнь», была бы я художником, то написала бы картину «Всюду любовь». И это было бы нетрудно, так как Моня Трегубов и Маруся Насонова, оставленная санитаркой после ушной операции, часами сидели на скамейке у фонтана. Сидели неподвижно, держась за руки. И молчали...

Моня — студент русско-японского мединститута в Харбине. Поэт, влюбленный в русскую поэзию. Хотел быть русским врачом.

Маруся — солдат-минометчик. Их воинская часть попала в окружение на Северном Кавказе. Будучи родом из Кабардино-Балкарии, она сумела с несколькими девушками выйти из окружения. Ее... нет, не наградили, а обвинили в измене родине и осудили на 10 лет, ст. 58–1б. Моню обвинили в шпионаже, ст. 58–6 и осудили тоже на 10 лет.

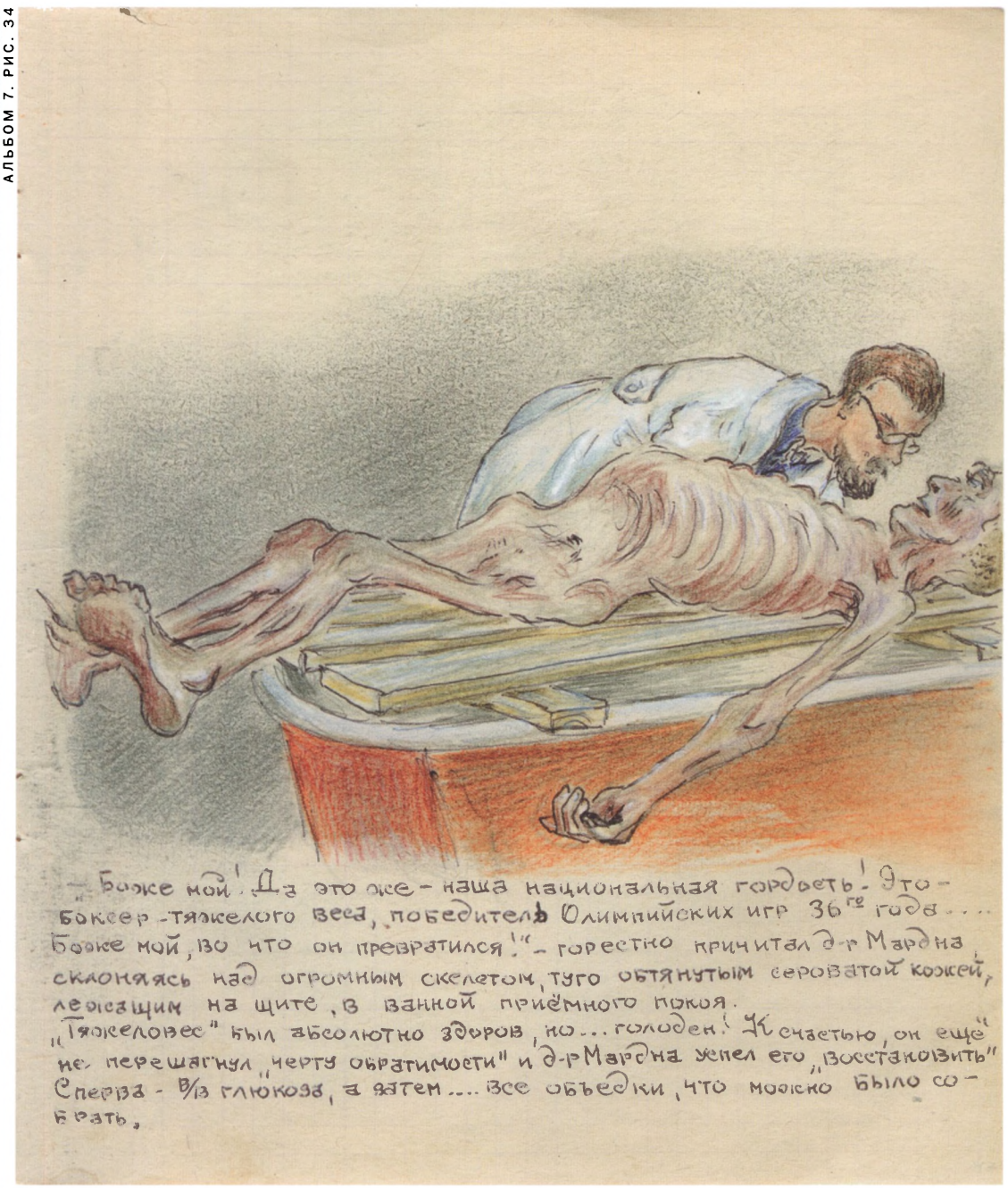
Кривые жизненные пути привели их… на скамейку у фонтана.

* «У Веры Ивановны Грязневой была человеческая душа, а не бюрократическая паутина. На свои средства она устроила во дворе больницы зеленый уголок: посредине — фонтан с бассейном, в котором летом жили лебеди, казарка и пара уток, кругом — клумбы, на которых посеяли сурепку и овес. Дорожки были посыпаны песком, и вдоль дорожек стояли скамейки» (*из 7-й тетради Е. Керсновской*).

— Боже мой! Да это же наша национальная гордость! Это боксер* тяжелого веса, победитель Олимпийских игр 1936 года... Боже мой, во что он превратился! — горестно причитал доктор Мардна, склоняясь над огромным скелетом, туго обтянутым сероватой кожей, лежащим на щите в ванной приемного покоя.

Тяжеловес был абсолютно здоров, но голоден! К счастью, он еще не перешагнул черту обратимости, и доктор Мардна успел его восстановить. Сперва — внутривенно глюкоза, а затем... все объедки, что можно было собрать.

* *Боксер.* Так у автора. Палусалу (Palusalu) Кристьян (1908–1987). Эстонец, борьба греко-римская, борьба вольная. Чемпион Олимпийских игр 1936 года в тяжелом весе. Был лишен свободы с 12 января 1945 года по 28 августа 1946 года.

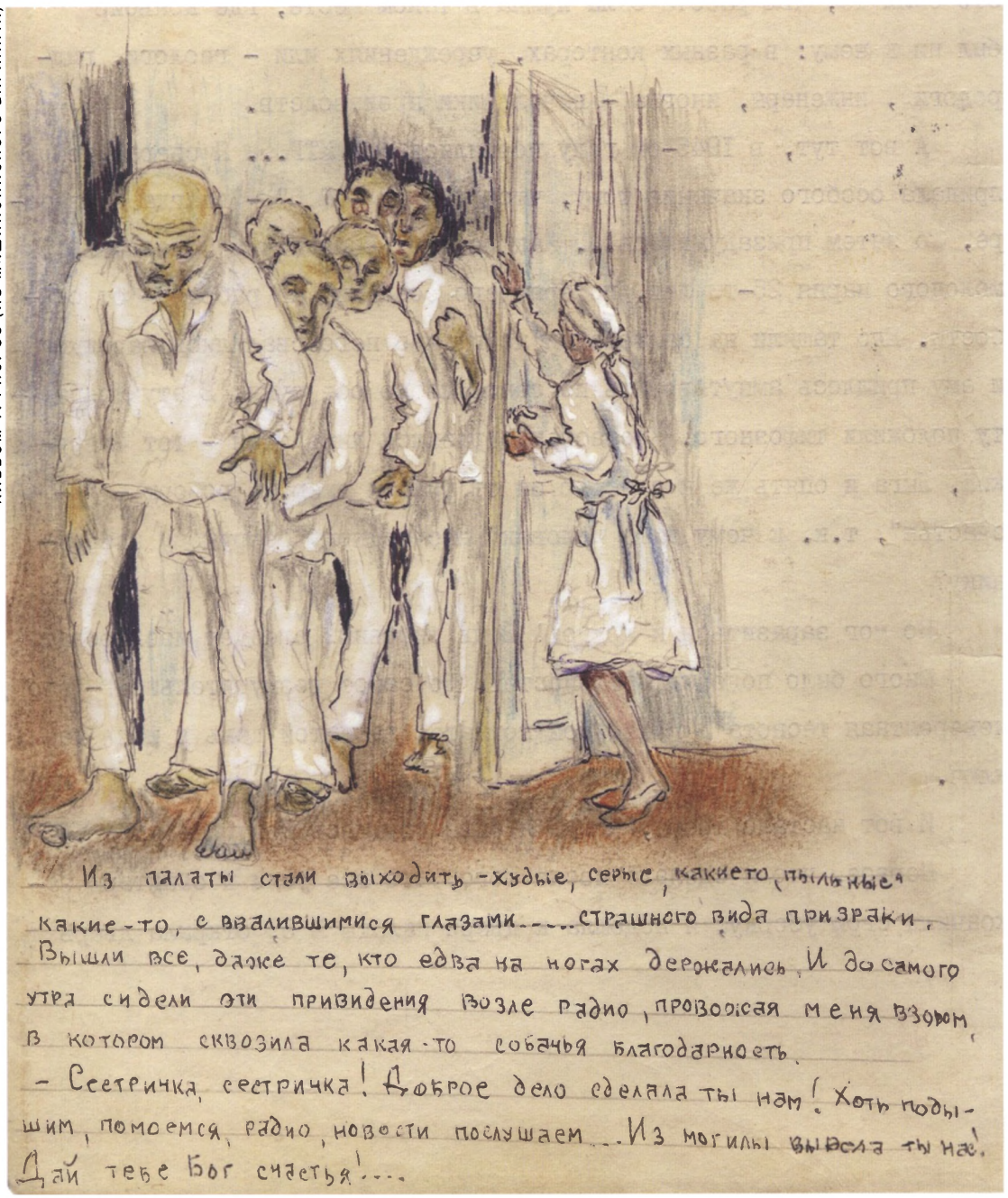


Его* оставили, по просьбе доктора Мардны, кочегаром в больничной котельной, и по совместительству он обеспечивал углем кухню, за что получал ведерную кастрюлю пшенной каши. Да! Без угля кухня не оставалась... Но высшее начальство решило использовать его по специальности, и в скором времени он опять дошел: даже самое лучшее питание заключенных «талон + 3» не могло обеспечить ему минимум. Вообще эстонцы, привыкшие к богатой белками пище, умирали от истощения там, где русские легко выживали.

* Имеется в виду Кристьян Палусалу.
В альбомах Евфросинии не всегда упоминаются фамилии заключенных, солагерников (в большинстве своем они есть в тетрадном варианте), только их имена. Возможно, это делалось, чтобы в случае обнаружения рукописи КГБ не смог навредить этим людям.

АЛЬБОМ 7. РИС. 35

Из палаты стали выходить худые, серые, какие-то «пыльные», с ввалившимися глазами, страшного вида призраки. Вышли все, даже те, кто едва на ногах держались. И до самого утра сидели эти привидения возле радио, провожая меня взором, в котором сквозила какая-то собачья благодарность.
— Сестричка, сестричка! Доброе дело сделала ты нам! Хоть подышим, помоемся, радио, новости послушаем... Из могилы вывела ты нас! Дай тебе Бог счастья!..

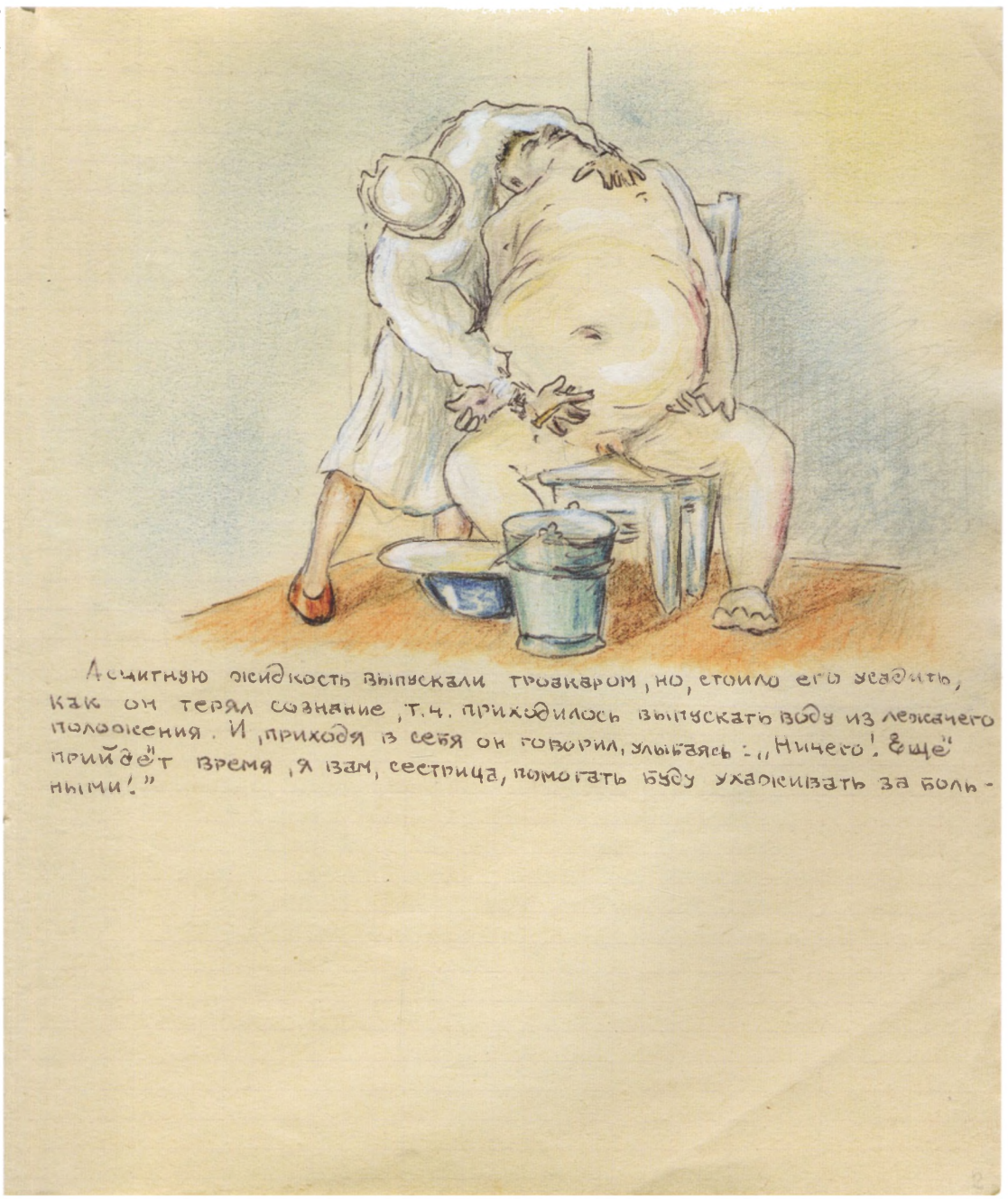


Вид его был ужасен, а состояние — отчаянное. Анурия. Двусторонняя декапсуляция почек не помогла — лишь операционные раны не заживали. Вокруг них образовалась мацерация, что-то вроде рожистого воспаления. Есть он не мог: его рвало даже от чистой воды. Но он жил! И самой удивительное — ни разу, никогда не падал духом. На вопрос доктора Мардны: «Как дела, Алеша*?» — отвечал с неизменной улыбкой: «Да не так уж плохо, доктор!» И говорил ободряюще: «Да вы не расстраивайтесь, доктор! Я не умру!»

— Чем он живет? Ведь он уже семь раз мертв, а все живет. И это я не должен расстраиваться?.. — недоумевал доктор и, сгребая в кулак свою бороду, засовывал ее в рот, что было признаком полнейшего недоумения.

* Алеша Назаров.

Асцитную жидкость выпускали троакаром, но стоило его усадить, как он терял сознание, так что приходилось выпускать воду из лежачего положения. И, приходя в себя, он говорил, улыбаясь:
— Ничего! Еще придет время, я вам, сестрица, помогать буду ухаживать за больными!



Асцитную жидкость выпускали троакаром, но, стоило его усадить, как он терял сознание, т.ч. приходилось выпускать воду из лежачего положения. И, приходя в себя он говорил, улыбаясь: „Ничего! Еще" придёт время, я вам, сестрица, помогать буду ухаживать за больными!"

Я обернулась на скрип двери и обмерла от удивления: на пороге стоял Назаров — семь раз мертвый и воскресший. Бледный, одутловатый, опирающийся на швабру, но, как всегда, улыбающийся.
— А что, сестрица, говорил же я вам, что не умру?

Привлеченная странным звуком, я вошла в палату и поняла все: Рыжая спокойно и обдуманно убивала своего ребенка. Налив молока ему в рот, она держала его вниз головой, [зажав] рот рукой, и ждала, чтобы он захлебнулся. Одним прыжком я очутилась у ее постели, вырвала из ее рук ребенка, вытряхнула из него молоко и, бросив его на подушку, вцепилась вбуйную шевелюру рыжей уркачки...

Боже мой, что тут произошло! Я трепала ее, как терьер крысу, перепуганные спросонья женщины визжали... Дежурный врач, в эту ночь дежурил Павел Евдокимович*, примчался на шум и еще с порога воскликнул, всплеснув руками: «Фрося! Что ты делаешь?!» Я головой указала на посиневшего ребенка: «Она хотела убить его». Павел [Евдокимович] взмахнул кулаком и сказал: «Всыпь ей хорошенько».

На этот раз ребенок был спасен, но ненадолго: недели через две его нашли мертвым...

* П.Е. Никишин.

Нет! Мои познания в медицине ничем не обогатились от работы в инфекционном отделении. Все, чем я обязана была интересоваться, — это проверять стул доходяг.

Правда, житейской мудрости у меня прибавилось...

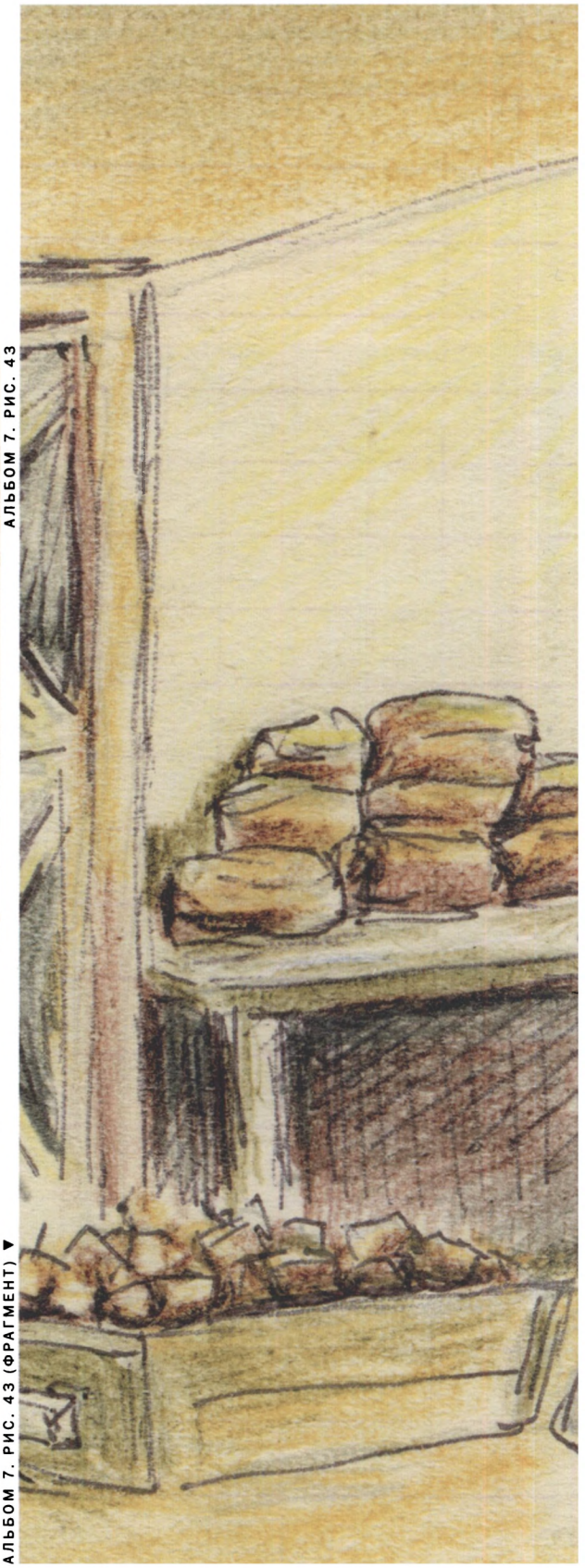
АЛЬБОМ 7. РИС. 42

Хлеборезами были, разумеется, бытовики: начальство им мирволило, вольнонаемный комсостав с семьями подкармливался за счет паек заключенных, и, разумеется, они смотрели сквозь пальцы на то, что хлеборезы ловчили, обильно опрыскивая хлеб водой. И у хлебореза всегда были излишки, которыми он мог оплатить любовь изголодавшейся женщины. Нарядчики, бригадиры, прорабы имели возможность использовать женщин, запугивая этапом, переводом на более тяжелую работу или выписывая им самый низкий паек. Были еще разные завы — они же провокаторы-информаторы.

Они могли ходить на зону, имели свои комнаты и пользовались покровительством начальства.

Имея, так или иначе, возможность покупать любовь женщин, они могли получить в придачу сифилис. Вот почему в венерологическом отделении был на моей памяти лишь один работяга — политический, да и тот заразился еще на воле. Остальные — бытовики.

АЛЬБОМ 7. РИС. 43



АЛЬБОМ 7. РИС. 43 (ФРАГМЕНТ) ▼

Октябрьские праздники*... Три дня. А старшая сестра унесла ключ от перевязочного материала! Дюжина сифилитиков требуют срочной перевязки. Как быть?!

Сифилитики мне глубоко антипатичны, но я понимаю, что они страдают. Как быть? Выход один: надо занять у хирургов, что я и сделала.

* 7-9 ноября.

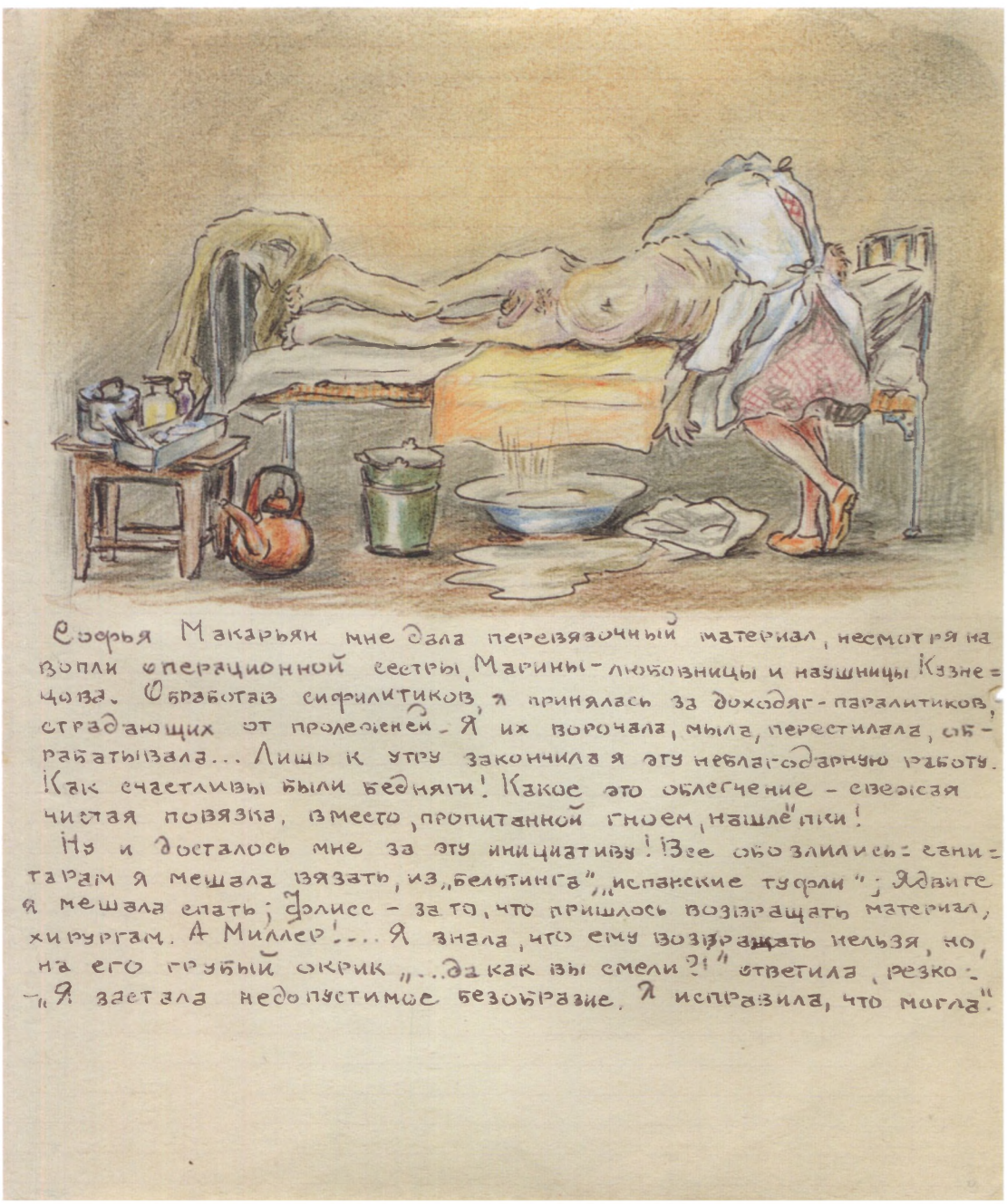
АЛЬБОМ 7. РИС. 44

Софья Макарьян мне дала перевязочный материал, несмотря на вопли операционной медсестры Марины, любовницы и наушницы Кузнецова. Обработав сифилитиков, я принялась за доходяг-паралитиков, страдающих от пролежней. Я их ворочала, мыла, перестилала, обрабатывала... Лишь к утру закончила я эту неблагодарную работу.

Как счастливы были бедняги! Какое это облегчение — свежая чистая повязка вместо пропитанной гноем нашлепки!

Ну и досталось мне за эту инициативу! Все обозлились: санитарам я мешала вязать из бельтинга испанские туфли; Ядвиге я мешала спать; Флисс — за то, что пришлось возвращать материал хирургам. А Миллер!.. Я знала, что ему возражать нельзя, но на его грубый окрик: «Да как вы смели?!» — ответила резко:

— Я застала недопустимое безобразие. Я исправила, что могла.



Однажды мне пришлось заменить Сашу Лещинского на приеме амбулаторных сифилитиков, и меня удивило, что все больные, входя, сразу спрашивали: «А где же Саша?» И очень неохотно, и то после повторного приглашения, засучивали рукав или приспускали штаны.

Должно быть, у Саши и впрямь очень легкая рука, подумала я, у всех этих больных не то что затвердения, даже следа от укола нет.

В чем секрет, я поняла, когда возчик, войдя, не раздеваясь, сунул мне десятирублевку и собрался уходить.

— Стой! Ты куда? Спускай штаны: тебе сегодня биохиноль надо!
— Ничего мне твой киноль не надо! Я деньги давал!
— При чем тут деньги? Спускай штаны...
— Вай! Какой совесть нету! Я ему десять рубли давал, а ему мало!
Доктор Саша деньги брал. Бумажка писал, колоть не надо!
Так вот отчего «рука легкая» у Саши...

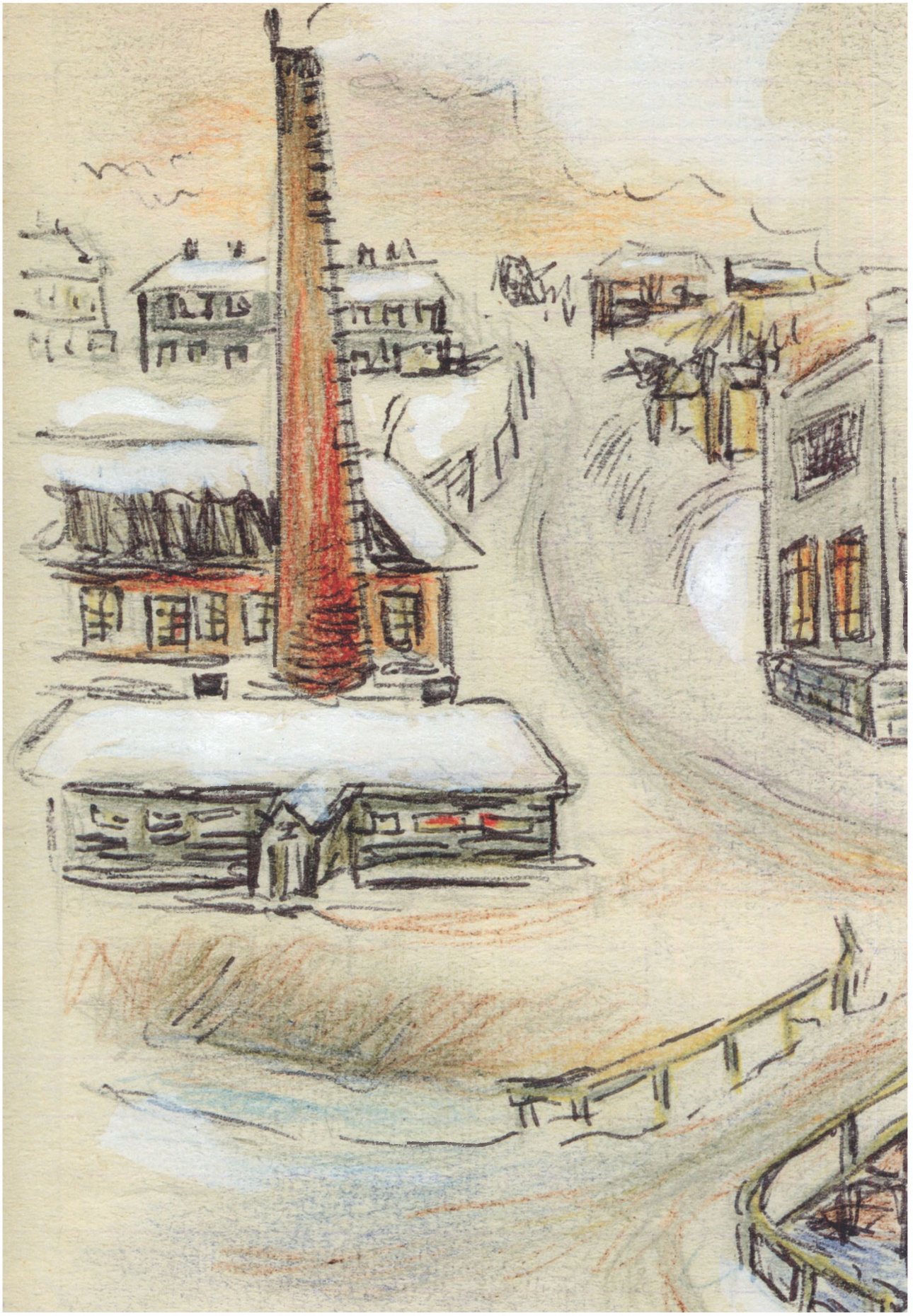
АЛЬБОМ 7. РИС. 46

АЛЬБОМ 7. РИС. 46 (ФРАГМЕНТ) ◀

«Старшая» Флисс потребовала, чтобы в книге сдачи дежурств я расписалась, что не украду ножниц.
— Я несу ответственность за 120 больных, за их жизнь и леченье, за все здание и оборудование, за здоровье людей и сохранность инвентаря, одним словом — за все!
— Человек стоит столько, сколько стоит его слово. Подпись — это и есть мое слово, и подписи в том, что не украду ножниц, не дам!
Доктор Миллер, игравший тут же с Реймасте в шахматы, сказал:
— Старшая сестра — ваше начальство. Вы или подчинитесь ее распоряжению, или мы распрощаемся с вами.
— В таком случае, прощайте!
Так я вылетела и из Филиала...

АЛЬБОМ 7. РИС. 47

АЛЬБОМ 7. РИС. 47 (ФРАГМЕНТ) ▲



АЛЬБОМ 8. РИС. 2 (ФРАГМЕНТ)

Альбом 8
январь 1946 — май 1947

Доктор Мардна уговорил Евфросинию работать в морге прозектором. Там трудились: заведующий Никишин, вольный (имевший пять лет поражения в правах), секретарь Дмоховский, вольный (записывал протоколы вскрытий), и два санитара, бытовика-уголовника.

Многое ей там нравилось. Например, изучать анатомию, читать книги из хорошей медицинской библиотеки и перенимать опыт у доктора Никишина. За время работы Евфросиния сделала 1640 вскрытий. Как это можно было выдержать, спрашивала она себя. И отвечала: тот ужас, который свойственно испытывать человеку при виде мертвеца, возможен, только когда тело не утратило человеческого облика. Но в подавляющем большинстве истощенные до предела заключенные еще при жизни выглядели как мертвецы.

Доктор Никишин напоминал ей полководца Суворова, который ел с солдатами кашу из одного котла. Так и работавшие в морге, хотя получали свое питание из разных источников (заключенные — из столовой в зоне в ЦБЛ, Дмоховский — из столовой № 1 в противоположной части города, Никишин — из столовой Дома инженерно-технических работников), но все складывалось в «общий котел», делилось поровну, и все обедали вместе.

Когда врачи Грязнева и Мардна устраивали Евфросинию на работу в морг, то они надеялись, что Фрося приживется в этом небольшом коллективе. Имея благородную цель («Здесь смерть может помочь жизни»), которой воодушевил ее Мардна, она хотела как можно нагляднее показать врачу те патологические изменения, которые произошли в организме умершего. В аналогичном случае это помогло бы ему применить более эффективные методы лечения. Евфросиния настаивала на том, что ошибки врачей надо вносить в протоколы вскрытий. Но они выражали недовольство. Заведующий моргом Никишин боялся всего и переписывал протоколы сделанных ею вскрытий, чтобы все там совпадало с заключением врачей. Бессмысленная работа не радовала Евфросинию, а доставляла моральные страдания.

Ее возмущало циничное отношение к погребению. По распоряжению лагерного начальства умерших мужчин и женщин сваливали вместе в специальный ящик-катафалк, в котором их везли из морга под гору Шмитиху в общие могилы — траншеи на двести человек.

К весне 1947 года у Евфросинии не стало в ЦБЛ покровителей: Мардна освободился и уехал из Норильска, а Грязневу лишили поста начальника лагерной больницы и перевели в рядовые врачи за то, что она отказалась отречься от мужа — «врага народа».

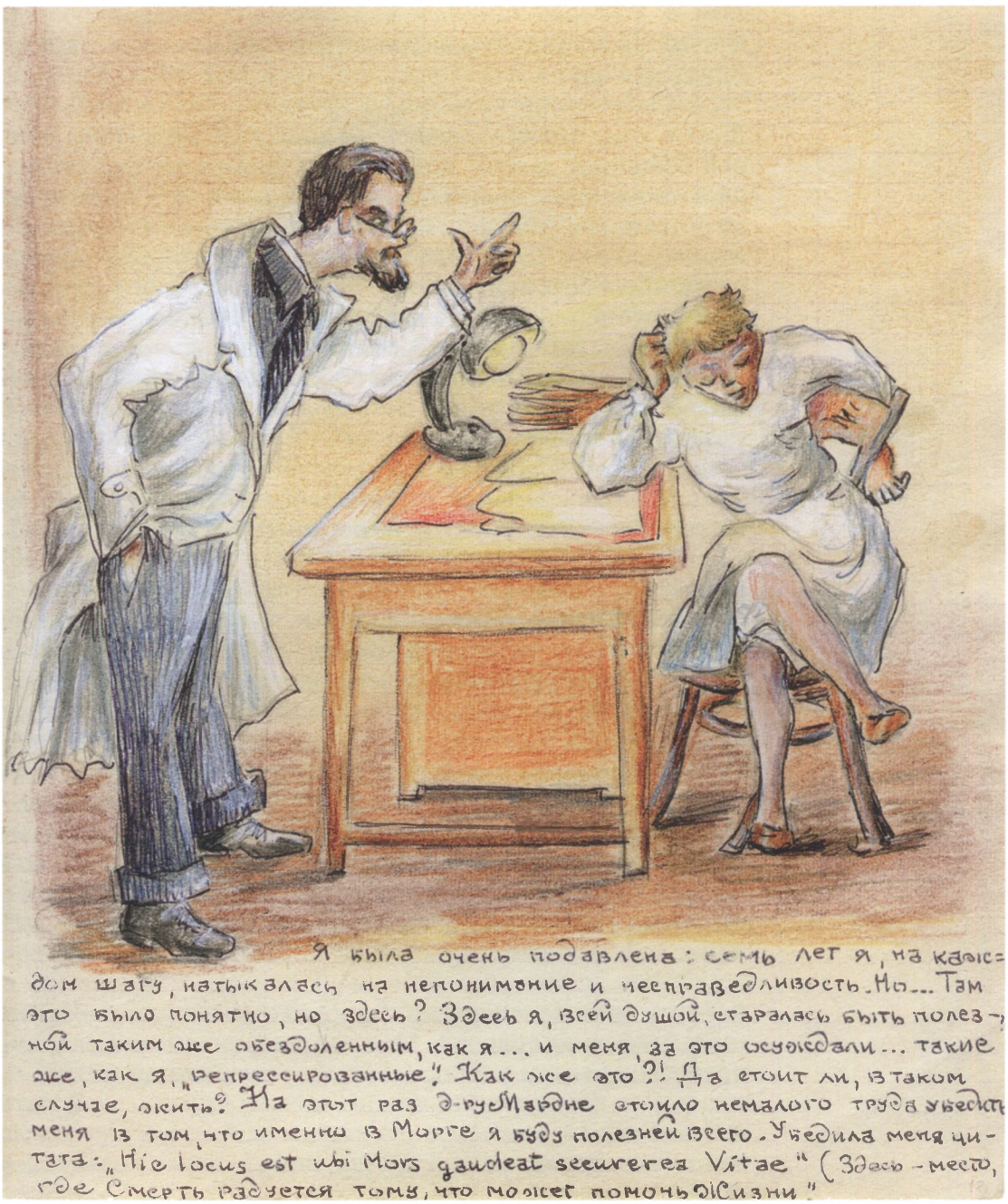
В этой ситуации Евфросинию стал выживать с работы Ляндрес.

Дело в том, что все освобождавшиеся из ЦБЛ (Центральной больницы лагеря) ночевали в здании морга на столах, на которых днем производились вскрытия. Это происходило потому, что бывший заключенный не имел в Норильске жилья и, только найдя работу, мог устроиться в общежитии или купить балок (вагончик). Когда сюда в 1947 году переселился бывший заведующий аптекой ЦБЛ Ляндрес, из-за конфликта с которым Евфросинию в свое время перевели их хирургии в терапию, то он обосновался в единственной жилой комнате морга и потребовал, чтобы Евфросиния уходила в зону до ужина (прежде все ужинали вместе), а по воскресеньям вообще не выходила из зоны (хотя в морге работали и в воскресенье). Никишин боялся Ляндреса, как известного стукача, и просил не перечить ему.

Евфросиния добровольно ушла в зону ЦБЛ и очутилась в безвыходном положении. Единственный шанс на спасение в Норильске — работа в больнице — был потерян, а уйти в другую зону означало наверняка получить там третий срок. Если уж нет надежды, без которой для Евфросинии не может быть и жизни, то остается шахта — то, что отвратительней смерти и облегчит ей задачу отказаться от жизни. В конце мая она просит отправить ее в шахту. В ответ на отказ объявляет голодовку. Она решила, когда ее вызовут на этап, перерезать себе вены в кабинке в котельной ЦБЛ. Но встреча с секретарем морга Дмоховским по дороге в котельную и случившийся с ней голодный обморок помешали исполнить задуманное.

Евфросинию привезли на грузовике в лагпункт «Нагорный» в Угольном ущелье. Мысль о смерти сменилась у нее интересом, что из себя представляет загадочная шахта.

Я была очень подавлена: семь лет я на каждом шагу натыкалась на непонимание и несправедливость. Но там это было понятно, но здесь? Здесь я всей душой старалась быть полезной таким же обездоленным, как я. И меня за это осуждали такие же, как я, репрессированные. Как же это?! Да стоит ли в таком случае жить? На этот раз доктору Мардне стоило немалого труда убедить меня в том, что именно в морге я буду полезней всего. Убедила меня цитата: «Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae» («Здесь место, где Смерть радуется тому, кто может помочь Жизни».)

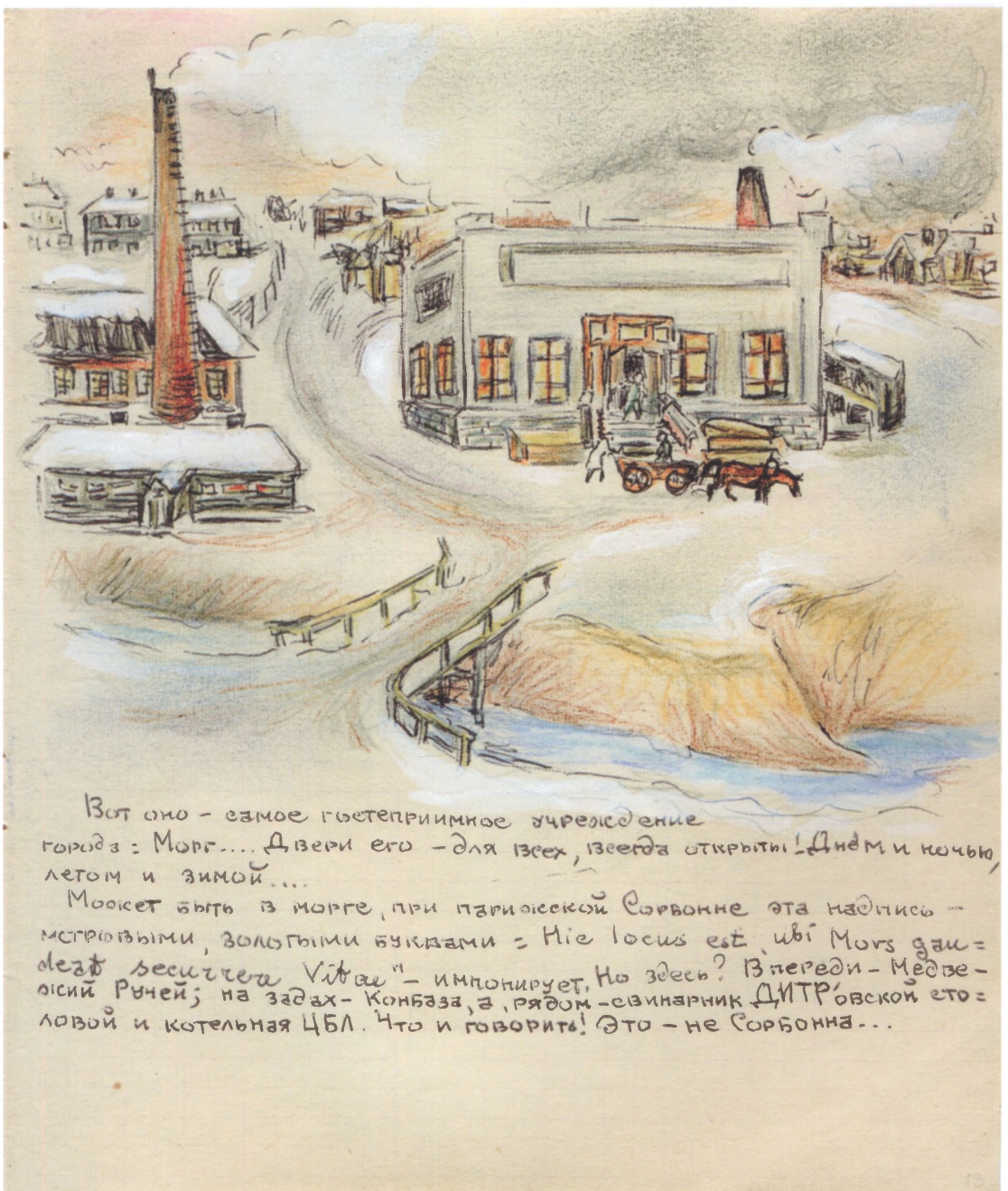


АЛЬБОМ 8. РИС. 1

Вот оно — самое гостеприимное учреждение города: морг... Двери его для всех всегда открыты! Днем и ночью, летом и зимой.

Может быть, в морге при парижской Сорбонне эта надпись метровыми золотыми буквами «Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae» импонирует. Но здесь? Впереди — Медвежий ручей; на задах — Конбаза, а рядом — свинарник ДИТРовской столовой* и котельная ЦБЛ. Что и говорить! Это не Сорбонна...

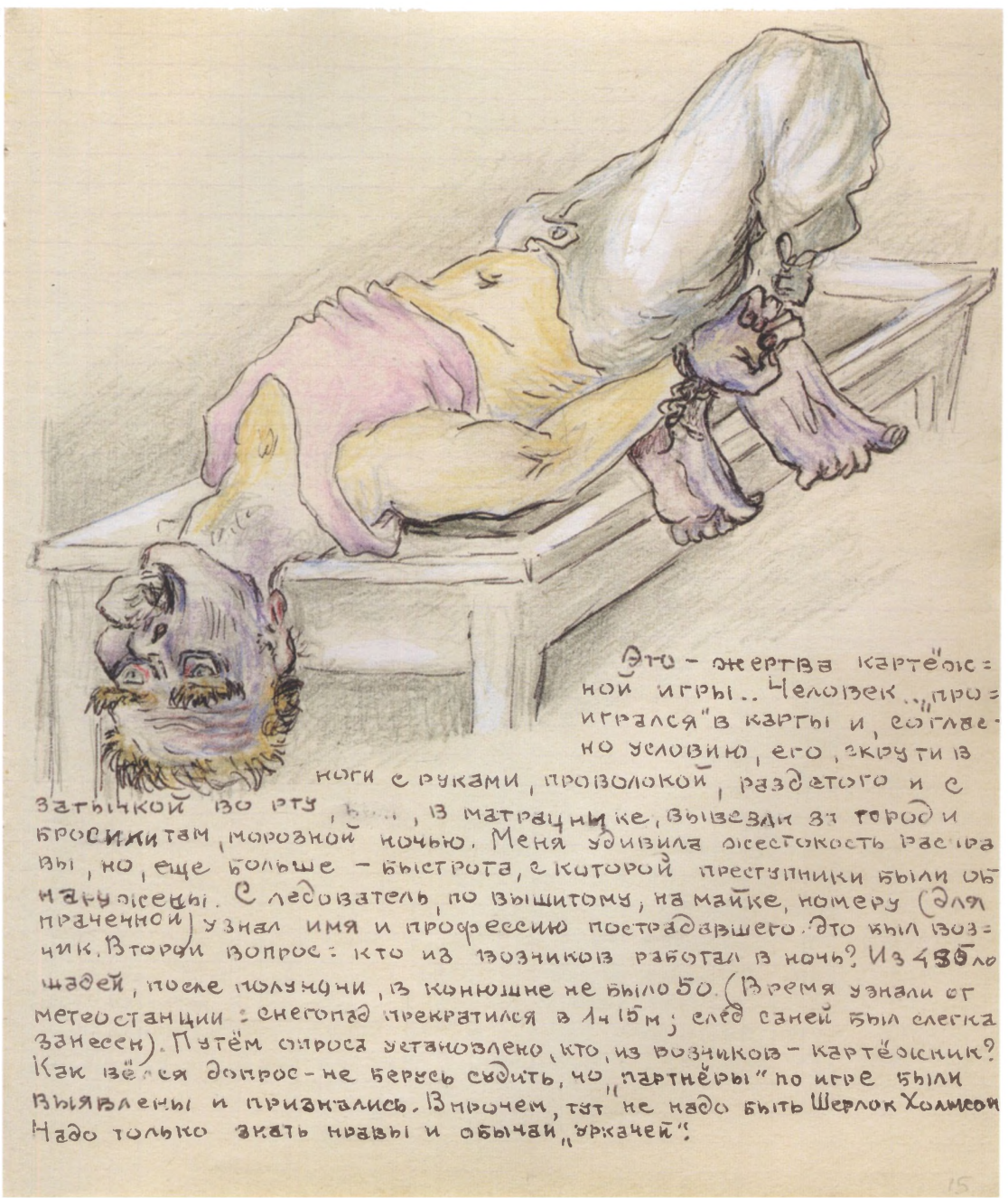
* ДИТР – Дом инженерно-технических работников.



— Вот вы и в морге! Отсюда два пути: на волю или под Шмитиху! — говорил Владимир Николаевич*, знакомя меня с моей новой работой. Это был очень остроумный и словоохотливый гид — бывший гвардейский офицер Измайловского полка!

* В.Н. Дмоховский.

Это — жертва картежной игры... Человек проигрался в карты, и, согласно условию, его, скрутив ноги с руками проволокой, раздетого и с затычкой во рту, в матрацнике, вывезли за город и бросили там морозной ночью. Меня удивила жестокость расправы, но еще больше — быстрота, с которой преступники были обнаружены. Следователь по вышитому на майке номеру (для прачечной) узнал имя и профессию пострадавшего. Это был возчик. Второй вопрос: кто из возчиков работал в ночь? Из 435 лошадей после полуночи в конюшне не было 50 (время узнали от метеостанции: снегопад прекратился в 1 час 15 минут; след саней был слегка занесен). Путем опроса установлено, кто из возчиков картежник. Как велся допрос, не берусь судить, но партнеры по игре были выявлены и признались. Впрочем, тут не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо только знать нравы и обычаи уркачей.



Как Рим — на семи холмах, так [доктор] Никишин — на семи стульях и старом, рваном одеяле.

Очень уж хотелось ему быть похожим на Суворова. Маленького роста, подвижный, вприпрыжку, с ужимками — как Суворов. Обладал, не по маленькому росту, мощным голосом. Но Суворов пел на клиросе, а Никишин — в морге, Суворов питался из солдатского котла, Никишин свой ДИТРовский паек валил в общий котел — всем поровну! Суворов всегда был в походной форме, Никишин — в телогрейке, сапогах и треухе. Но была и разница: Суворов по утрам обливался холодной водой, а Никишин воды боялся. Но самая большая разница была в том, что Суворов всем говорил правду в глаза, и чем выше было начальство, тем более ему доставалось от непокорного старика, а Никишин лебезил перед начальством.

Бывало, что Павла Евдокимыча вызывали к телефону, когда мы завтракали, и мы, позавтракав, принимались за работу, а Павел Евдокимыч, подхватив свою миску с кашей, суетился возле стола, на котором я производила вскрытие.
— Обрати внимание, Фросинька, на это кровоизлияние! — тыкал он ложкой в сторону заинтересовавшего его места кишечника, не чувствуя, до чего это гротескная картина — он с кашей в миске возле трупа. Он слишком привык к покойникам!

Бывало, что Павла Евдокимыча вызывали к телефону, когда мы завтракали и мы, позавтракав, принимались за работу, а Павел Евдокимыч, подхватив свою миску с кашей, суетился возле стола, на котором я производила вскрытие. „Обрати внимание, Фросинька, на это кровоизлияние!" — тыкал он, ложкой, в сторону, заинтересовавшего его места кишечника, не чувствуя, до него это „гротескная картина" — он, с кашей, в миске, возле трупа! Он слишком привык к покойникам!

Только что демобилизованному из армии следователю не повезло: судьба ему подбросила для его первого судебно-медицинского вскрытия очень неприятный экземпляр самоубийцы. Старик недавно освободился из лагеря, и в ЦБЛ его не пожелали принять, а вольная больница отказала ему, так как он еще не проработал полгода по вольному найму. У старика был абсцесс легкого: легкое гнило, от бедняги исходил ужасный смрад, он нигде не мог поселиться, и нечего было есть. Он сделал правильный вывод и... повесился. Но следователю не повезло вдвойне: Павел Евдокимович был занят: он еще до завтрака хотел написать сводку и он поручил вскрытие мне.

«Ну, погоди! Теперь уж я поезжу на тебе, следователь!» — подумала я.

Для установления факта самоубийства было достаточно: 1) внешний осмотр, 2) пятна Тардье на эпикарде (асфиксия), 3) надрыв интимы сонной артерии.

Только что демобилизованному из армии следователю не повезло: судьба ему подбросила для его первого судебно-медицинского вскрытия очень „неприятный" экземпляр самоубийцы. Старик недавно освободился из лагеря и в ЦБЛ его не пожелали принять, а „вольная" больница отказала ему...т.к. он еще не проработал полгода „по вольному найму." У старика был абсц[есс] чее легкого: легкое гнило, от бедняги исходил ужасный смрад, он нигде не мог поселиться и нечего было есть... Он сделал правильный вывод и...повесился. Но следователю не повезло вдвойне: Павел Евдокимович бы занят: он, еще до завтрака, хотел написать сводку" и он поручил вскрытие мне. „Ну, погоди! Теперь уж я поезжу на тебе, следователь!" подумала я. Для установления факта самоубийства, было достаточно: 1) внешний осмотр, 2) пятна Тардье "на эпикарде (асфиксия), 3) надрыв интимы сонной артерии. Но я сделала вскрытие „по всем правилам: я заставила его внимательно присмотреться к ужасной картине гнойного процесса. Следователь был близок к обмороку. Но...выдержал! Я сдалась. Но тут вошел Никишин и сказал: „Кончила? Ну, теперь неплохо и подзакусить!" Этого следователь не выдержал...

АЛЬБОМ 8. РИС. 7

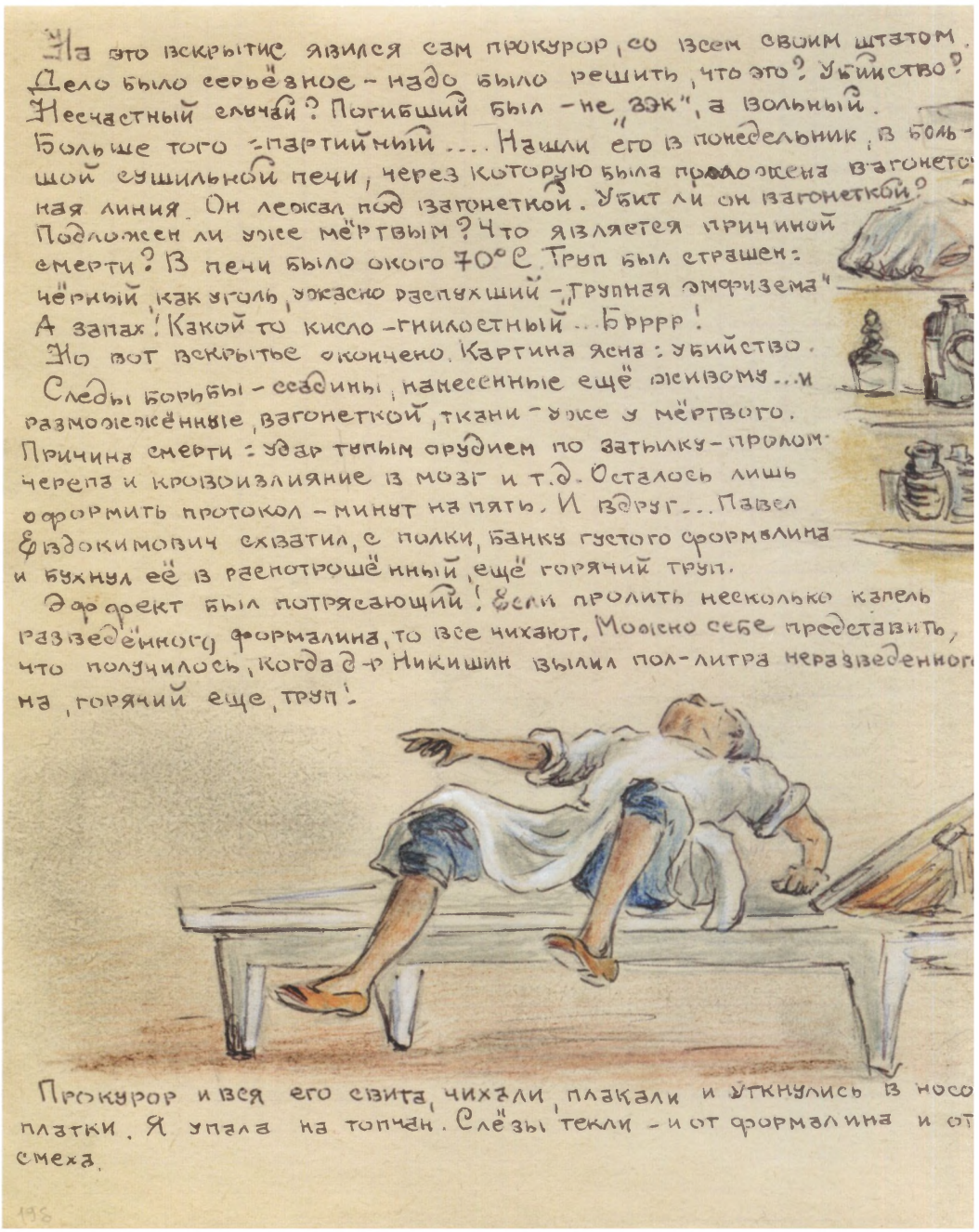
АЛЬБОМ 8. РИС. 7 (ФРАГМЕНТ) ▼

Но я сделала вскрытие legea artis — по всем правилам: я заставила его внимательно присмотреться к ужасной картине гнойного процесса. Следователь был бледен и на грани обморока. Но выдержал! Я сдалась. Но тут вошел Никишин и сказал: «Кончила? Ну теперь неплохо и подзакусить!»

Этого следователь не выдержал...

На это вскрытие явился сам прокурор со всем своим штатом. Дело было серьезное — надо было решить, что это? Убийство? Несчастный случай? Погибший был не зэк, а вольный. Больше того — партийный. Нашли его в понедельник в большой сушильной печи, через которую была проложена вагонеточная линия. Он лежал под вагонеткой. Убит ли он вагонеткой? Подложен ли уже мертвым? Что является причиной смерти? В печи было около 70 градусов по Цельсию. Труп был страшен: черный как уголь, ужасно распухший — трупная эмфизема. А запах! Какой-то кисло-гнилостный... Бррр!

Но вот вскрытие окончено. Картина ясна: убийство. Следы борьбы — ссадины, нанесенные еще живому, и размозженные вагонеткой ткани, уже у мертвого. Причина смерти: удар тупым орудием по затылку — пролом черепа и кровоизлияние в мозг и т. д. Осталось лишь оформить протокол —



минут на пять. И вдруг... Павел Евдокимович схватил с полки банку густого формалина и бухнул ее в распотрошенный, еще горячий труп.

Эффект был потрясающий! Если пролить несколько капель разведенного формалина, то все чихают. Можно себе представить, что получилось, когда д-р Никишин вылил пол-литра неразведенного на горячий еще труп!

Прокурор и вся его свита чихали, плакали и уткнулись в носовые платки. Я упала на топчан. Слезы текли и от формалина, и от смеха.

Павел Евдокимович тоже чихал, повторяя: «Какой же я дурак...»

Наконец прокурор сказал: «Вы привычны, а нам тяжеловато...» — и все они поспешили покинуть «гостеприимное учреждение».

В морг ворвалась женщина, дико вопя:
— Я убила свою дочку, я задавила своего ребенка.
На вытянутых руках — мертвая девочка месяцев 9–10. На вопрос [доктора] Никишина она объяснила:
— Наша комната [одиннадцать] метров. На столе — старики, дед с бабкой. Под столом — моя сестра. В углу возле шкафа — квартирант с женой и ребенком. Мы с мужем — на кровати. Двое детишек — в ногах, а малышка возле меня...
Никишин связался по телефону с прокурором, и тот велел ему сходить проверить на месте. Вернувшись, Павел Евдокимович на мой вопрос лишь руками развел:
— Знаешь, Фросенька, меня удивляет лишь, как это бабушка не задавила дедушку, как еще не задавлен квартирант с семьей и как это все они не передавили друг друга?
Женщина в смерти ребенка была признана невиновной.

Этот больной умер у самой Веры Ивановны, и она пришла в сопровождении Мардны и Миллера. Больной поступил умирающим. Вера Ивановна решила — милиарный туберкулез. Но я обратила внимание на септический тромбофлебит с входными воротами — загнивший отмороженный палец левой ноги. Дело в том, что недавно я уже встретилась с идентичным случаем. И я смело опровергла эпикриз. [Доктор] Миллер зарычал от возмущения. Но Вера Ивановна сказала:

— Что ж! Если вы это утверждаете — докажите!

И я без труда проследила путь тромба — целой колонии микробов — от пальца к бедренной вене, оттуда — к подвздошной воротной вене — в пе-чень, а через диафрагму — per continuetatem — в нижнюю долю правого легкого, где образовалось множество гнойных очагов. А это на рентгене симулировало tbc.

Этот больной умер у самой Веры Ивановны и она пришла в сопровождении Мардны и Миллера. Больной поступил, умирающим. Вера Ивановна решила – милиарный туберкулез. Но... я обратила внимание на „септический тромбофлебит", с „входными воротами" – загнивший отмороженный палец левой ноги. Дело в том, что, недавно я уже встретилась с идентичным случаем, И я смело опровергла „эпикриз". Д-р Миллер зарычал от возмущения. Но Вера Ивановна сказала: – „Что ж! Если вы это утверждаете – докажите!"
И я, без труда, проследила путь тромба – целой колонии микробов – от пальца к бедренной вене, оттуда – к подвздошной, воротной вене – в печень, а через диафрагму – „per continuetatem" – в нижнюю долю правого легкого, где образовалось множество гнойных очагов. А это, на рентгене, симулировало „tbc".

Больной поступил уже в безнадежном состоянии. [Доктор] Миллер не стал тратить на него времени, а когда пришел на вскрытие, то и здесь не проявил ни малейшего интереса. «Дизентерия. Алиментарная дистрофия III» — этот излюбленный диагноз его вполне устраивал. Мне же было ясно, что здесь рак и кахексия, вызванная интоксикацией (распад опухоли). Миллер не мог снести конфуза. Он мне нагрубил:
— Молчать! Делай свое дело!
— Я свое дело знаю, чего о Вас не скажешь.
Он ринулся, желая меня ударить. Я ему подставила нож...

Больной поступил уже в безнадёжном состоянии. Д-р Миллер не стал тратить на него времени, а, когда пришёл на вскрытие, то и здесь не проявил ни малейшего интереса: Дизентерия. Алиментарная Дистрофия III — этот его излюбленный диагноз его вполне устраивал. Мне же было ясно что здесь — рак и кахексия, вызванная интоксикацией (распад опухоли) Миллер не мог снести конфуза. Он мне нагрубил: „Молчать! Делай своё дело!" — „Я своё дело знаю ... чего о вас не скажешь". Он ринулся, желая меня ударить. Я ему подставила нож...

О том, что [доктора] Мардну досрочно освобождают, я узнала от Жукóеще в морге.

— Вот радость-то какая! Ему, его семье, да и всем, кто его знает! — воскликнула я. Я искренне обрадовалась... за него. Но с ним я лишалась единственного человека, у которого я могла встретить понимание.

Вечером, прямо с работы, я одним духом взлетела по лестнице и, разумеется, нашла его в физкабинете и, разумеется, с Мирой Александровной.

— Доктор, какая радость! Какое счастье! — сказала я, быстро подходя к письменному столу. Но, должно быть, это от счастья слезы покатились из глаз... Мардна встал, обошел вокруг стола, вынул свой платок, вытер им мои слезы, сунул платок в мой карман. Затем, обняв за плечи, поцеловал меня в лоб.

Первая... Последняя... Единственная ласка.

О том, что д-ра Мардну досрочно освобождают, я узнала от Жукó - еще в Морге. - „Вот радость-то какая! Ему ...его семье... да и всем, кто его знает!," воскликнула я. Я искренно обрадовалась... за него. Но, с ним, я лишалась единственного человека, у которого я могла встретить понимание.

Вечером - прямо с работы - я, одним духом взлетела по лестнице и, разумеется, нашла его в физкабинете и, разумеется, с Мирой Александровной. - „Доктор, какая радость! Какое счастье!" сказала я, быстро подходя к письменному столу. Но, должно быть, это от счастья, слёзы покатились из глаз.... Мардка встал, обошёл вокруг стола, вынул свой платок, вытер им мои слёзы, сунул платок в мой карман. Затем, обняв за плечи, поцеловал меня в лоб.

Первая... Последняя... Единственная ласка.

Врач был мертвенно бледен и очень растерян с виду, но... Извини меня, мой брат-прозектор! Ты оказался человеком. И притом Человеком с большой буквы!

По мере того, как он мне диктовал, картина прояснялась, и не оставалось сомнения, что это было убийство. Убийство выстрелами в упор. Головы, разбитые прикладами... Грудная клетка, проломанная тупым предметом... Обожженные выстрелами лица.

— Гад! Фашист! — хрипел старшина, грозя кулаком. — Твое место — там, в этой куче!

Слабое подобие улыбки тронуло бескровные губы врача.

— Знаю! Но вскрытие, пожалуй, сделаю не я...

Ты пристыдил меня, бесстрашный ученик Гиппократа! Ты знал, что тебе с клеймом 58-й статьи пощады не будет.

Не тот храбр, кто не боится, а тот, кто, боясь, не гнется.

АЛЬБОМ 8. РИС. 13

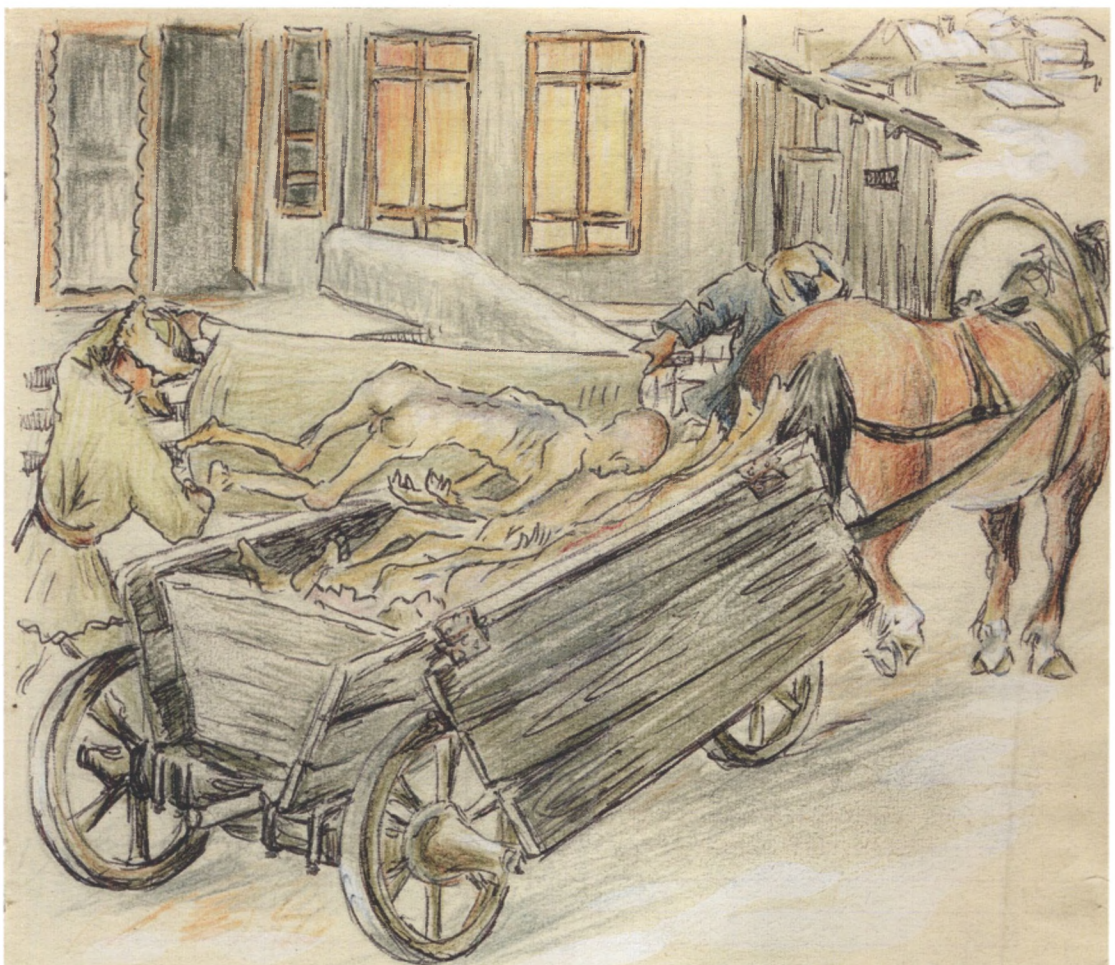
Оба санитара морга — Жукó и Петро — были уголовники, у них были пропуска, и они уходили, зная, что я и одна справлюсь. Да это было и нетрудно! Жмурики были до того истощенные, особенно из л/п* «Алевролиты» или «Калларгон», что это было нетрудно! Доставляли их обычно в матрацниках (которые сразу надо было возвращать), но нередко — совершенно голыми. Из матрацника было нелегко их вытряхнуть: трупы, скорченные в три погибели, окоченелые, а зимой — замерзшие... Вот попробуй извлеки такой труп из мешка!

* Л/п – лагпункт.

До войны заключенных хоронили в кое-как сколоченных гробах; в военные годы количество жмуриков возросло до такой степени, что был изобретен так называемый катафалк — ящик на колесах, куда складывали валетом голые трупы.

Ирония судьбы: мастер, изобретший этот катафалк, скоропостижно скончался и попал в один из первых рейсов.

В 1947 году опять начали возить покойников в гробах, из которых их, впрочем, вываливали в общие могилы.



До войны, заключённых хоронили в, кое-как сколоченных, гробах; в военные годы, количество „жмуриков" возросло до такой степени, что... был изобретён т.н. „катафалк" – ящик на колёсах, куда складывали „валетом", голые трупы.

„Ирония судьбы": мастер, изобрётший этот „катафалк", скоропостижно скончался и попал в один из первых рейсов.

В 47 году – опять начали возить покойников в гробах... из которых их, впрочем, вываливали в общие могилы.

На Вальке* умер врач. Заключенный, тоже улова 1937 года, но расконвоированный. В виде особой милости его было разрешено похоронить там же. Но заключенные, все без изъятия, должны быть анатомированы, чтобы кто-нибудь не сбежал под видом покойника. И вот д-р Никишин поехал на Валек для вскрытия. Ляндрес за ним увязался. Обратно их доставили до 9-го л/о, а оттуда они пошли пешком. Дело было весной, грязь была глубокая. И вот при виде особо глубокой лужи Павел Евдокимович предложил перенести его на закорках. И Ляндрес не постыдился влезть на спину старому, низкорослому и слабому человеку! Судьба его покарала: в самом глубоком месте бедный старик не выдержал и со словами «не могу» рухнул в грязь.

* Поселок Валек в 12 км от Норильска, порт на реке Валек, с 1936 года открылось движение по узкоколейке Валек — Норильск, строили ее заключенные. С 1940 года аэрогидропорт. Зимой самолеты взлетали и садились на лыжах, летом — на поплавках.

И еще одно разочарование ждало Ляндреса! Сослуживцы умершего врача подарили Павлу Евдокимовичу три крупные рыбины. Ляндрес рассчитывал получить полторы рыбы, но доктор Никишин, согласно своему принципу, разделил поровну на нас всех. Каждый получил по полрыбы.

АЛЬБОМ 8. РИС. 16 (ФРАГМЕНТ) ◀

На Вальке умер врач. Заключённый, только, умора 37 год.", на речонк[а] покрошенный. В виде особой милости, его было разрешено похоронить там-же. Но... заключённые - все без изъятия - должны быть анатомированы... чтобы кто никудь не сбежал, под видом покойника. И вот д-р Никишин послал на Валёк, для вскрытия. Ляндрес, за ним каюзал[ся]. С братно их доставили, до 9 1/2 %, а оттуда, они пошли пешком, Было ещё весной, грязь была глубокая. И вот, при виде особо - глубокой лужи Павел Евдокимыч предложил... перенести его на закорках И Ляндрес не постыдился влезть на спину старому, кизлякоклому и злобному человеку. Судьба его покарала: в самом глубоком месте, бесный старик не выдержал и, со словами "не могу!" грохнул в грязь

И ещё одно разочарование ждало Ляндреса! Сослуживцы умершего врача, подарили Павлу Евдокимычу три крупные рыбины. Ляндрес, рассчитывал получить 1½ рыбы, но д-р Никишин, согласно своему принципу, разделил, поровну, на нас всех. Каждый получил пол-рыбы.

АЛЬБОМ 8. РИС. 16

Наглость Ляндреса не имела предела. Павел Евдокимович, зная (со слов того же Ляндреса), что он вхож на равных правах ко всем власть имущим, малодушно позволял ему помыкать собой. Ляндрес обосновался в единственной жилой комнате морга (сам Никишин спал на семи стульях в канцелярии). Он потребовал, чтобы я уходила в зону до ужина (прежде мы ужинали вместе), чтобы по воскресеньям я вообще не выходила из зоны (в морге работали и в воскресенье; кроме того, я обычно в свободное время читала: в морге была хорошая медицинская библиотека). И в этом Павел Евдокимович ему подчинился... Но взрыв был неизбежен...

АЛЬБОМ 8. РИС. 17

АЛЬБОМ 8. РИС. 17 (ФРАГМЕНТ) ▼

Прихожу я однажды и вижу: стоят два маляра из ЦБЛ и Ляндрес с двумя колбами метиленовой синьки — той очень дефицитной синьки, которую чуть не по каплям выписывали для хромоцистоскопии, — и говорит Никишину:
— Вы проследите, чтобы вся эта синька была использована для побелки! А то эти заключенные — такие воры...

— Это они воры? — не выдержала я, вихрем влетая в комнату. — А вы? Вы, укравший у больных это дефицитное лекарство, чтобы побелить им свою комнату? И это они воры?!

Боже мой! Что тут произошло! В соседней комнате Никишин метался, хватаясь за голову, а Дмоховский корчился от смеха. Ляндрес присел от неожиданности, маляры ухмылялись...

— Да как она смеет! — завопил злобный карлик. — Да как эта фашистка осмелилась?! Вон! Сию же минуту, вон!!!

АЛЬБОМ 8. РИС. 18

АЛЬБОМ 8. РИС. 18 (ФРАГМЕНТ) ▼

Он, уличенный в хищении, он незаконно проживающий в морге, выгонял меня, находящуюся на своем рабочем месте! Но меня ждал другой удар. Павел Евдокимович — честный, добрый, справедливый — подскочил ко мне и, подталкивая меня за плечи к двери, приговаривал:

— Ступай, ступай, Фросинька!

Я выскочила из морга и, как была в халате и в тапочках на босу ногу, побежала по глубокому снегу в зону.

— А ты знаешь, что такое дружить? — спросил он* меня.
— Разумеется, знаю. Дружить — это быть верным тому, с кем дружишь. Спешить на помощь, делить все — и горе и радость. Одним словом — помогать жить!
— Помогать жить, говоришь ты. То, что ты говоришь, верно. Но это еще не все! У настоящего друга есть еще одна обязанность — самая тяжелая: если надо, то друг должен помочь умереть.

* Оки — японский мальчик, кадет, друг детства Евфросинии в Одессе.

Что ждет меня в неволе? Я поступала так, как велит совесть. И все, что я считала правильным, приводило меня к провалу. Здесь, в ЦБЛ, при самых благоприятных условиях меня постигали лишь одни неудачи. «Из морга два выхода: на волю и под Шмидтиху», — сказал Дмоховский. Он прав. Остается умереть. Друга, в японском понимании, у меня нет.

Значит, надо поставить себя перед альтернативой, когда смерть — наименьшее зло. Так что же это такое, в сравнении с чем смерть наименьшее зло? Известное дело — шахта. И я потребовала: «Отправьте меня в шахту».

АЛЬБОМ 8. РИС. 19 (ФРАГМЕНТ) ◀

...А ты знаешь, что такое – „дружить"? спросил он меня.
– Разумеется, знаю. „Дружить" – это быть верным тому, с кем дружишь, спешить на помощь, делить все – и горе и радость. Одним словом – помогать жить!
– Помогать жить, говоришь ты. То, что ты говоришь – хорошо. Но это еще не все! У настоящего друга есть еще одна обязанность – самая тяжелая: если надо, то друг должен помочь умереть.
Что это от меня, в неволе? Я постигала так, как велит совесть. И все, что я считала правильным – приобщало меня к прекрасному. Везде, в ЦБЛ, при самых благоприятных условиях, меня настигали лишь обиды невзгод. „Из Морта – два выхода: на волю и... под Шмигиду..." сказал Дмоховский. Он прав. Остается... умереть. Но... Во мне так много „воли к окизни", а нужно... научиться умереть. Друга – в японском понимании – у меня нет. Значит, надо поставить себя перед альтернативой, когда смерть – наименьшее зло. Так что же это такое, в сравнении с чем, смерть – „наименьшее зло"? Известное дело – шахта. И я потребовала: „отправьте меня в шахту"

АЛЬБОМ 8. РИС. 19

Итак — шахта. Это то отвращение, которое хуже смерти, и облегчит мне задачу: отказаться от жизни, если уж нет надежды. Без надежды нет и не может быть жизни.

— Вы с ума сошли! — воздел к небу руки нарядчик Белкин.

— А вы знаете, что такое шахта? — ужаснулся бухгалтер ЦБЛ Лузин.

— Ни в какую шахту вы не пойдете! — отрезал начальник л/п ЦБЛ Иванов.

— В шахту и только в шахту! И нигде иначе работать я не буду!

— А кто вас кормить будет?

— Пока не отправите меня в шахту, я пайка не возьму!

Начиная с этого дня я пайки не брала. Это не была голодовка протеста. Нет! Просто: «Я у вас работать не хочу, а поэтому не считаю себя вправе есть ваш хлеб».

Итак - шахта. Это - то отвращение, которое хуже смерти и облегчит мне задачу: отказаться от жизни, если уж нет надежды. Без надежды нет и не может быть жизни.

-„ Вы с ума сошли!" воздел к небу руки нарядчик Белкин.

-„ А вы знаете, что такое - шахта?" ужаснулся бухгалтер ЦБЛ, Лузин.

-„ Ни в какую шахту вы не пойдете!" отрезал начальник л/п ЦБЛ, Иванов

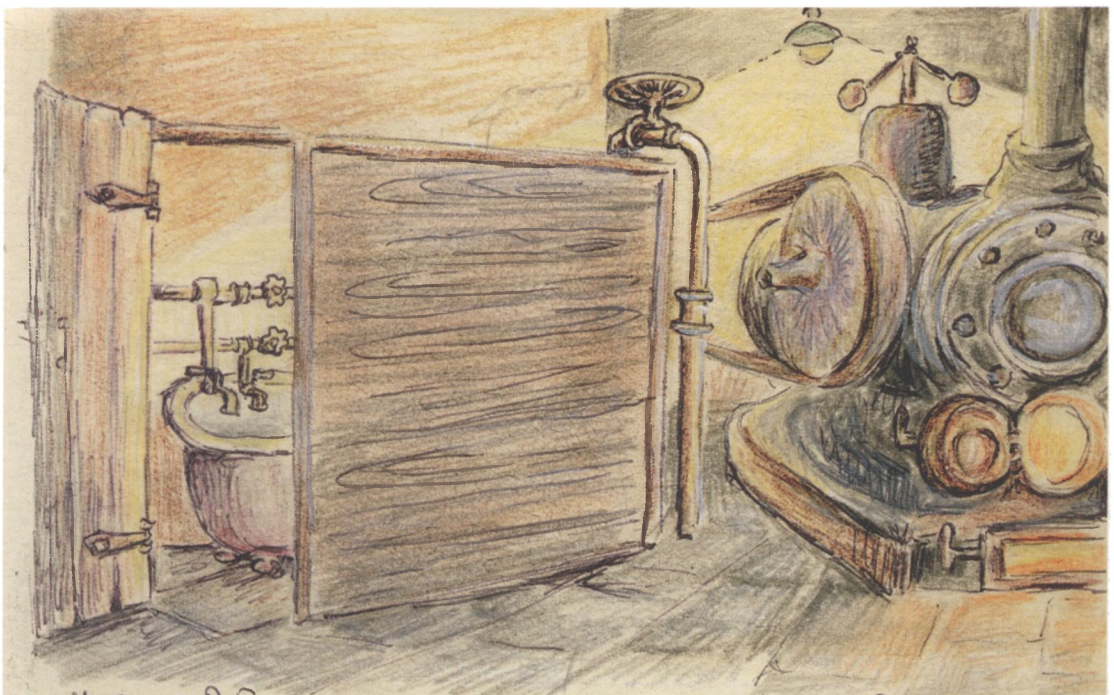
-„ В шахту и только в шахту! И нигде иначе работать я не буду!"

-„ А кто вас кормить будет?"

-„ Пока не отправите меня в шахту, я пайка не возьму!"

Начиная с этого дня, я пайки не брала. Это не была „ голодовка протеста. Нет! Просто: „ Я, у вас, работать не хочу, а, поэтому не считаю себя вправе есть ваш хлеб"

Умереть? Это не так уж сложно, если выхода действительно нет. Перерезать артерию на запястье. Чем? У меня есть бритва. Где? Есть ли более удобное место, чем кабина с ванной в котельной: шум машины, шум воды. Никто не помешает. Когда? Ну, это решено: когда мне скажут, что впереди — шахта. Это решено. А я решения не меняю.



Умереть? Это не так уже сложно... если выхода, действительно, нет. Перерезать артерию на запястьи. Чем? У меня есть бритва. Где? Есть ли более удобное место, чем кабина с ванной в котельной: шум машины, шум воды... Никто не помешает. Когда? Ну, это решено: когда мне скажут, что впереди - шахта. Это - решено. А я решенья не меняю.

— Керсновская, сейчас подойдет к вахте машина! Через полчаса!

Это — голос нарядчика Белкина. С тем же успехом это мог быть глас трубы Архангела. Только та возвещает воскрешение из мертвых. А здесь наоборот. Пора! И я, зажав в кулаке бритву, ринулась и... на пороге угодила головой в чей-то живот. От слабости (я 11 дней голодала) или от неожиданности, но у меня в глазах потемнело. Когда ко мне вернулась способность соображать, я услышала голос Дмоховского:

— Что я слышу? Неужели это правда? Вы нас покидаете? Павел Евдокимыч, бедняга, сам не свой! Места себе не находит!

Так говоря, он оттеснил меня обратно.

И вот Белкин вновь в дверях: «Евфросиния Антоновна — на вахту!»

В голове у меня шумело, я ничего не понимала. Дмоховский, по обыкновению, балагурил, шутил... Он меня проводил до машины, поднес мой пустой чемодан, помог влезть в кузов грузовика.

В лицо пахнул весенний ветер, яркое солнце слепило глаза, и голова кружилась. Машина подскакивала на ухабах. Прошлое уходило все дальше. А что впереди? Я повернулась лицом к «Угольному». Признаться, все эти дни мысли мои не шли дальше кабины в котельной. А теперь?
Теперь мой путь — к шахте. Вот не ожидала!

Однако почему бы не попробовать, что она из себя представляет, эта шахта?

«Будет буря — мы поспорим
И — помужествуем с ней!»

Еще одна страница перевернута. Что будет на следующей?

И вот Белкин вновь в дверях: „Евфросиния Антоновна - на вахту!"
В голове, у меня, шумело, я ничего не понимала. Дмоховский, по обыкновению, балагурил, шутил... Он меня проводил до машины, поднёс мои пустой чемодан, помог влезть в кузов грузовика.

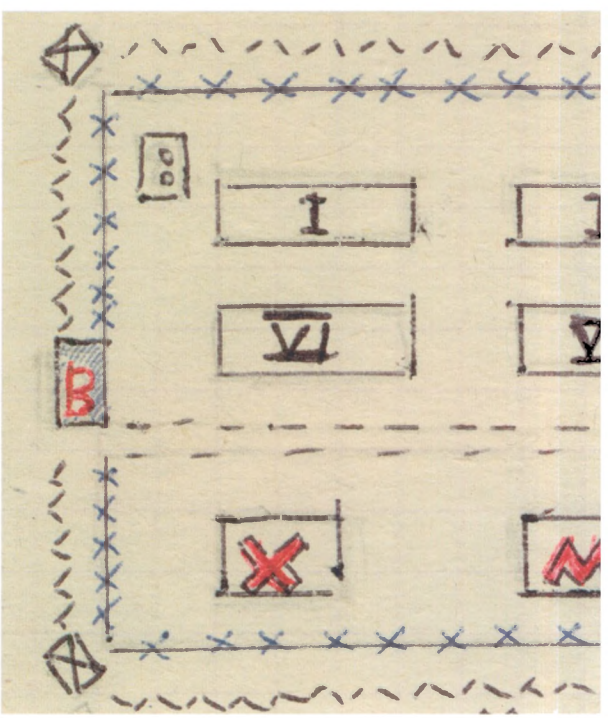
В лицо пахнул весенний ветер, яркое солнце слепило глаза и голова кружилась. Машина подскакивала на ухабах. Прошлое ... уходило все дальше. А что впереди? Я повернулась лицом к „Угольному" Признаться, все эти дни, мысли мои - не шли дальше кабины в котельной. А теперь? Теперь мой путь - к шахте... Вот не ожидала! Однако ... Почему бы не попробовать, что она из себя, представляет эта шахта? „Будет буря - мы поспорим
„И - помужествуем, с ней!"
Ещё одна страница перевёрнута. Что будет на следующей?

Альбом 9. Часть 1

июнь 1947 — 1948

Евфросинию поставили на шахте 13/15 добывать уголь из забоя. Тяжелая работа проходчика была ей по душе. Но не все было гладко. В шахте ее не ставили на довольствие, потому что были уверены: она не выдержит нагрузок и вернется в больницу лагеря. На пределе истощения она пошла разбираться в бухгалтерию, и за это ее отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) копать траншеи под горой Шмидтихой для умерших лагерников. Конвоир хотел избить ее напарницу, но она не дала ее в обиду. Поступок Евфросинии понравился солагерницам, и они поделились с ней одеждой и обувью. Это было как нельзя кстати, ведь работа на шахте требовала переодевания, а перед отправкой в шахту Евфросиния думала, что ей уже ничего не понадобится в этой жизни и сдала в каптерку ЦБЛ лишнюю одежду и даже телогрейку и одеяло.

Прежде чем стать настоящим шахтером, Евфросиния выдержала несколько испытаний. Сначала горный мастер обвинил ее в невыходе на работу. Но она доказала абсурдность обвинения. Второе столкновение было с самой шахтой, когда ее оставили одну в незакрепленном забое недобросовестные напарники и отслоившийся пласт угля чуть не накрыл ее, ей удалось в полной темноте выбраться на свет.

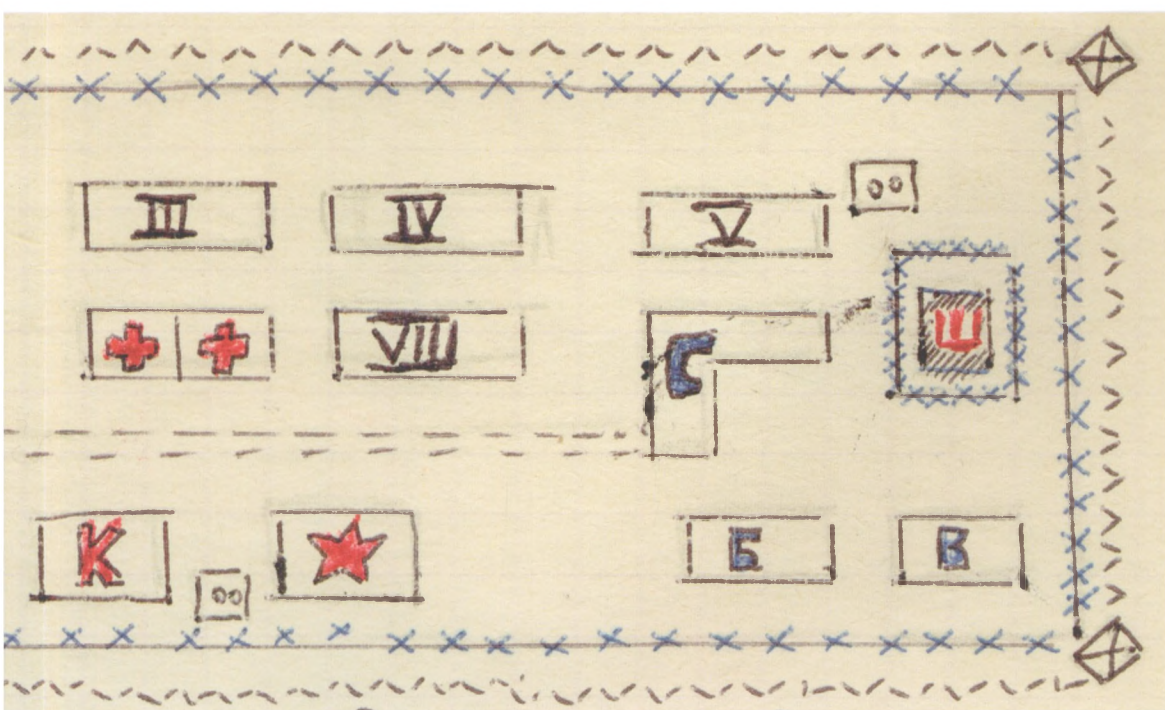


У шахтеров-заключенных было два хозяина: металлургический комбинат и лагерь. Столкновение с представителями лагерного режима было самым тяжелым. Евфросиния соответственно отреагировала на грубое обращение конвоира, и за это ее без санкции врача поместили в ШИЗО. Начальник режима Полетаев дал ей пощечину, чтобы «сбить гордость», затем избил ее. Ее содержали в холодной, когда на улице был сильный мороз, а затем угрожали отправить на работу на песчаный карьер, что было равносильно смерти. Но начальство шахты, узнав обо всем

этом, защитило ее от произвола лагерной администрации. Шахтеры оценили и героизм Евфросинии, и способность сохранять достоинство в любой ситуации. Представлявший шахту Байдин вспомнил на собрании в штабе, что Евфросиния сумела предотвратить аварию, рискуя своей жизнью, проявила мужество и находчивость, а значит, ей есть чем гордиться, и так обращаться с ней нельзя. К освобожденной Евфросинии на лагпункт «Нагорный» приехал парторг шахты Рогожкин и, увидев, что та спит на голых нарах и не имеет одежды, распорядился выписать ей одеяло, телогрейку и шапку. Таким образом, первые трудности работы на шахте были преодолены.

По горячим следам Евфросиния написала жалобу начальнику норильских лагерей на действия лейтенанта Полетаева, и его понизили в звании.

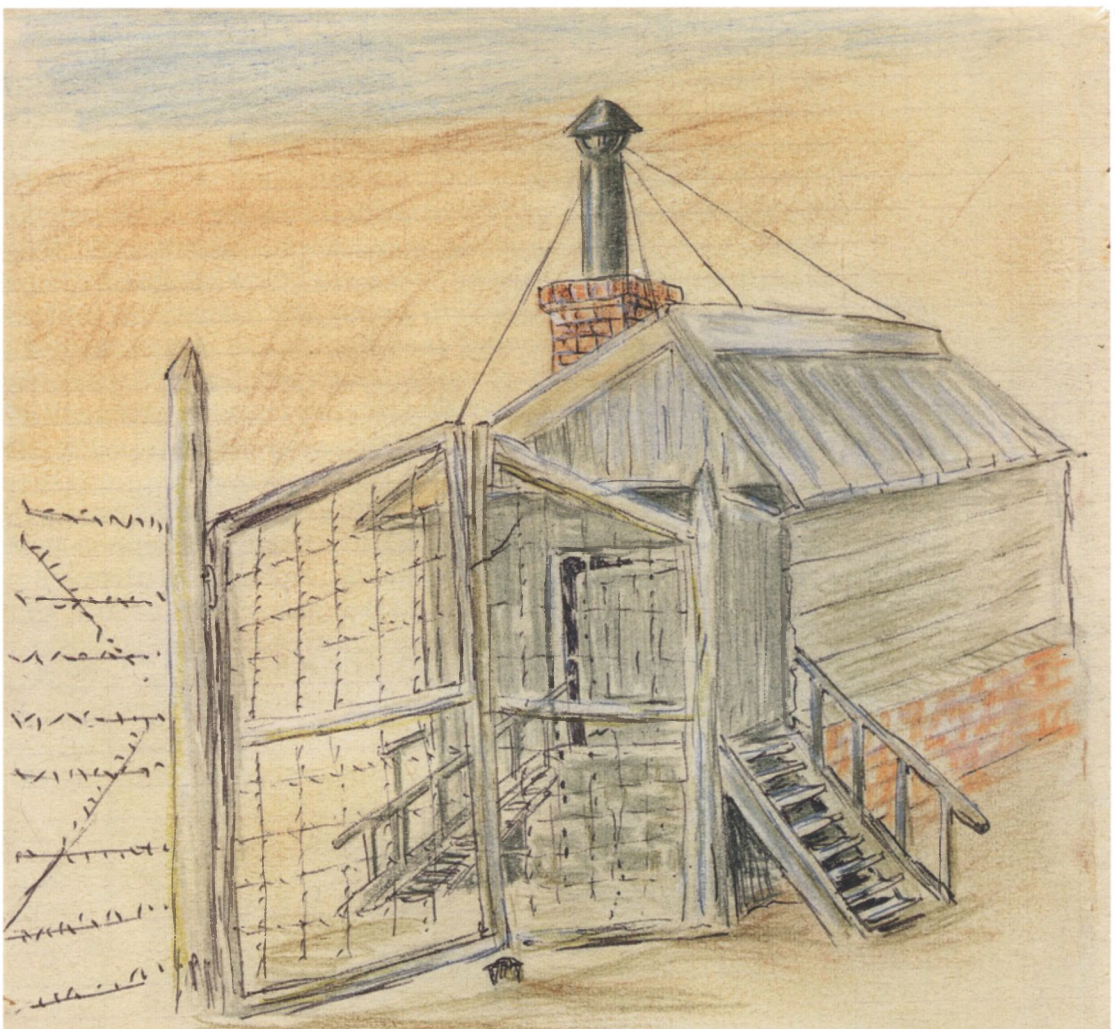
Так как одно время Евфросиния была медхудожником, она имела акварельные краски, цветные карандаши, тушь и бумагу. Рисование спасало от окружающей ее лагерной среды, хотя от работы художника в клубе она отказалась. Евфросиния записала в тетради историю своего побега из ссылки — историю иллюстрированную. Соседка по бараку, которой она дала почитать тетрадь, отдала ее оперативнику за две пачки махорки. На дворе был 1948 год, материала для открытия дела было все-таки недостаточно, и инциденту не дали ходу. Угроза третьего срока, которую Евфросиния предчувствовала, миновала.



АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 3 (ФРАГМЕНТ)

На вахте меня высадили и почти без формальностей сказали: «Ступай в восьмой барак!»

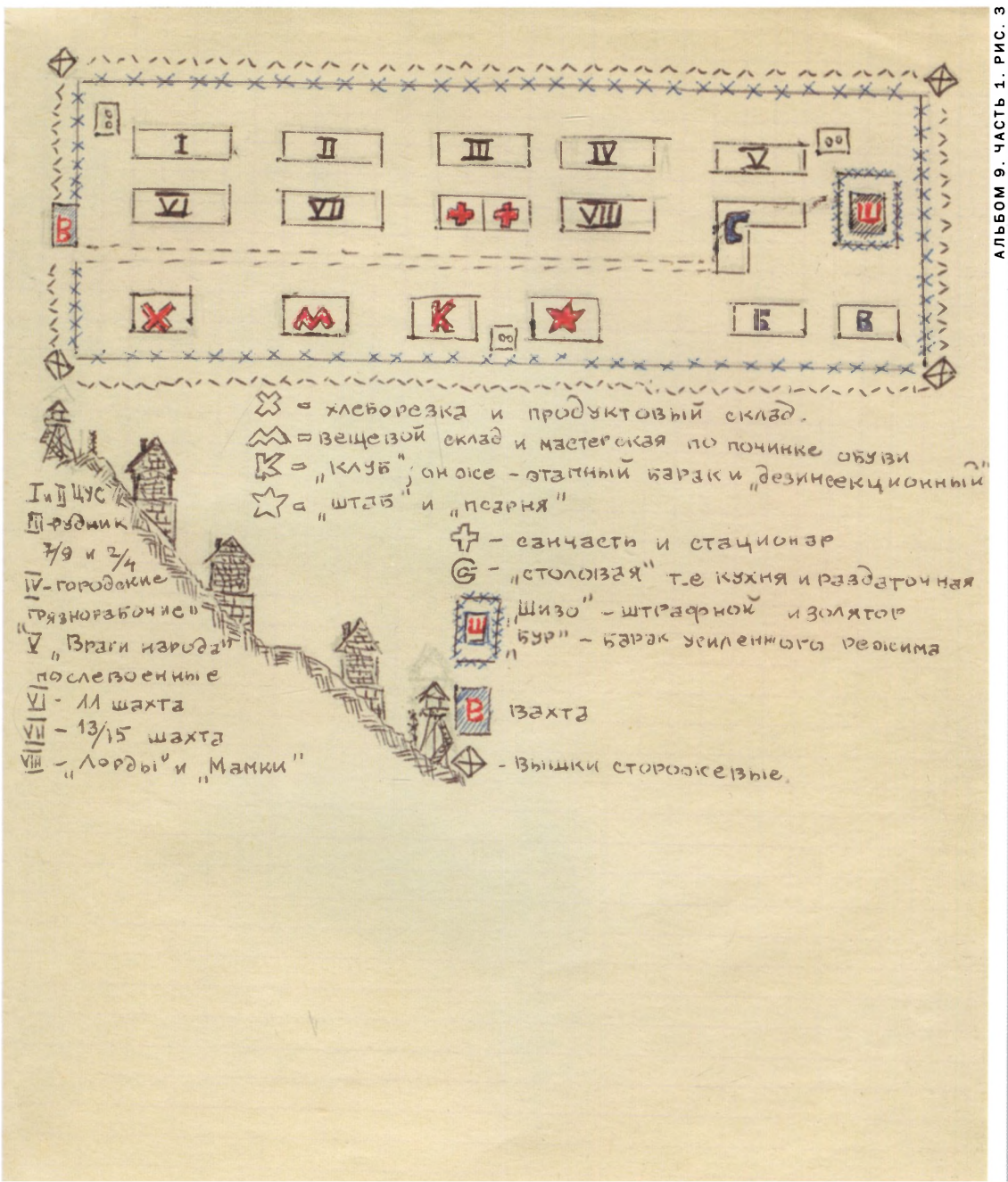
Я подхватила свой багаж и, превозмогая головокружение и тошноту, одним духом прошла вахту. В глазах потемнело от слабости.



Сил едва хватило дойти до столба и ухватиться за него, чтобы не упасть. Я захлебывалась и чувствовала, что теряю сознание. К счастью, меня никто не видел, и я, отдышавшись, могла продолжать путь. Мой путь к шахте!

I и II — ЦУС, III — рудник 7/9 и 2/4, IV — городские «грязнорабочие»,
V — «враги народа» послевоенные, VI — 11-я шахта, VII — 13/15 шахта ,
VIII — «лорды» и «мамки»*,
X — хлеборезка и продуктовый склад,
М — вещевой склад и мастерская по починке обуви,
К — клуб, он же этапный барак и дезинсекционный,
☆ — штаб и «псарня»,
+ — санчасть и стационар,
С — столовая, то есть кухня и раздаточная,
Ш — ШИЗО, штрафной изолятор,
Б — БУР, барак усиленного режима,
В — вахта,
⌖ — вышки сторожевые.

* «Лагпункт «Нагорный» прилеплен к южному склону горы Шмидта, или, как ее называют, Шмидтихи. Там жили 800 невольниц, их обслуга и надсмотрщики» *(из 9-й тетради Е. Керсновской).*



Первое, что я увидела, войдя в 8-й барак, была душераздирающая сцена: молодая мать — почти девочка — билась в руках солдата, умоляя: «Дайте покормить его — в последний раз! В последний раз!»

А дряхлая старушонка поспешно семенила прочь, унося маленького ребенка, завернутого в одеяльце. Присутствующие при этой сцене мамки ей завидовали:

— Счастье, что у тебя есть бабушка... А мы?

Этот ребенок еще с воли: мать только начала разматывать свою катушку* — 10 лет.

* Катушка – 1. Предел наказания лишением свободы по данной статье Уголовного кодекса.
2. Большая к. – с 1937 года и до начала 1940-х годов: 20-летний срок заключения, а затем и до 1959 года – 25-летний.
Примеч.: в 1937 году высший предел лишения свободы был поднят с 10 до 25 лет, но некоторое время приговоры не превышали 20 лет. На всю катушку – получить 20 лет (после 1937 г.), 25 лет (с начала 1940-х до 1959 г.).
3. Малая к. (после 1937 г.) – осуждение на 10 лет (*Жак Росси. Справочник по ГУЛАГу*).

— Вас? В шахту? Чтоб я вас взял в шахту? Вы — из больницы. А мы таких, как вы, в больницу отправляем... Посудите сами: мы акцептируем человека, рабочую единицу. А что мы получаем? Привидение! Ноль!

Я чувствую, мне худо: голова кружится, в ушах — звон, в глазах — туман. Еще немного, и я упаду. Чтобы этого не случилось, я поворачиваюсь и выхожу из кабинета начальника 11-й шахты Таранухина.

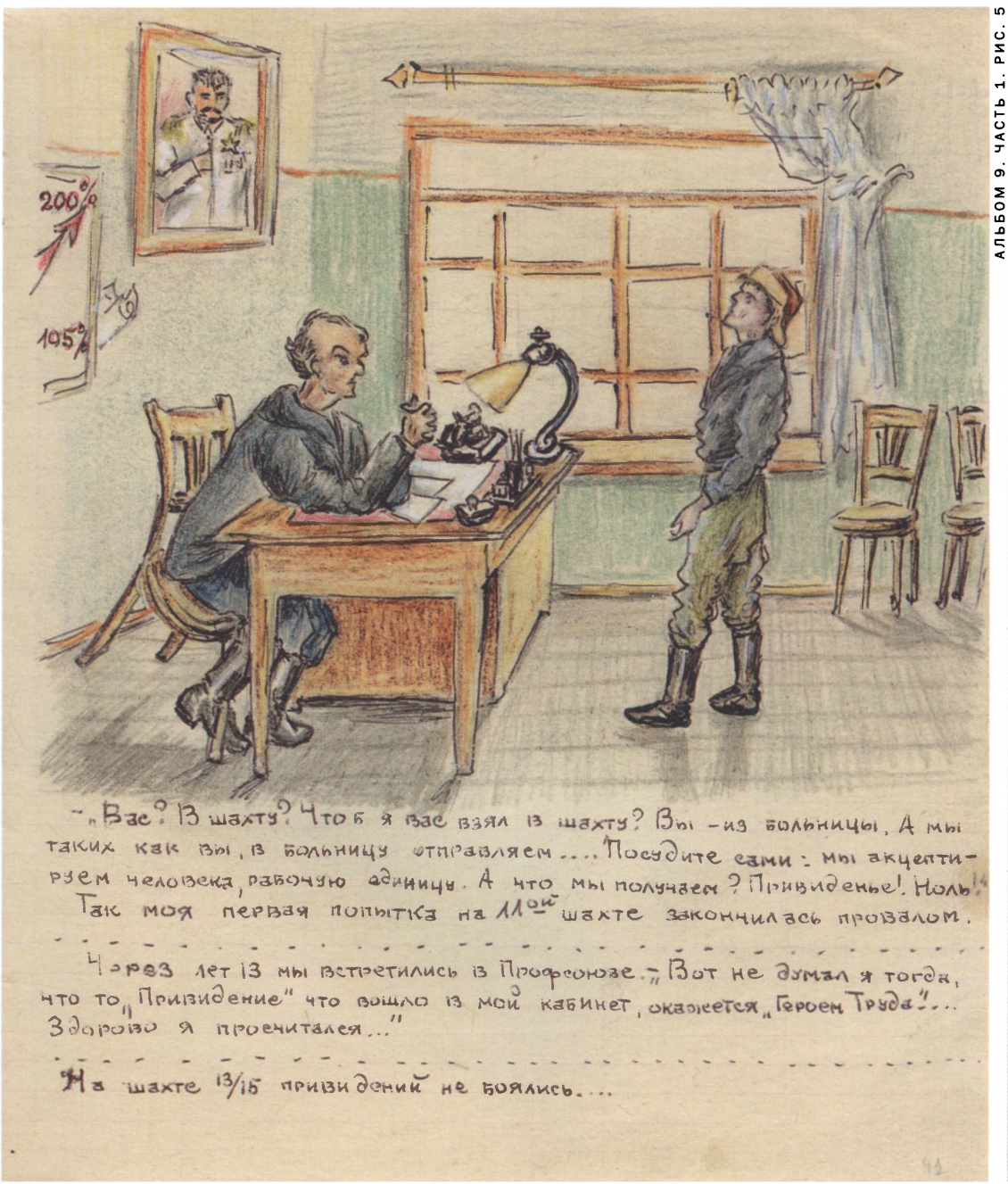
Так моя первая попытка на 11-й шахте закончилась провалом.

.....

...Через лет 13 мы встретились в Профсоюзе: «Вот не думал я тогда, что то Привидение, что вошло в мой кабинет, окажется Героем Труда... Здорово я просчитался!»

.....

...На шахте 13/15 привидений не боялись...



Нет! Никогда я не забуду этот первый десяток тонн угля! Я с ожесточеньем бросала полные лопаты угля. Лопата — большая. Сил после 11-дневной голодовки мало. Воздуха не хватало. Но я работала, не разгибая спины. Уже почти все. Еще совсем немного.

.....

— Э! Девка! Так не пойдет... Когда газ, уходить надо! Иначе — смерть!

Я поняла, что меня куда-то несут. Я рванулась. Меня опустили. Я с трудом встаю, ошалело озираюсь:

— Я... Там немного осталось... Я сейчас кончу...

— ...или шахта тебя кончит, — говорит, улыбаясь, какой-то парень.

Так познакомилась я с шахтой, с угарным газом и с двумя хорошими товарищами, с которыми я проработала почти 6 лет, Володькой Йорданом, бурильщиком, и с участковым слесарем Штаммом.

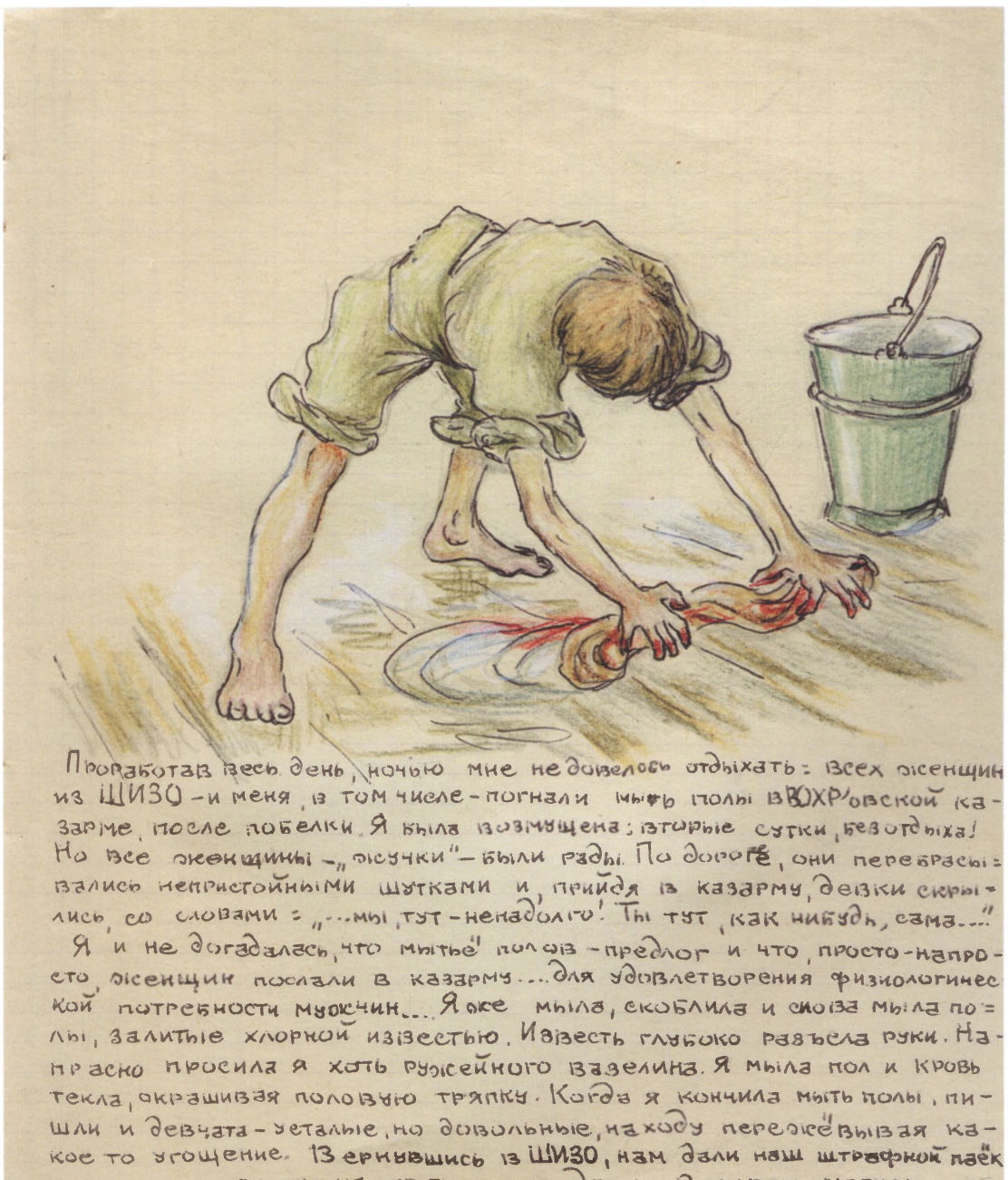
Вернувшись с работы, я убедилась, что мне опять-таки не дали хлеба... Почему? Я не знала, что из ЦБЛ не прислали моего аттестата, по которому выписывают питание: они были уверены, что меня, как больную, вернут в ЦБЛ. Но они не учли моего упрямства: я работала, питаясь остатками баланды, которую не съедали мамки...

И вот я пошла, чтобы выяснить у нарядчика, где же мой хлеб. Я не знала, что в это же время идет поверка, и нарвалась на начальника режима. Он меня обложил отборной бранью. Я его попросила не браниться. Он меня... отправил в ШИЗО, где меня сразу заставили работать: очистить с территории ШИЗО накопившиеся за зиму нечистоты.

Итак, вместо хлеба и отдыха мне достались кайло, лопата и гора замерзших нечистот...

Проработав весь день, ночью мне не довелось отдыхать: всех женщин из ШИЗО, и меня в том числе, погнали мыть полы в вохровской казарме после побелки. Я была возмущена: вторые сутки без отдыха! Но все женщины, жучки, были рады. По дороге они перебрасывались непристойными шутками и, придя в казарму, девки скрылись со словами: «...мы тут ненадолго! Ты тут как-нибудь сама...»

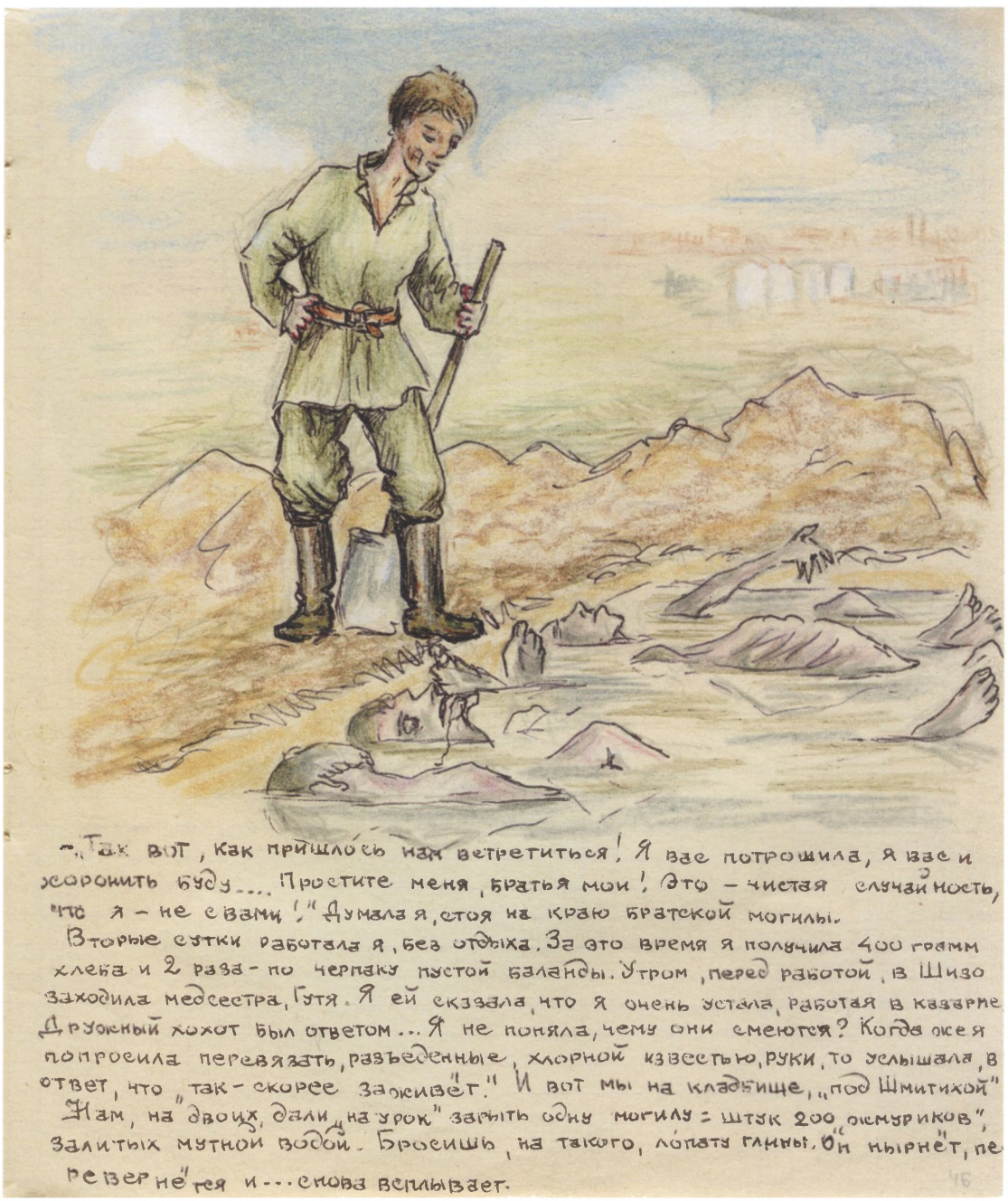
Я и не догадалась, что мытье полов — предлог и что просто-напросто женщин послали в казарму для удовлетворения физиологической потребности мужчин. Я же мыла, скоблила и снова мыла полы, залитые хлорной известью. Известь глубоко разъела руки. Напрасно просила я хоть ружейного вазелина. Я мыла пол, и кровь текла, окрашивая половую тряпку. Когда я кончила мыть полы, пришли и девчата — усталые, но довольные, на ходу пережевывая какое-то угощение. Вернувшись в ШИЗО, нам дали наш штрафной паек и снова отправили на работу... на кладбище. Зарывать могилы.



«Так вот как пришлось нам встретиться! Я вас потрошила, я вас и хоронить буду... Простите меня, братья мои! Это чистая случайность, что я не с вами!» — думала я, стоя на краю братской могилы.

Вторые сутки работала я без отдыха. За это время я получила 400 грамм хлеба и [два] раза по черпаку пустой баланды. Утром, перед работой, в ШИЗО заходила медсестра Гутя. Я ей сказала, что я очень устала, работая в казарме. Дружный хохот был ответом... Я не поняла, чему они так смеются? Когда же я попросила перевязать разъеденные хлорной известью руки, то услышала в ответ, что «так скорее заживет».

И вот мы на кладбище, под Шмидтихой. Нам на двоих дали «на урок» зарыть одну могилу: штук 200 жмуриков, залитых мутной водой. Бросишь на такого лопату глины, он нырнет, перевернется и... снова всплывает.



Нам дали «на урок» закопать одну братскую могилу. Моя напарница — кобел* по прозванию Ваня — была неплохая девка, принялась за дело старательно. Мы с Ваней управились задолго до конца рабочего дня. Можно разогнуть спину и отдохнуть. Ваня уселась на могильный холм; я счищала грязь с сапог.

— Эй! Что там расселась? Давай, работай! — услышала я окрик конвоира.

— Вы нам на урок дали. Мы свой урок выполнили.

— Аатставить рразговоры! Кому сказал? Рработай.

За этим — глухой звук удара и плачущий голос: «Мы свой урок окончили!» — и снова удары.

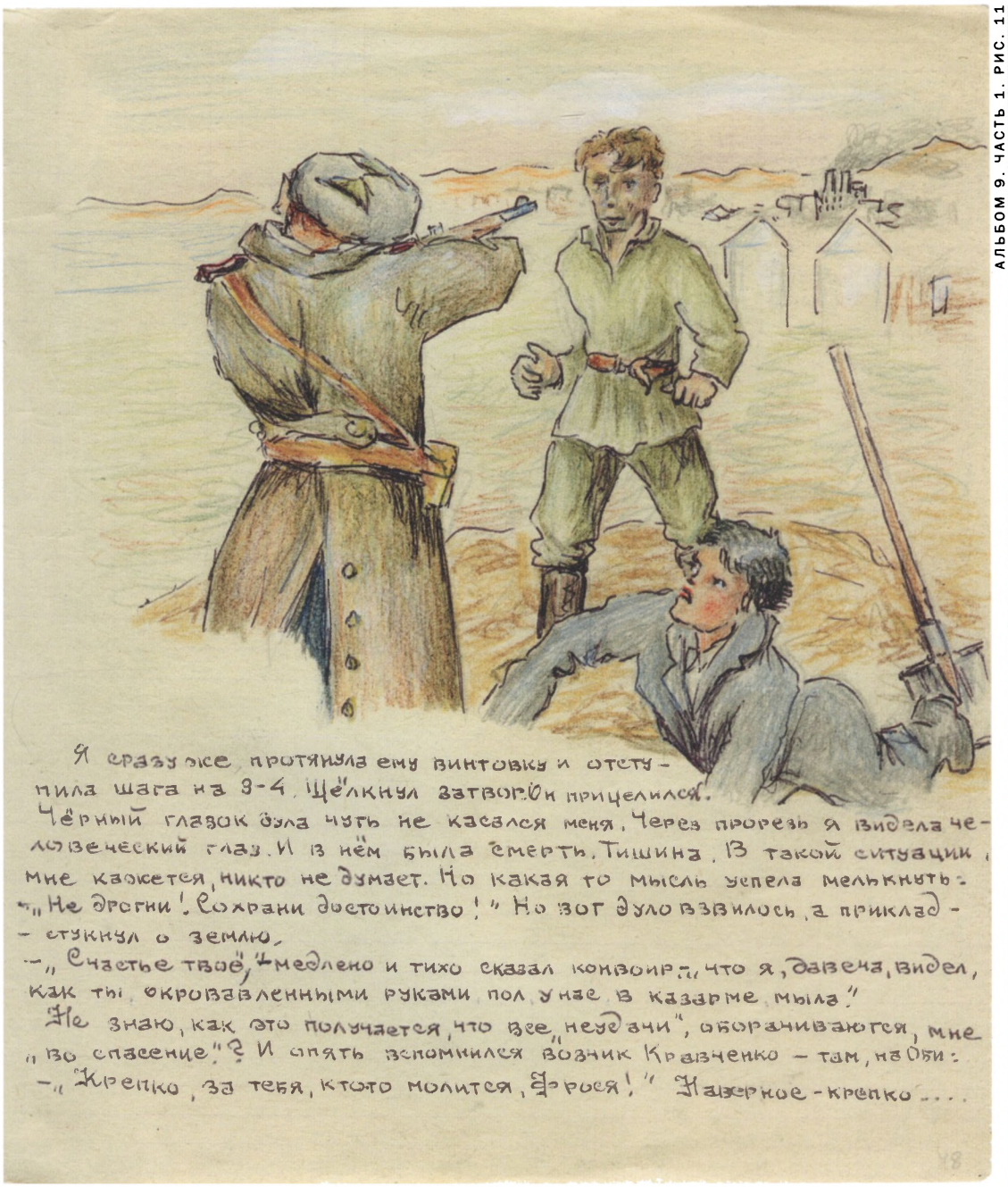
Ваня заплакала, закрыв голову руками. Конвоир озверел: удары посыпались с каждым разом сильней. При виде этого избиения девчонки я потеряла над собой контроль. Я подскочила, схватила обеими руками винтовку, рванула, и она очутилась в моих руках...

* Кобел – активная лесбиянка.

Я сразу же протянула ему винтовку и отступила шага на 3–4. Щелкнул затвор. Он прицелился. Черный глазок дула чуть не касался меня. Через прорезь я видела человеческий глаз. И в нем была смерть. Тишина. В такой ситуации, мне кажется, никто не думает. Но какая-то мысль успела мелькнуть: «Не дрогни! Сохрани достоинство!» Но вот дуло взвилось, а приклад стукнул о землю.

— Счастье твое, — медленно и тихо сказал конвоир, — что я давеча видел, как ты окровавленными руками пол у нас в казарме мыла.

Не знаю, как это получается, что все неудачи оборачиваются мне во спасение. И опять вспомнился возчик Кравченко — там, на Оби: «Крепко за тебя кто-то молится, Фрося!» Наверное, крепко...



Грязное слово еще висело на его губах, когда я реагировала с молниеносной быстротой — кулаком в нос и губы. Горьков взвыл и ринулся на меня. Одним прыжком я очутилась у скрейпера, схватила с редуктора маленький ломик и замахнулась им. Горьков попятился.
— Павел Васильевич! Вы не только подлец, но и трус. Подлецов — бьют; трусов — презирают! — заявила я на манер Атоса, далеко отбрасывая лом. Затем повернулась и... ушла на-гора.

.....

— Несчастный случай? — окликнул меня кто-то на откаточной штольне.
— Нет! Я дала пощечину горному мастеру Горькову, оскорбившему меня.
— Ой! Как же так?

Я объяснила: нас, женщин, привели, когда мужчины уже были в шахте. Мы поднялись, девчата разошлись по своим лебедкам, а я пошла в забой

Грязное слово ещё висело на его губах, когда я реагировала, с молниеносной быстротой — кулаком в нос и губы. Горьков взвыл и ринулся на меня. Одним прыжком я очутилась у скрейпера, схватила с редуктора маленький ломик и замахнулась им. Горьков попятился.
— „Павел Васильевич! Вы — не только подлец, но и трус. Подлецов — бьют; трусов — презирают!" Заявила я, на манер Атоса, далеко отбрасывая лом. Затем повернулась и.... ушла на-гора.

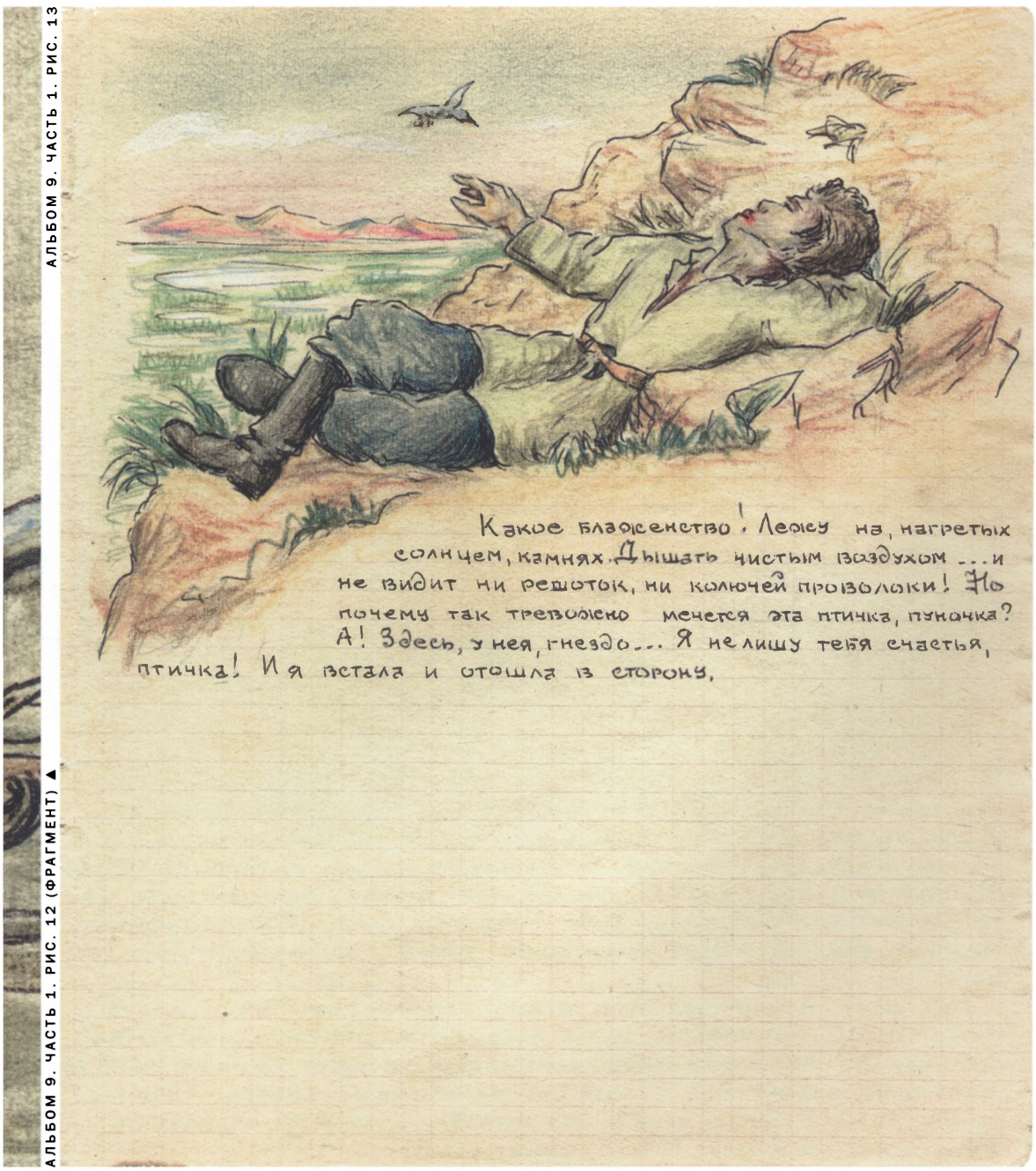
— „Несчастный случай?" Окликнул меня кто-то, на откаточной штольне.
— „Нет! Я дала пощёчину горному мастеру Горькову, оскорбившему меня!"
— „Ой! Как же так?" Я объяснила: нас, женщин, привели, когда мужчины уже были в шахте. Мы поднялись, девчата разошлись по своим лебёдкам, а я пошла в забой и откидала из него весь уголь. Выполнив свою норму, я пошла отыскать мастера, что бы он мне дал, дополнительную работу. „А я на тебя „невыход" подал и тебя в Шизо посадят"
„Я сделала, что вы зайдёте в забой. Это мастер обязан сделать, А я работала. Вы так и сообщите диспетчеру...!" — „Буду я слушать оправдания каждой бляди!" сказал он. Ну, я и дала ему по морде..." Тот задумался:
— „Я — заместитель Главного. Ступай в баню, помойся и в 8ч, когда прийдёт начальник шахты, майор Коваленко, я ему доложу. Он вас обоих выслушает. Иди, пока что, отдохни!

и откидала из него весь уголь. Выполнив свою норму, я пошла отыскать мастера, чтобы он мне дал дополнительную работу. «А я на тебя невыход подал, и тебя в ШИЗО посадят». — «Я ждала, что вы зайдете в забой. Это мастер обязан сделать. А я работала. Вы так и сообщите диспетчеру...» — «Буду я слушать оправдания каждой бляди!» — сказал он. Ну я и дала ему по морде.

Тот задумался:

— Я заместитель главного. Ступай в баню, помойся и в восемь часов, когда придет начальник шахты майор Коваленко, я ему доложу. Он вас обоих выслушает. Иди пока что отдохни!

Какое блаженство! Лежу на нагретых солнцем камнях. Дышать чистым воздухом и не видеть ни решеток, ни колючей проволоки! Но почему так тревожно мечется эта птичка, пуночка? А! Здесь у нее гнездо... Я не лишу тебя счастья, птичка! И я встала и отошла в сторону.



АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 12 (ФРАГМЕНТ) ◀

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 13

«...ты, Павел Васильич, не прав. Трижды не прав. Во-первых, как горный мастер: ты «звонил положение», не обойдя забои. Иначе ты бы видел, что в нем работает эта женщина. И ты не вызвал взрывника в этот забой — отчего потерял цикл. Ты виноват, как мужчина: ты оскорбил словом честную труженицу. И, наконец, ты виноват, как шахтер: шахтер должен быть, прежде всего, хорошим товарищем. Пусть ты или я вольнонаемные, но под землей судьба у нас одна: перед лицом смерти мы равны».

Должна признаться, что этими словами начальник шахты майор НКВД Коваленко купил меня: это понятие о подземном равенстве заставило меня полюбить то место, где я не чувствовала себя униженной хотя бы перед лицом смерти. 13 лет жила в моей душе вера в эту легенду, пока ее не разбил вдребезги полковник КГБ Кошкин.

Кровля чем-то напоминала... крокодилову кожу: растрескавшаяся, она бунила*, но, как ни старался Ионов, она не обиралась**! Но я уже считала себя старым шахтером, способным предвидеть опасность. Мастер ушел, еще раз предупредив, что на первом пласту целик*** жмет, как каблук. Это опасно. Особенно когда будет отпалка по соседству.

* Бунить – гудеть, издавать глухой звук.

** Обобрать кровлю – обить нависшие и отслоившиеся куски породы.

*** Целик – массив полезного ископаемого, оставляемого в руднике невынутым для предохранения от обрушения.

Кровля чем-то напоминала... крокодилову кожу: растрескавшаяся она „бунила"; но, как ни старался Ионов, она не „обиралась"! Но я уже считала себя „старым шахтёром", способным предвидеть опасность. Мастер ушёл, еще раз предупредив, что на I-ом пласту – „целик" жмёт, как „каблук". Это опасно. Особенно, когда будет отпалка, по соседству.

В соседнем забое — отпалка. Как было условлено, я вышла из опасного забоя, пошла на откаточный штрек и, чтоб не терять времени, стала зачищать штрек. Но нет! Я не в форме: что-то нездоровится... Я распрямила ноющую спину и посмотрела вдоль транспортера. Тут я увидела, что кто-то идет ко мне. Идет быстро, уверенно, не споткнувшись ни разу, хотя идет он без света. Кто это? Должно быть, это участковый механик Степан Никанорыч... Надо ему подсветить под ноги.

Но... что это?! Я не могу повернуть в его сторону аккумулятор, который прикреплен к шапке. Шея окаменела... Хочу поднять руку и не могу!!!

В соседнем забое - отпалка. Как было условлено, я вышла из опасного забоя и пошла на откаточный штрек и, что б не терять времени, стала зачищать штрек. Но - нет! Я - „не в форме": что-то нездоровится.... Я распрямила ноющую спину и посмотрела вдоль транспортёра. Тут я увидела, что кто-то идёт ко мне. идёт быстро, уверено, не споткнувшись ни разу, хотя идёт он... без света. Кто это? Должно быть, это участковый механик, Степан Никанорыч... Надо ему посветить под ноги.

Но... что это?! Я не могу повернуть, в его сторону аккумулятор, который прикреплён к шапке. Шея - окаменела... хочу поднять руку... и - не могу!!!

Ужас холодной рукой сжал мое сердце: я не могла видеть человека, идущего без света по штреку. Но я вижу, вижу... фигура приближается... Вот она вступила в круг света моего аккумулятора. Что это? Ведь это женщина. Она пошла тише. И прямо ко мне. Боже мой! Это... Кира Павловна! Та Кира Павловна, нарядчица, которую зарезал несколько месяцев тому назад ее любовник-рецидивист Добровольский.

На ней сарафан и блузочка с оборочками, в мелких цветочках. Глаза ее закрыты, руки за спиной. Но она идет прямо ко мне. Вот она подошла вплотную. Светлые кудряшки вздрагивают. Она становится на цыпочки, сложив губы для поцелуя... Холодные, как лед, губы коснулись моей левой скулы. Мгновенье... и оцепенение исчезло. Я одна. Мерно вращаются ролики, бежит лента, покачиваются глыбы угля. Мне плохо. Но я пересиливаю себя и возвращаюсь в свой забой.

Ужас, холодной рукой сжал мое сердце: я не могла видеть человека, идущего, без света, по штреку. Но я вижу, вижу.... Фигура приближается... Вот она вступила в круг света моего аккумулятора. Что это? Ведь это... женщина. Она пошла тише. И – прямо ко мне. Боже мой! Это.... Кира Павловна! Та Кира Павловна, нарядчица, которую зарезал, несколько месяцев тому назад, ее любовник – рецедивист, Добровольский.

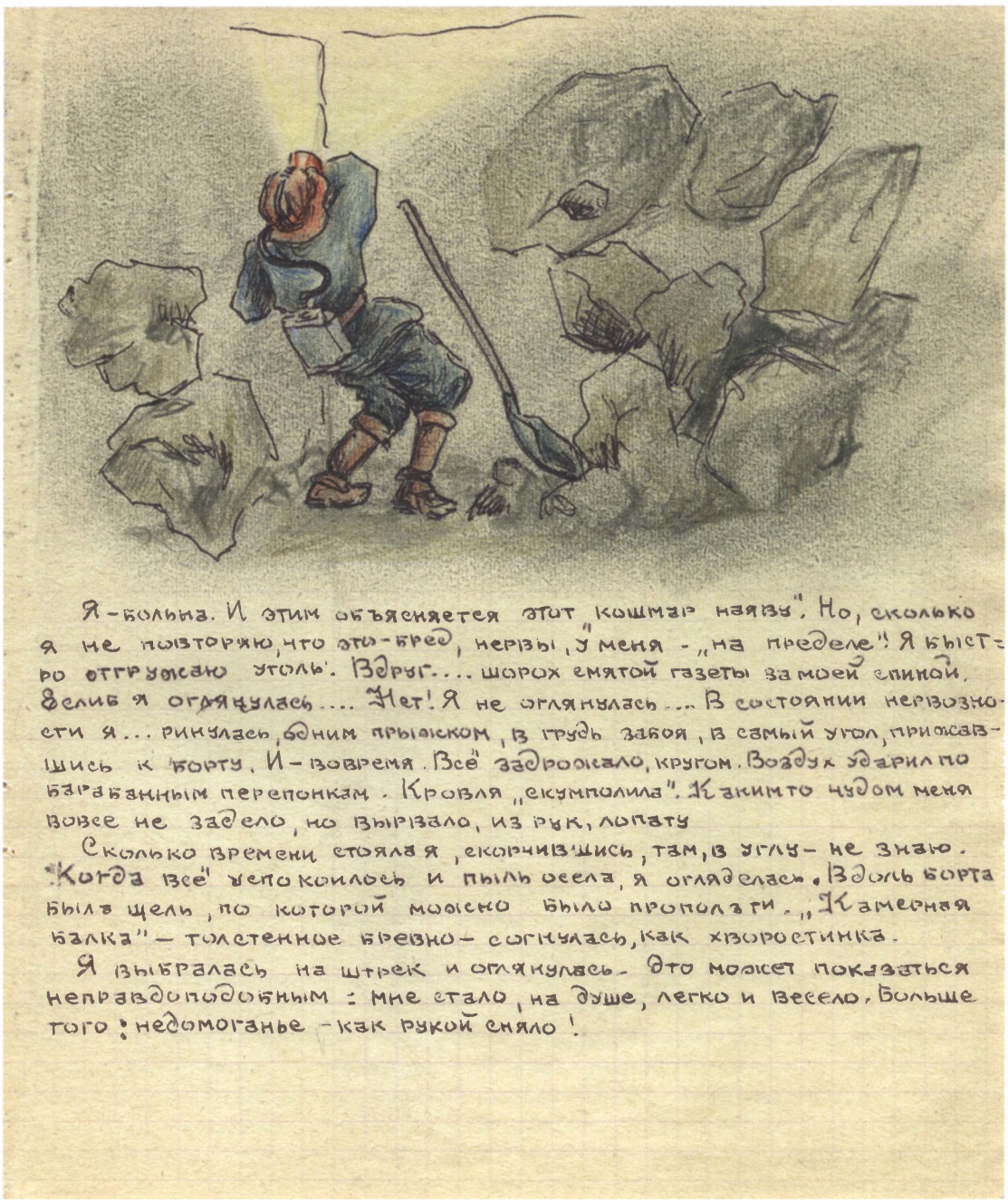
На ней сарафан и блузочка, с оборочками, в мелких цветочках. Глаза ея закрыты, руки – за спиной. Но она идёт прямо ко мне. Вот она подошла, вплотную. Светлые кудряшки вздрагивают. Она становится на цыпочки, сложив губы для поцелуя... Холодные, как лёд губы коснулись моей левой скулы. Мгновенье... и оцепенение исчезло. Я – одна. Мерно вращаются ролики, бежит лента, покачиваются глыбы угля. Мне плохо. Но я, пересиливаю себя и возвращаюсь в свой забой.

Я больна. И этим объясняется этот кошмар наяву. Но, сколько я ни повторяю, что это бред, нервы у меня на пределе. Я быстро отгружаю уголь. Вдруг... шорох смятой газеты за моей спиной. Если б я оглянулась... Нет! Я не оглянулась. В состоянии нервозности я ринулась одним прыжком в грудь забоя, в самый угол, прижавшись к борту. И вовремя. Все задрожало кругом. Воздух ударил по барабанным перепонкам. Кровля скумполила*. Каким-то чудом меня вовсе не задело, но вырвало из рук лопату.

Сколько времени стояла я, скорчившись там в углу, не знаю. Когда все успокоилось и пыль осела, я огляделась. Вдоль борта была щель, по которой можно было проползти. Камерная балка — толстенное бревно — согнулась как хворостинка.

Я выбралась на штрек и оглянулась. Это может показаться неправдоподобным: мне стало на душе легко и весело. Больше того: недомоганье как рукой сняло!

* Кровля скумполила — искаженное слово «купол», образование в кровле выработки путем обвала сводо- или куполообразной пустоты.



— Мастер, у меня в забое... неблагополучно!

Ионов не стал тратить время на расспросы и, широко шагая, пошел. Дойдя до забоя, он остановился как вкопанный. Затем типично русским жестом почесал затылок. Затем, ни слова не сказав, повернулся и ушел. Да и о чем было говорить? В чудеса нынче никто не верит. Повезло — и все! Однако... Если бы не поцелуй покойной Киры Павловны...

И еще: мне крепко нездоровилось в начале смены, а вот теперь, после того, как Смерть — в который уже раз? — коснулась меня своим крылом, недомогания как не бывало! Как назвать такого рода терапию?!

"Мастер, у меня в забое... неблагополучно!"

Ионов не стал тратить время на расспросы и, широко шагая пошел. Дойдя до забоя, он остановился, как вкопанный. Затем — типично-русским жестом, почесал затылок. Затем, ни слова не сказав, повернулся и ушел. Да и о чём было говорить? В чудеса, нынче никто не верит. "Повезло" — и всё! Однако.... Если бы не поцелуй покойной Киры Павловны?...

И ещё: мне крепко нездоровилось в начале смены, а вот теперь, после того, как Смерть — в который уже раз? — коснулась меня своим крылом, недомогания — как не бывало! Как назвать такого рода — "терапию"?!

«...Вы, пани Эфразия, вы такая образованная... Вы, может быть, знаете, какой самый большой действующий вулкан на свете?» — этот вопрос мне задала худенькая девочка. Так завязалось знакомство «на вулканической почве» с Анкой Гурской, храбрым Воробушком*.

* Анка Гурская (Anka Górska) – польская заключенная каторжного лагеря в Норильске в 1951 году.

Конвоиры — обычно это были уголовники, досрочно освобожденные и еще не освобожденные — всегда были рады поиздеваться над бандеровками. А предлог? Это найти легче легкого. Например, женщины разговаривают, а поэтому, выбрав самую глубокую грязь, и ...«ложись». И все — плюх в грязь! Женщины пытаются: кто на колени, кто на четверинки, кто на корточки... Так нет же...

— Ложись!

А грязь — угольная крошка, вода... Это издевательство меня взорвало, и я осталась стоять.

— Ложись! — Взревел конвоир. — Стрелять буду! — И он рванул винтовку...

Что-то, измазанное грязью, ринулось, заслоняя меня собой. Это была, худенькая, слабенькая **девушка** — в чем душа держится.

Конвоиры – обычно это были уголовники, досрочно освобождённые и еще неосвобождённые – всегда рады были поиздеваться над „бандеровками". А предлог? Это найти легче лёгкого. Например женщины разговаривают, а поэтому, выбрав самую глубокую грязь и ..... „ложись"!, И все – плюх в грязь! Женщины пытаются кто – на колени, кто – на четверинки, кто – на корточки... Так нет же – „Ложись!" А грязь – угольная крошка, вода.... Это издевательство меня взорвало, и я осталась стоять. „Ложись!" Взревел конвоир „стрелять буду!" и он рванул винтовку... Что-то, измазанное грязью, ринулось, заслоняя меня, собой. Это была худенькая, слабенькая – в чём душа держится. – „Не смеешь её убивать, не смеешь!"

Всем было ясно, что я не лягу... Вернее лягу, когда пуля уложит. Одна за другой стали вставать из грязи женщины. И видно было, что вторично они не лягут. Конвоир это понял...

— Не смеешь ее убивать, не смеешь!

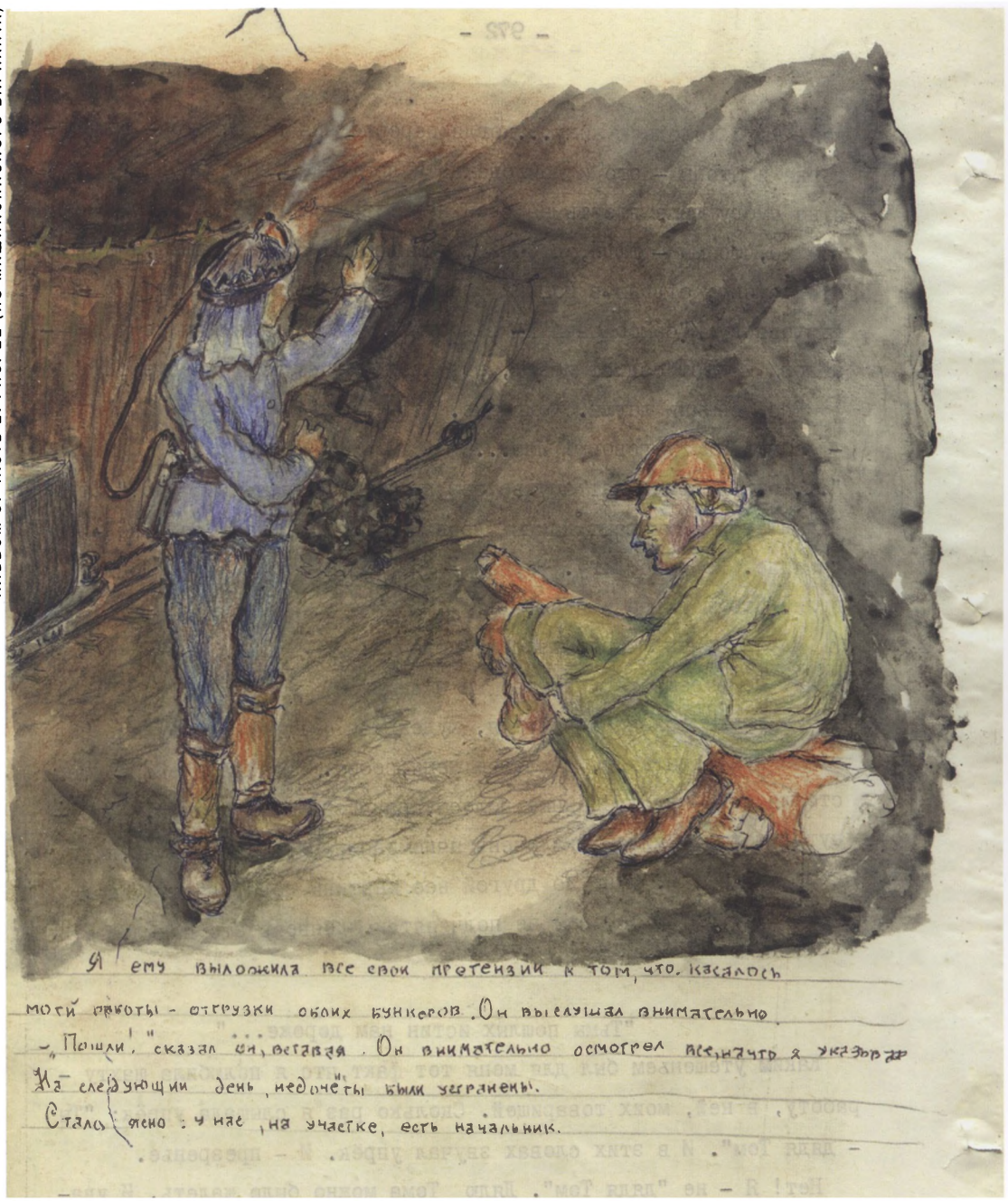
Всем было ясно, что я не лягу... Вернее, лягу, когда пуля уложит. Одна за другой стали вставать из грязи женщины. И видно было, что вторично они не лягут. Конвоир это понял...

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 21 (ФРАГМЕНТ)

Я ему выложила все свои претензии к тому, что касалось моей работы — отгрузки обоих бункеров. Он* выслушал внимательно.
— Пошли! — сказал он, вставая. Он внимательно осмотрел все, на что я указывала. На следующий день недочеты были устранены.

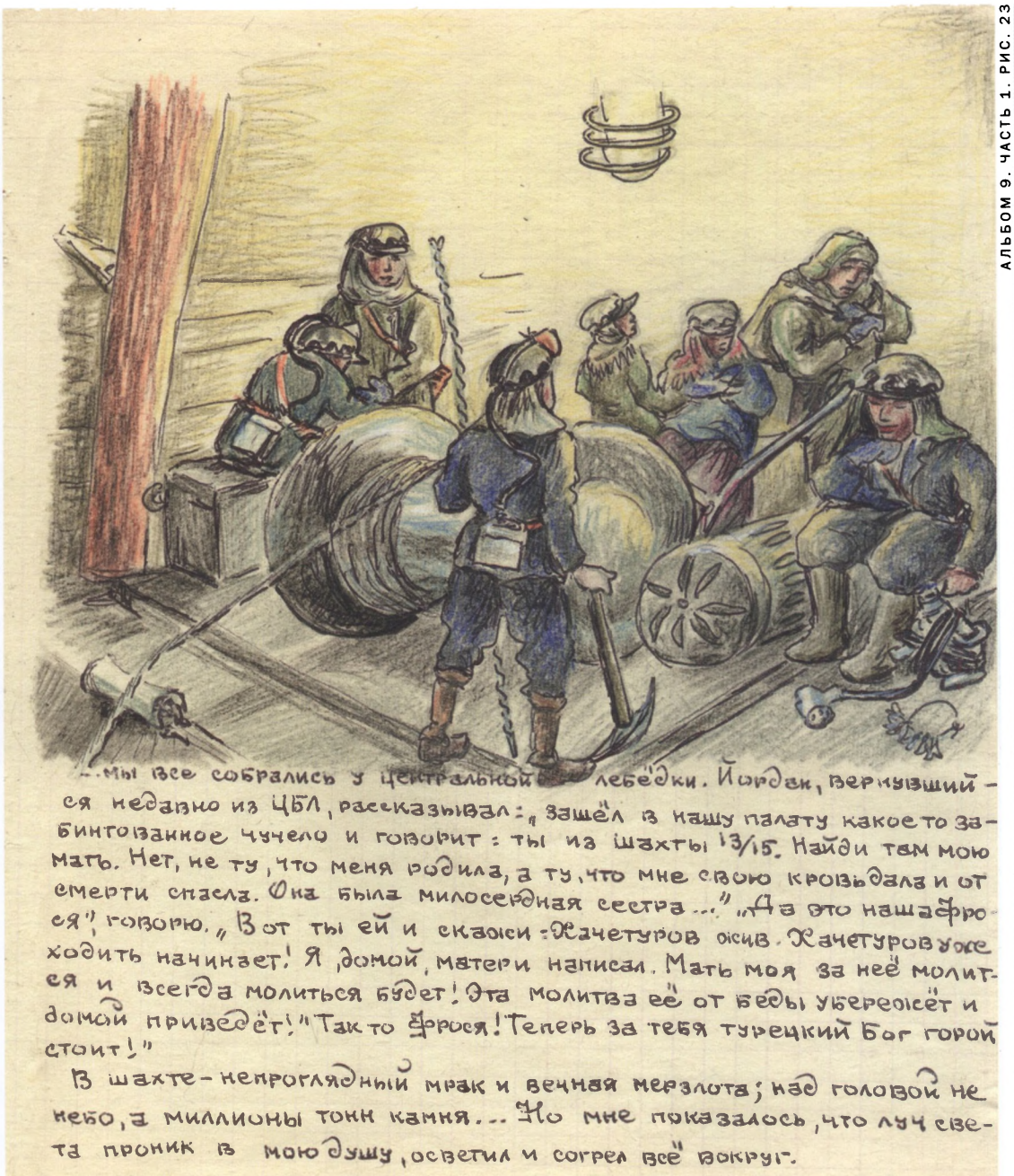
Стало ясно: у нас на участке есть начальник.

* И. Байдин.



...Мы все собрались у центральной лебедки. Йордан, вернувшийся недавно из ЦБЛ, рассказывал:
— Зашло в нашу палату какое-то забинтованное чучело и говорит: «Ты из шахты 13/15, найди там мою мать. Нет, не ту, что меня родила, а ту, что мне свою кровь дала и от смерти спасла. Она была милосердная сестра...» — «Да это наша Фрося», — говорю. «Вот ты ей и скажи: Хачетуров жив. Хачетуров уже ходить начинает! Я домой матери написал. Мать моя за нее молится и всегда молиться будет! Эта молитва ее от беды убережет и домой приведет!» Так-то, Фрося! Теперь за тебя турецкий Бог горой стоит!

В шахте — непроглядный мрак и вечная мерзлота; над головой не небо, а миллионы тонн камня... Но мне показалось, что луч света проник в мою душу, осветил и согрел все вокруг.



Я успела в последнее мгновение переложить рукой стрелку, и партия порожняка, летевшая «орлом» вниз по бремсбергу*. Люди, бывшие на путях, были спасены, но я сама чуть было не поплатилась жизнью. Что-то меня догнало, и я, получив удар, полетела на решетки, потеряв сознание.

Очнулась я на руках Штамма, который радостно повторял:

— Жива, жива!

Йордан ухмылялся:

— Молодец, Фрося!

Рядом стояли горный мастер Ионов, коногон Колька Пянзин и Оля Бабухивская, лебедчица. А Машка Сагандыкова отчаянно сквернословила, обрушивала на бедного коногона весь арсенал бранных слов: русских, казахских и лагерных.

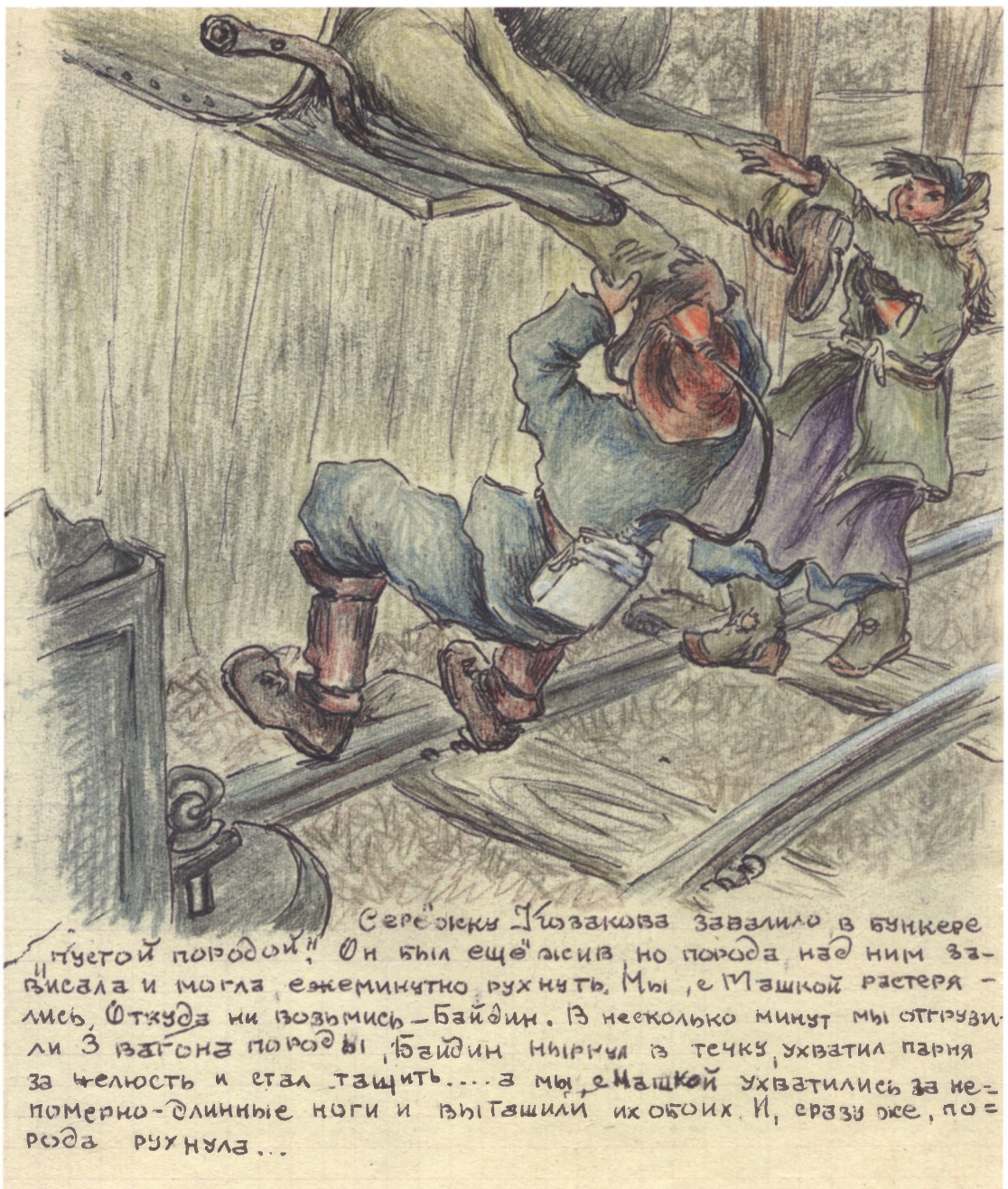
* Сошла с рельс.

Я успела, в последнее мгновение, переложить, рукой, стрелку и партия порожняка, летевшая „орлом" вниз по бремсбергу. Люди, бывшие на путях, были спасены, но я сама чуть было не поплатилась жизнью. Что-то меня „догнало" и я, получив удар полетела на решетки, потеряв сознание

Очнулась я на руках Штамма, который радостно повторял: „жива, жива!" Йордан ухмылялся: „Молодец, Фрося!". Рядом стояли горный мастер Ионов, Коногон Колька Пянзин и Оля Бабухивская, лебедчица. А Машка Сагандыкова отчаяно сквернословила обрушивала на бедного коногона весь арсенал бранных слов – русских, казахских и... лагерных.

Сережку Казакова завалило в бункере пустой породой. Он был еще жив, но порода над ним зависала и могла ежеминутно рухнуть. Мы с Машкой растерялись. Откуда ни возьмись — Байдин. В несколько минут мы отгрузили [три] вагона породы, Байдин нырнул в течку*, ухватил парня за челюсть и стал тащить, а мы с Машкой ухватились за непомерно длинные ноги и вытащили их обоих. И сразу же порода рухнула...

* К нижней части бункера (емкости для хранения и перегрузки сыпучих материалов) крепится затвор или течка для дальнейшего транспортирования материала. Течки, как правило, имеют коробчатое сечение.



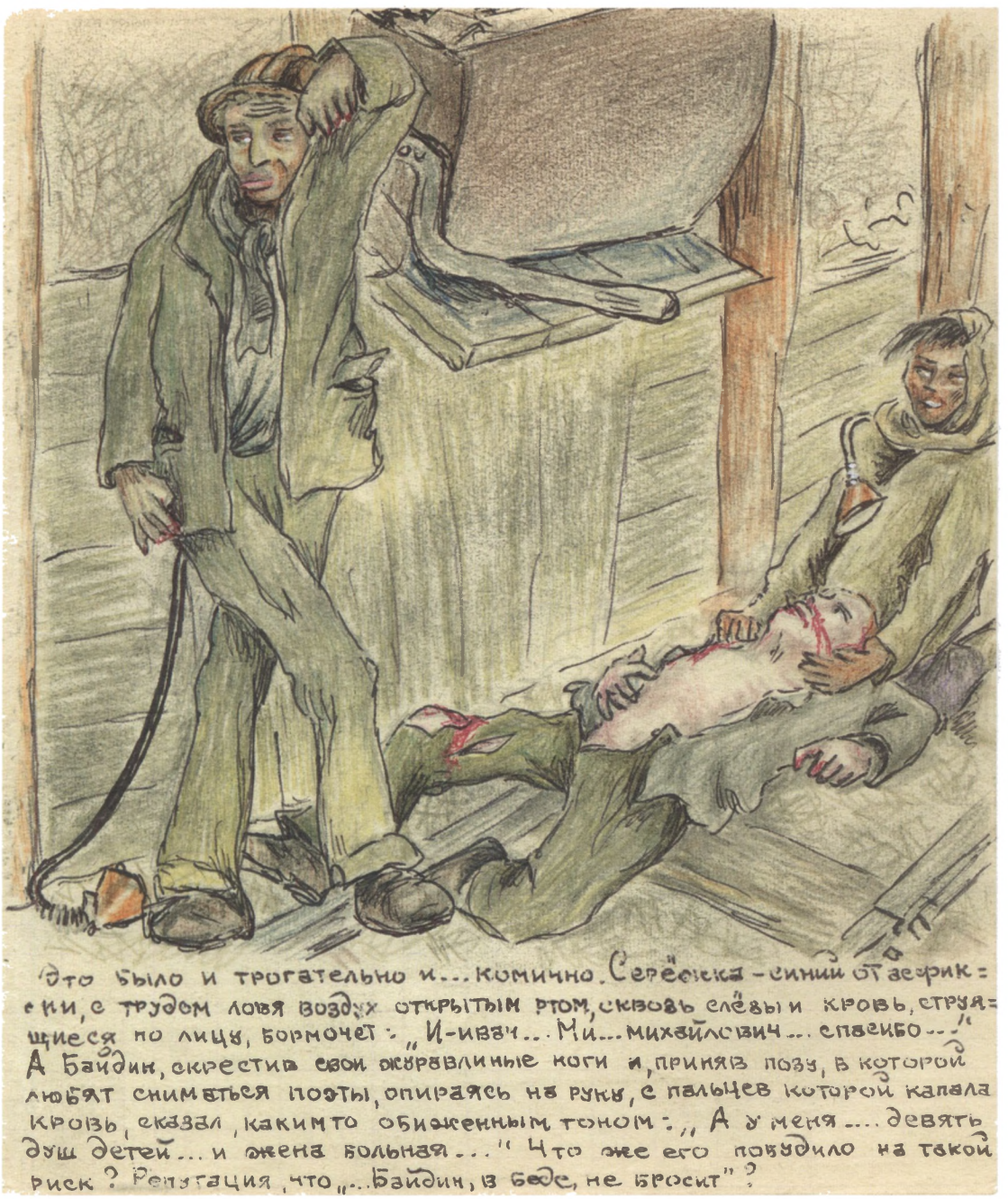
Это было и трогательно и комично. Сережка, синий от асфиксии, с трудом ловя воздух открытым ртом, сквозь слезы и кровь, струящиеся по лицу, бормочет:

— И-иван... Ми-Михайлович... спасибо...

А Байдин, скрестив свои журавлиные ноги и приняв позу, в которой любят сниматься поэты, опираясь на руку, с пальцев которой капала кровь, сказал каким-то обиженным тоном:

— А у меня... девять душ детей... и жена больная...

Что же его побудило на такой риск? Репутация, что Байдин в беде не бросит?



Конвоиру было досадно, что пришлось остановиться и ждать девчат одиннадцатой шахты, опоздавших на вахту, и, срывая свою злость, он ударил меня, стоявшую по обыкновению с краю, ногой в зад. Я обернулась и сказала: «Ну и дурак!» Разъяренный конвоир замахнулся, чтобы ударить меня прикладом. Может быть, я и не была чемпионом рукопашного боя, и просто меховые рукавицы Малявки задубели, но когда я увернулась от удара и подставила руку, то винтовка выскользнула из его рук и улетела в сугроб.

На вахте конвоир сказал, будто я вырвала у него из рук винтовку. Дежурный потребовал, чтобы я написала объяснение (пустая формальность, для того, чтобы посадить меня в ШИЗО). Я отказалась, сказав:
— Объясняться буду перед начальником.

Конвоиру было досадно, что пришлось остановиться и ждать девчат одиннадцатой шахты, опоздавших на вахту и, срывая свою злость, он ударил меня – стоявшую по обыкновению с краю – ногой в зад. Я обернулась и сказала: „Ну и дурак!" Разъяренный конвоир замахнулся, чтобы ударить меня прикладом. Может быть я и не была чемпионом рукопашного боя и, просто, меховые рукавицы „Малявки" задубели, но, когда я увернулась от удара и подставила руку, то винтовка выскользнула из его рук и улетела в сугроб. На вахте конвоир сказал, будто я вырвал у него из рук винтовку. Дежурный потребовал, что бы я написала „объяснение" (пустая формальность, для того, что бы посадить в ШИЗО.) Я отказалась, сказав: „Объясняться буду перед начальником. Дежурный начка повела меня в ШИЗО и, встретив начальника режима, лейтенанта Полетаева, сказала: – „Веду в ШИЗО. Отказалась писать объяснение. Такая гордая!" – „Гордость мы сейчас собьём!" и Полетаев дал мне пощёчину ... которую я ему моментально вернула. Эту сцену видели пятеро зэчек, в том числе моя напарница, Загандыкова.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 27

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 27 (ФРАГМЕНТ) ▼

Дежурнячка повела меня в ШИЗО и, встретив начальника режима лейтенанта Полетаева, сказала:
— Веду в ШИЗО. Отказалась писать объяснение. Такая гордая!
— Гордость мы собьем! — и Полетаев дал мне пощечину, которую я ему моментально вернула. Эту сцену видели пять женщин, в том числе моя напарница Сагандыкова.

Уж тут, в ШИЗО, Полетаев рассчитался со мной за пощечину! Он буквально взбесился, но дежурнячка, уголовница, досрочно освобожденная, не хотела быть соучастницей убийства и, открыв крючок ножом, вырвала из рук Полетаева табуретку, которой он меня колошматил. Затем меня, избитую и раздетую до рубахи, посадили в холодную, где окно не было застеклено.

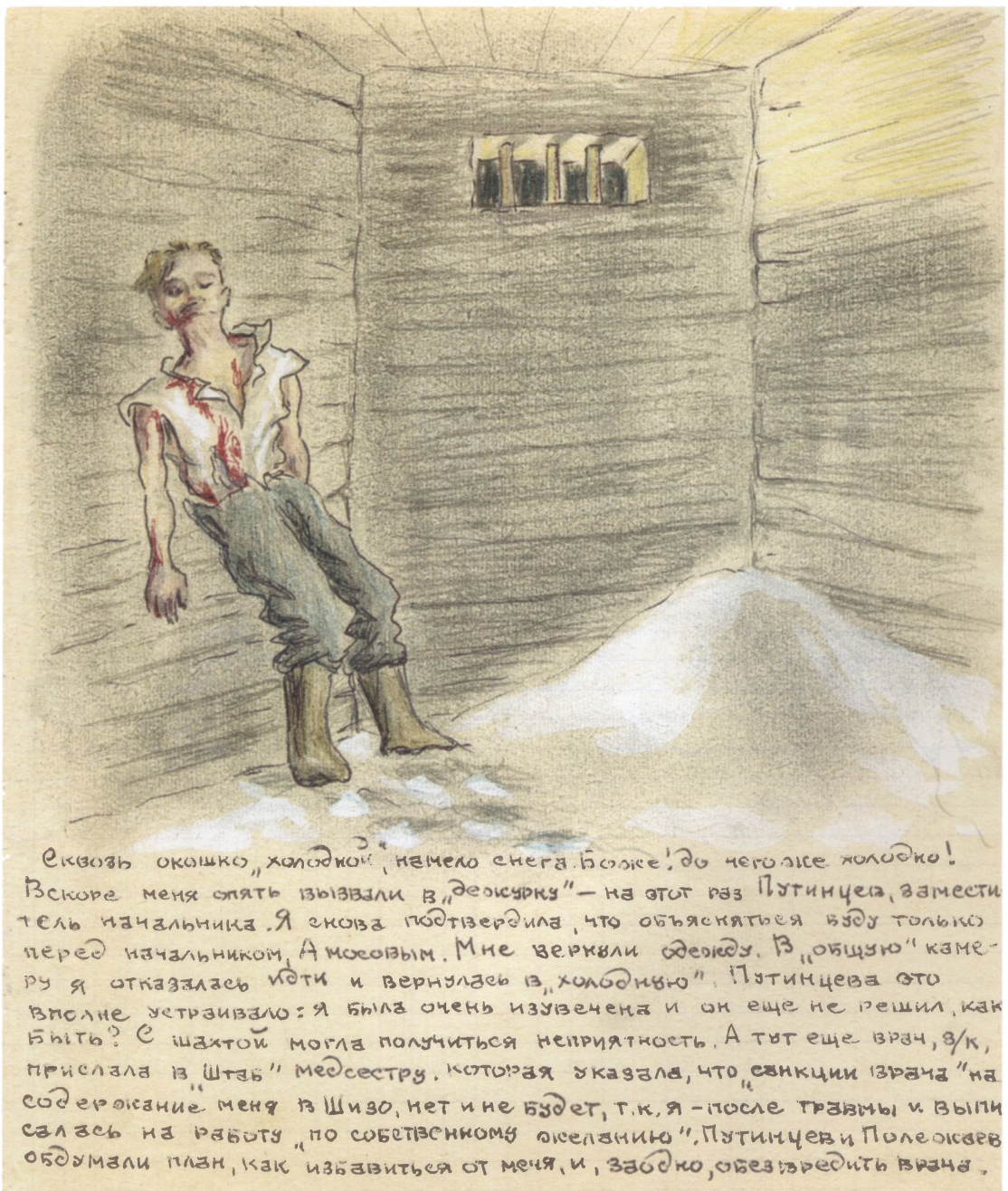
А в тот день, 8 февраля 1948 года, было минус 54 градуса.

Уж тут, в ШИЗО, Полетаев расчитался со мной за пощёчину! Он, буквально, взбесился, но „дежурнячка" – уголовница, досрочно освобожденная, не хотела быть соучастницей убийства, и, открыв крючок ножом, она вырвала из рук Полетаева табуретку, которой он меня колошматил. Затем меня, избитую и раздетую до рубахи, посадили в „холодную", где окно не застеклено.

А в тот день – 8-го Февраля 1948 г. – было –54°.

Сквозь окошко холодной намело снега. Боже! До чего же холодно!

Вскоре меня опять вызвали в дежурку — на этот раз Путинцев, заместитель начальника. Я снова подтвердила, что объясняться буду только перед начальником Амосовым. Мне вернули одежду. В общую камеру я отказалась идти и вернулась в холодную. Путинцева это вполне устраивало: я была очень изувечена, и он еще не решил, как быть. С шахтой могла получиться неприятность. А тут еще врач, [заключенная], прислала в штаб медсестру, которая указала, что санкции врача на содержании меня в ШИЗО нет и не будет, так как я — после травмы и выписалась на работу по собственному желанию. Путинцев и Полежаев обдумали план, как избавиться от меня и заодно обезвредить врача.



Утром меня хотели спровадить на гравийный карьер: там можно было под благовидным предлогом неповиновения меня пристрелить. А обезвредить врача Путинцев нашел способ: повариха задержалась за зоной, у любовника. Завтрак — горох — был сырой; врач не разрешила его к раздаче, и ее обвинили в саботаже.

Итак, утром: «Керсновская — к начальнику!» И, когда я вышла, удар в спину сбил меня с ног, и нарядчик Буханцева вдвоем с конвоиром меня волоком потащили на вахту.

Утром меня хотели спровадить на гравийный карьер: там можно было, под благовидным предлогом „неповиновения" меня пристрелить. А „обезвредить" врача, Путинцев нашёл способ: повариха задержалась за зоной, у любовника. Завтрак - горох - был сырой; врач не разрешила его к раздаче и её обвинили... в саботаже".

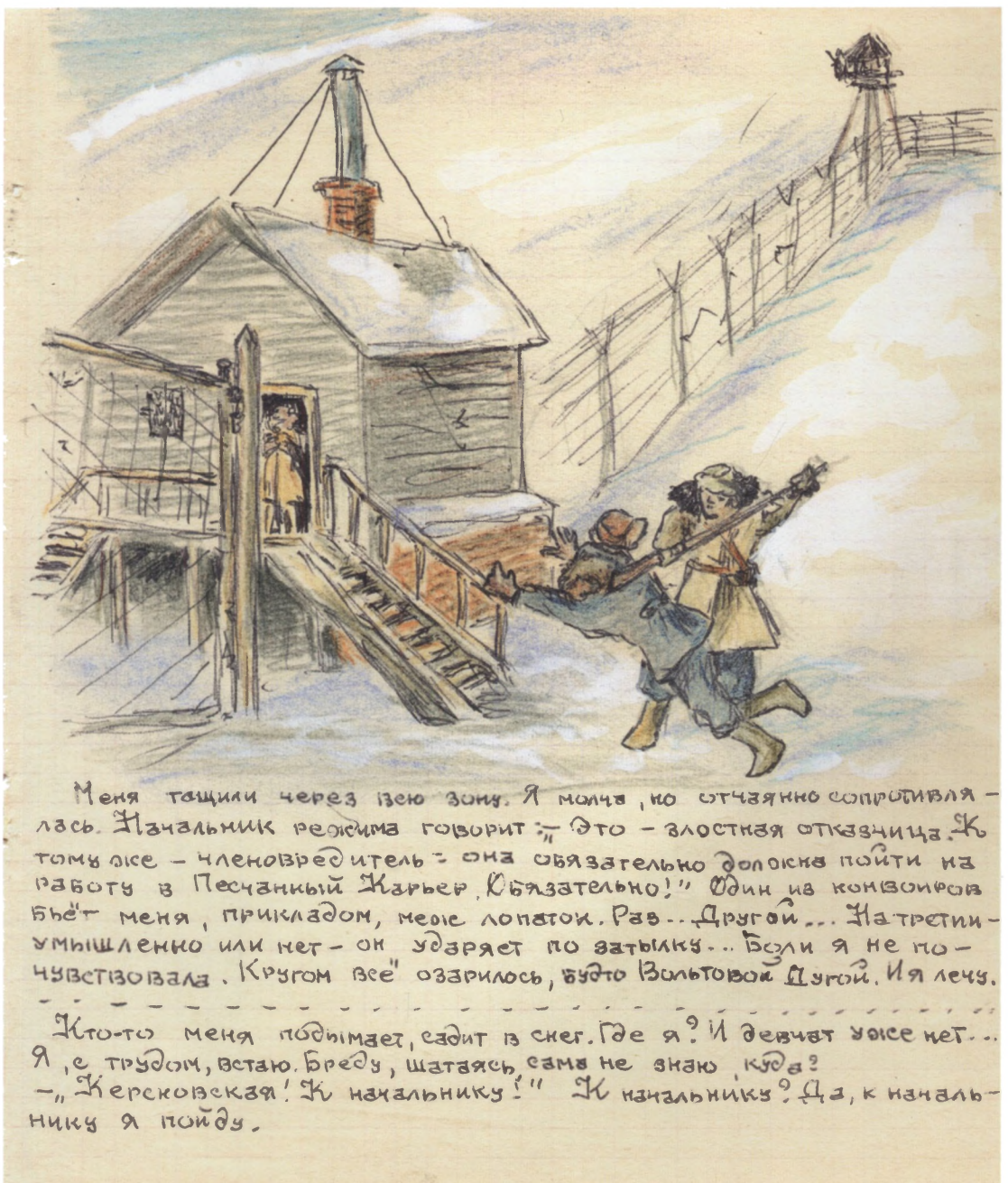
Итак, утром: — „Керсновская — к начальнику!" и, когда я вышла, удар в спину сбил меня с ног и нарядчик, Буханцева, вдвоём с конвоиром меня, волоком, потащили на вахту.

Меня тащили через всю зону. Я молча, но отчаянно сопротивлялась. Начальник режима говорит:
— Это злостная отказчица. К тому же членовредитель. Она обязательно должна пойти на работу в песчаный карьер. Обязательно!

Один из конвоиров бьет меня прикладом меж лопаток. Раз... Другой... На третий, умышленно или нет, он ударяет по затылку... Боли я не почувствовала. Кругом все озарилось, будто Вольтовой дугой. И я лечу.

.....

Кто-то меня подымает, сажает в снег. Где я? И девчат уже нет...
Я с трудом встаю. Бреду, шатаясь, сама не знаю куда.
— Керсновская! К начальнику!
— К начальнику? Да, к начальнику я пойду.



Дверь с шумом распахнулась, на пороге появился работник УРЧ* Бабкин — дурачок, но... брат прокурора. Глаза его лезли на лоб:
— Только что звонили с шахты 13/15... Сюда едет Байдин... И с ним парторг!

Тут Бабкин споткнулся и растянулся во весь рост.

Байдин? Ну, разумеется, Байдин... Байдин в беде не покинет! Это я и сама видела — тогда, когда он полез в бункер за Казаковым.

И вот: Байдин уже на нашей вахте... Байдин приближается — я слышу его шаги и его голос:
— Стахановцы у нас — лучшие люди; Керсновская — лучшая из наших стахановцев; что вы сделали с Керсновской?!

* УРЧ — учетно-расчетная часть.

Дверь, с шумом, распахнулась, на пороге появился работник УРЧ, Бабкин - дурачок, но.... брат прокурора — Глаза его лезли на лоб: — „Только что звонили с шахты 13/15... Сюда едет Байдин... И, с ним — парторг!..."

Тут Бабкин споткнулся и растянулся во весь рост.

Байдин? Ну, разумеется, Байдин... Байдин, в беде, не покинет!" Это я и сама видела — тогда, когда он полез в бункер, за Казаковым.

И вот: Байдин уже на нашей вахте... Байдин приближается — я слышу его шаги и его голос: „Стахановцы у нас, лучшие люди; Керсновская - лучшая, из наших стахановцев; что вы сделали, с Керсновской?!"

— Что вы сделали с Керсновской?

Вопрос чисто риторический: избитая Керсновская едва на ногах стояла, и Байдин, прежде всего, подал мне стул. Полетаев начал:

— Она обматерила конвой...

— Что?! Она? Обматерила? Да вы шутите! Не то чтобы она, а в ее присутствии шахтеры не матерятся. Антоновна, расскажи, в чем дело?

И я рассказала. А парторг записывал. Когда я кончила, он встал.

— В чем ее вина? В том, что она назвала конвоира дураком. Что он дурак, явствует из его поведения. А что с ней сделали? Ее, не выслушав, не расспросив свидетелей, не дав ей поесть после целого дня работы, не получив санкции врача, повели в ШИЗО... А за что начальник режима дал ей пощечину? Чтобы сбить гордость? Гордость — чистое, облагораживающее чувство. Керсновская имела полное право на гордость. Совсем недавно она проявила

мужество и находчивость, сумев предотвратить аварию и спасти жизнь трем своим товарищам. Кто дал право товарищу Полетаеву сбивать эту гордость пощечиной? Керсновская реагировала молниеносно, как и тогда, когда, рискуя жизнью, кинулась наперерез вагонам и перевела стрелку, чем и спасла своих товарищей. А теперь взгляните, что с ней сделали. И является ли воспитательной мерой содержание избитой уже немолодой женщины в холодной при 54 [градусах мороза]? К тому же раздетой? А что кроется за намерением отправить эту женщину в таком состоянии в Песчаный карьер, работа в котором является тяжелым наказанием даже для здоровых нарушителей режима?

Начальник лагеря Амосов был как в воду опущенный. После речи парторга он предложил мне отдыхать. Я поблагодарила Байдина и парторга. Короткий поклон в сторону Амосова, взгляд, полный презрения...*, и я ушла.

* [взгляд, полный презрения] на Полетаева.

Сколько раз впоследствии мне случалось видеть на вахте Угольного оцепления этого самого Полетаева, уже не лейтенанта, а просто сержанта, проверяющего щупом машины, груженные углем!

Как всегда я шла в первой пятерке, крайней слева, и пока наша бригадирша Кулинич уточняла состав бригады, я с презрением посматривала через плечо на своего «поверженного врага». И все же меня удивляло, как это его разжаловали? Лишь при Хрущеве, после чтения его письма на съезде, я поняла, в чем дело: множество офицеров МВД были вовсе не офицеры. Вернее, были они совсем «липа».

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 34

Дежурнячка опешила, когда маленькая робкая Марийка, умирая от страха, заломила руки и пропела на проверке:
— Мария Миха-а-айловна-а-а.
Дежурная по инерции после фамилии Черная назвала следующую:
— Чуркина, — и Катька-Оторва, не желая проспорить пари Марийке, приняла театральную позу и, становясь на пуанты, ударяя себя в грудь кулаком, взревела шаляпинским басом:
— Ка-те-ри-на Степа-а-ановна-а-а!!!
— Это что за безобразие? Да как вы сме... — она захлебнулась от негодования.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 35

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 35 (ФРАГМЕНТ) ▼

Быть бы обеим театралкам в ШИЗО, если бы дежурная не была б поклонницей Мельпомены: мы ей объяснили, что Марийка и Катька спорили, что будут говорить как в театре, и проиграет тот, кто первый заговорит обычным языком.
— Счастье ваше, что Путинцев пошел в шестой барак. А то быть бы вам в холодной!

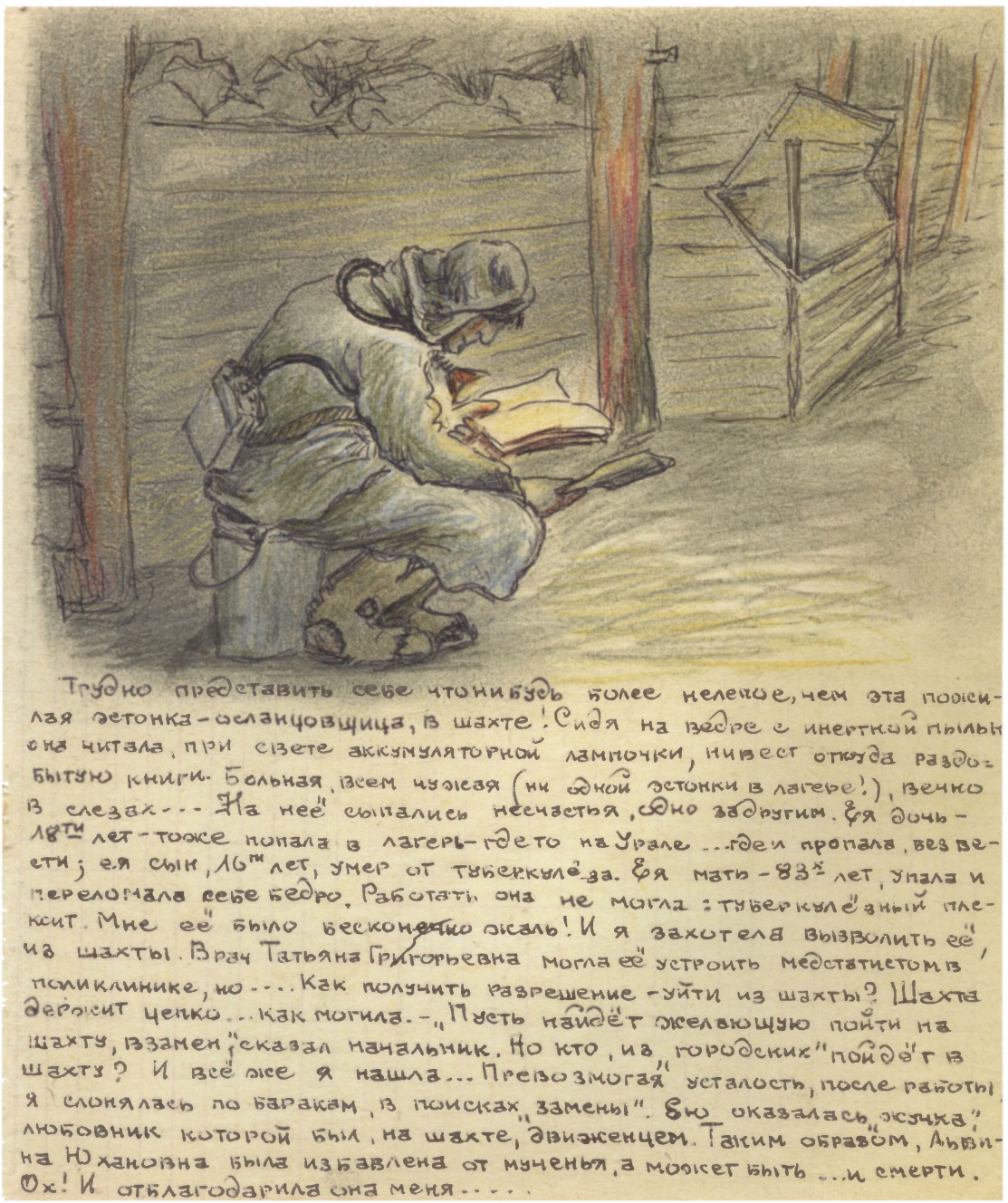
Марийка рухнула головой на стол.

Она билась головой и кулаками об стол и... рыдала от радости! Да, от радости, от счастья. Не от того, что ее выпустят на волю, но от того, что она останется в неволе, но там, где она познала призрак счастья — того эфемерного счастья, которое может в любое мгновение рассеяться как дым.

Она думает о своем Илюше, с которым она работает в ламповой. Им освобождаться хоть и через целых пять лет, но вместе.

Трудно представить себе что-нибудь более нелепое, чем эта пожилая эстонка осланцовщица в шахте! Сидя на ведре с инертной пылью, она читала при свете аккумуляторной лампочки невесть откуда раздобытую книгу. Больная, всем чужая (ни одной эстонки в лагере!), вечно в слезах... На нее сыпались несчастья одно за другим. Ее дочь 18 лет тоже попала в лагерь, где-то на Урале, где и пропала без вести; ее сын 16 лет умер от туберкулеза. Ее мать 83 лет упала и переломала себе бедро. Работать она не могла: туберкулезный плексит. Мне ее было бесконечно жаль! И я захотела вызволить ее из шахты. Врач Татьяна Григорьевна* могла ее устроить медстатистом в поликлинике, но как получить разрешение уйти из шахты? Шахта держит цепко, как могила...

* Т.Г. Авраменко.



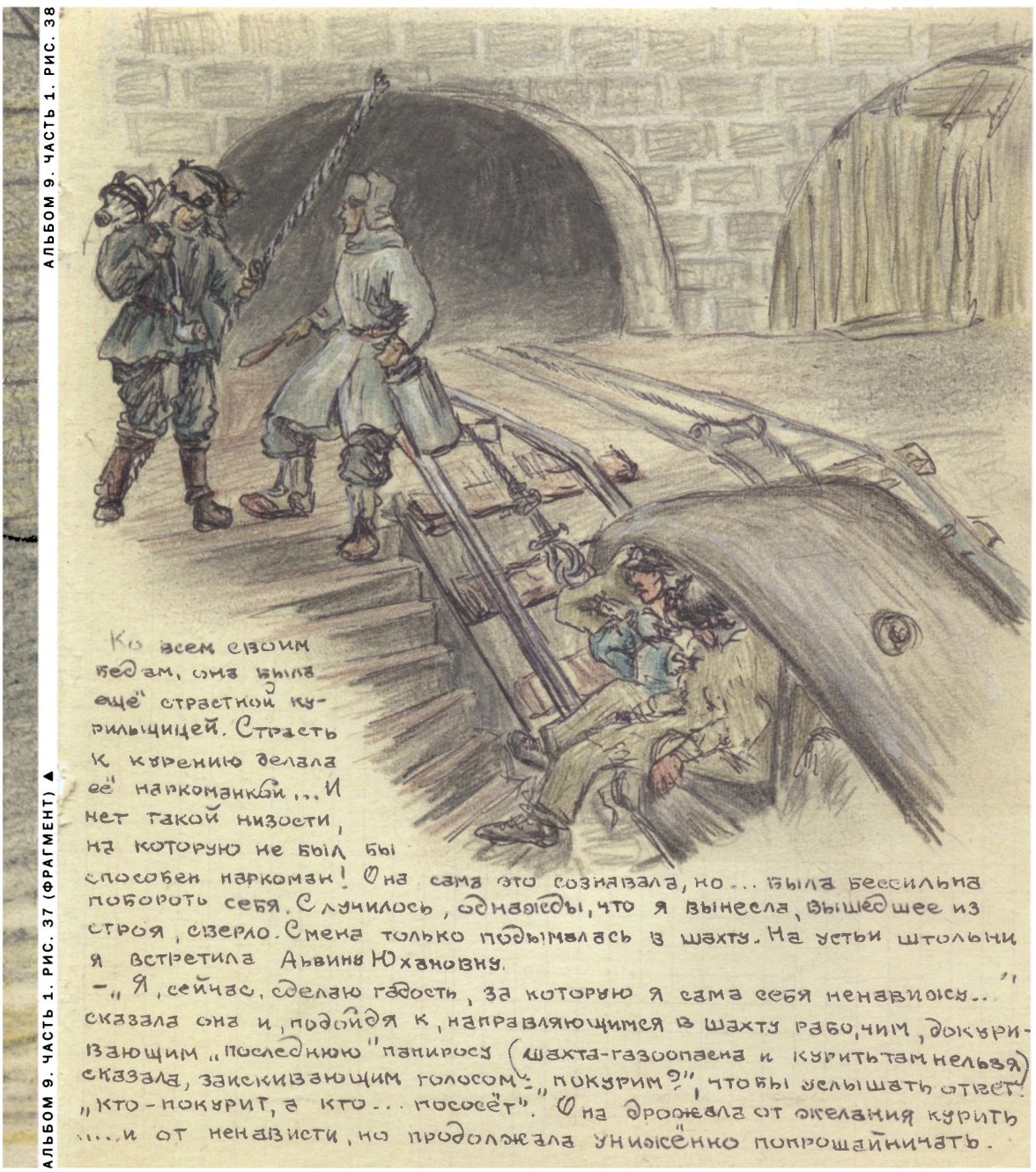
— Пусть найдет желающую пойти на шахту взамен, — сказал начальник.

Но кто из городских пойдет в шахту? И все же я нашла... Превозмогая усталость, после работы я слонялась по баракам в поисках замены. Ею оказалась жучка, любовник которой был на шахте движенцем. Таким образом Альвина Юхановна была избавлена от мученья, а может быть, и смерти.

Ох и отблагодарила она меня...

Ко всем своим бедам она была еще страстной курильщицей. Страсть к курению делала ее наркоманкой. И нет такой низости, на которую не был бы способен наркоман! Она сама это сознавала, но была бессильна побороть себя. Случилось однажды, что я вынесла вышедшее из строя сверло. Смена только подымалась в шахту. На устье штольни я встретила Альвину Юхановну.

— Я сейчас сделаю гадость, за которую я сама себя ненавижу... — сказала она и, подойдя к направляющимся в шахту рабочим, докуривающим последнюю папиросу (шахта газоопасна, и курить там нельзя) сказала заискивающим голосом: «Покурим?» — чтобы услышать ответ: «Кто покурит, а кто... пососет». Она дрожала от желания курить и от ненависти, но продолжала униженно попрошайничать.



АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 37 (ФРАГМЕНТ) ▲

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 38

«В лагере — никому не доверяйте...»

Я никак не могла поверить... Как, Альвина Ивановна*, для которой я так много сделала? Сколько драгоценных часов отдыха я потратила, подыскивая ей замену в шахте! Я упросила врача устроить ее на работу в поликлинику. Я добилась согласия начальника шахты: он ее отпустил. Она спала на моей постели. И только ей одной я показала мою черную тетрадку, в которой я описала и проиллюстрировала кое-какие моменты моей биографии последних лет. Ее я написала еще в ЦБЛ. Эта тетрадь была зашита в меховом коврике, то есть моей постели. И эта тетрадка... исчезла.

— У вас ничего не пропало? — спросил меня Капулер, наш зав. складом.

— А что может пропасть у такого пролетария? — усмехнулась я.

— А черная тетрадь? Я видел ее. Я ее прочел. У начальника лагеря.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 39

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 1. РИС. 39 (ФРАГМЕНТ) ▼

Вы спросите, как она туда попала? А кому вы ее показывали... В лагере никому не доверяйте... Да! Альвина Ивановна...

— Как вам не стыдно клеветать на нее! — взорвалась я.

— ...Да! За две пачки махорки, обещанные Путинцевым! Ваше счастье, что тетрадь взял Амосов. Путинцев дал ей одну пачку, и она ревела и просила вторую.

Я была потрясена...

* Альвину Юхановну в шахте для простоты звали Альвиной Ивановной.

Альбом 9. Часть 2
1949 — октябрь 1952

Когда Евфросиния попала в Центральную больницу лагеря с травмой, главному хирургу Кузнецову удалось уговорить ее остаться иллюстрировать его монографию. Медхудожником становилась она в свободное время; основная работа была у нее в перевязочной хирургического отделения. Не могла она не замечать атмосферы бездушия, которую насаждал новый начальник больницы, вольнонаемные врачи работали без интереса и чувства ответственности. Новые врачи-заключенные были яркими личностями. Одного из них, по фамилии Людвиг, она учила французскому, так как раздобытый им учебник по отоларингологии, специальности, которую ему хотелось получить, был на французском языке.

Евфросиния, работая в хирургии, лично участвовала в спасении людей. Раздавленному поездом сохранили жизнь благодаря тому, что сделали срочное переливание крови путем перекачивания прямо из вены Евфросинии, которая при этом даже не прилегла, чтобы не терять время. Паренька с ожогами она уберегла от ампутации обеих кистей рук, делая по многу раз обработки, ванночки и перевязки.

Кузнецов часто оперировал новыми методами, и это давало отличные результаты. Когда травматолог Пуляевский в отсутствие Кузнецова захотел назло ему заново прооперировать старым методом двух его уже оперированных пациентов, Евфросиния отказалась подчиниться этому врачу, потому что сочла его действия губительными для больных, что впоследствии подтвердилось.

Она поняла, что в больнице она в большей неволе, чем в шахте, где оставалась хотя бы свобода действий в экстренных ситуациях и где «перед смертью все равны», и вернулась туда.

Во время пожаров на шахте она пошла в группу подсобников горноспасателей и, работая в респираторе, клала кирпичные перемычки. Таскать кирпичи на руках было неудобно, она побежала без респиратора на другой участок за «козочками» — приспособлениями для подноски кирпичей, — об-

наружила в забое с угарным газом инженера Пожевилова без сознания и вытащила его на воздух. Он, читая лекции по безопасности, всегда потом приводил студентам курсов горных мастеров этот пример, признавая, что Евфросиния спасла ему жизнь.

У работы шахтером были преимущества: за один отработанный день шло три дня зачета. Но шахта 13/15 распалась на две, и участок Евфросинии отошел к 15-й шахте. Женщин-заключенных вскоре вообще из лагпункта «Нагорный» перевели в 7-е лаготделение и водили работать в Горстрой. Евфросиния опять чувствовала себя рабом, ей даже не дали премии, выписанной за предотвращение аварии в шахте, а только зачитали об этом постановление.

Зимой 1952 года Евфросиния попала на общие работы в бригаду, расчищающую железнодорожные пути. В ответ на оскорбление бригадира она дала ему сдачи, и ее поместили в одиночку ШИЗО в наручниках. Заместитель начальника лагеря Кирпиченко избил ее, и она объявила голодную забастовку. Через подругу, вольнонаемную Петкун, об этом стало известно начальству шахты, по их ходатайству Евфросинию вызвали к начальнику 7-го лагерного отделения, который не знал о действиях своего заместителя и, заглаживая его вину, выполнил просьбу о переводе ее грузчиком на перевалочно-продуктовую базу (ППТ). Там она заработала зачеты для досрочного освобождения.

В то время после выхода из лагеря заключенным предстояла пожизненная ссылка как мера изоляции этих людей от общества. Евфросинии объявили, что ее сошлют в Нарымский край, откуда она в 1942 году бежала. Перспектива жить в тайге повергла ее в уныние, ей хотелось остаться в Норильске среди пусть немногих, но уже знакомых ей культурных людей, на хорошо оплачиваемой работе шахтера. Ожидая высылки, она рисовала копию картины «Отдых после боя», где был изображен неунывающий солдат Василий Теркин. Во время инспекции какой-то важный военный спросил, почему она не на работе. Евфросиния рассказала о своей ситуации и по его просьбе подарила ему картину.

На следующий день ее вызвали на освобождение, но с условием подписать обязательство о том, что она порвет всякие отношения с теми, кто остался в неволе, забудет все, что там видела и никогда и никому ничего о лагере не расскажет. Евфросиния отказалась, мотивируя тем, что встречала в лагере достойных всякого уважения людей, рада быть им полезной и не сможет забыть того, что там видела и пережила. Подпись для нее не простая формальность — человек стоит столько, сколько стоит его слово. Евфросинию отпустили без этой подписи, и ее ждала жизнь и работа в Норильске.

И все же однажды я шахте изменила.

Начальником к нам назначили с 11-й шахты некоего Власенко Василия Власовича. Это был «начальник наоборот»… Атмосфера на участке создалась невыносимая.

Невольно вспомнилось, как прошлым летом на нашу шахту приходил заведующий хирургическим отделением ЦБЛ Виктор Алексеевич Кузнецов. Обещал интересную, плодотворную работу, и я решила: попытаюсь еще раз.

— Этим ножом в последний раз резали газовую гангрену, — говорила я, нарезая ржаной «вольный» хлеб.

— А теперь давайте мы им намажем паштет, — откликнулся мой ученик доктор Людвиг.

Это был молодой крымский немец — очень способный хирург. Он рассуждал так:

—„Этим ножом, в последний раз, разрезали газовую гангрену, говорила я, нарезая ржаной „вольный" хлеб. —„А теперь, давайте, мы им намажем паштет" откликнулся мой „ученик" д-р Людвиг. Это был очень способный молодой крымский немец-очень способный хирург. Он рассуждал так:- Я врач. Но... я немец и „реабилитирован" из-за отца, посаженного в 37г. В большом городе - мне не выжить. Значит надо быть, какими были, в старину, деревенские врачи: и хирурги терапевт и инфекционист и педиатрия заодно и главный... Повыше - за всё." И я всё это могу. Моё главное место это - эхо - гоме - нное. Вот я разбогатый замечательный ученик Но... он - на французском языке. Вот, Здоровенная Антоновна, научите меня французскому языку". И он своего добился! Каждый вечер он приходил ко мне, в Переделкино Без учебника. Без грамматики и, что хуже всего, без словаря. Прямо - по книге. Я читала. Переводила слово за словом. Объясняла правописанье. Затем читал он. Составлял словарь. И осилил. Даже превосходно. Но... Не сразу было ему стать и, наверное, врачём. И он пошёл учиться, работая монтёром. И стал инженером - энергетиком.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 40

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 40 (ФРАГМЕНТ) ▶

— Я врач. Но... я немец и репрессирован из-за отца, посаженного в 1937-м. В большом городе мне не бывать. Значит, надо быть, какими были в старину земские врачи: и хирург, и терапевт, и инфекционист, и педиатр, и зубодер, и глазник, и вообще — «за все». И я все это могу. Мое слабое место — это ухо-горло-нос. Вот я раздобыл замечательный учебник. Но он на французском языке. Вот, Евфросиния Антоновна, научите меня французскому языку.

И он своего добился! Каждый вечер он приходил ко мне в перевязочную. Без учебника, без грамматики и, что хуже всего, без словаря. Прямо по книге. Я читала. Переводила слово за словом. Объясняла правописание. Затем читал он. Составлял словарь. И осилил. Даже превосходно. Но... Не суждено было ему стать и на воле врачом. И он пошел учиться, работая монтером. И стал инженером-энергетиком.

Когда Омельчук делал обработку этой девушке, попавшей на 11-й шахте под электровоз, он распорядился не стричь ее пышные ярко-каштановые волосы.

— Пусть с собой в могилу хоть свои дивные волосы унесет, — сказал Женюшка Данилыч. Но вот ночью я пришла к нему за морфием для нее. Омельчук, он был дежурным, спросил:

— Кому?

— Той, что вы по кусочкам собирали.

— Да разве она жива?

— А зачем бы я стала брать морфий для мертвой? — возмутилась я.

Но он не поверил и пришел сам посмотреть.

— Похоже, однако, что мы еще обстрижем ее прекрасные волосы, — сказал он, улыбаясь.

И правда: девчонка поправилась. Впоследствии даже не хромала. Ее устроили копировщицей в проектном отделе. И никто ее не называл Хорошиловой, а Надей Хром-Хром.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 41 (ФРАГМЕНТ) ◀

Хирург Омельчук делал обработку этой девушке, попавшей на 11 шахте под электровоз, он распорядился не стричьея пышные ярко-каштановые волосы. — „Пусть с собою в могилу хоть свои дивные волосы унесёт..." сказал Женюшка Данилыч. Но вот, ночью я пришел к нему за морфием для нея. Омельчук - он был демократом - спросил: „Кому?" — „Той, что вы, по кусочкам, собирали" — „Да разные они вещи?" — „А зачем вы я стали брать морфий для мёртвой?" возмутилась я. Но он не поверил и пришел сам посмотреть.

— „Похоже, однако, что мы ещё обстрижём ея прекрасные волосы" — сказал он, улыбаясь.

И правда: девчонка поправилась. Впоследствии даже не хромала. Её устроили копировщицей в Проектном Отделе. И никто ее не называл „Хорошиловой", а - „Надя Хром-Хром."

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 41

О том, что поступает человек с очень тяжелой травмой, мне позвонили с Нолевого пикета*. Я поставила кипятить инструмент и аппарат переливания крови и послала за хирургами. Когда был доставлен пострадавший, все было готово. Но, когда Кузнецов увидел изуродованное и полностью обескровленное тело, [он] ужасно рассердился. Я успела определить его группу крови: это была моя группа — группа Б — третья. Кузнецов и слышать не захотел: «Это уже труп!» — и он размылся и ушел. А Омельчук решил попытать счастья: больному перекачивали мою кровь, а врач перевязывал сосуды, пока не появился, пусть и нитевидный, пульс. Тогда я начала давать наркоз, а Омельчук — оперировать. Я давала хлороформ по капле с большими интервалами. Ведь больной был так слаб! Кружилась голова и у меня. Операция прошла удачно: больной Хачетуров выжил.

* Нолевой пикет – район, откуда начинался Норильск.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 42 (ФРАГМЕНТ) ▼

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 42

—...Вон! Чтоб этой уродины тут и духа не было!

Я была поражена дикостью этой вспышки. В чем же тут дело?

Работу в перевязочной выполняла я. Гнойные операции, перевязки, гипсы... Работала я иногда круглые сутки, а санитарки у меня не было, то есть были, но не выдерживали: все смазливые девчонки падали в обморок или их тошнило.

«Выберите себе сами помощницу. Напишите в лагпункт Нагорный: пусть врач направит как больную, а я оформлю», — **сказал Кузнецов**.

Я так и сделала. Выбрала я Машку Симакову: более старательной, добросовестной и сметливой мотористки не было на шахте, но... и более некрасивой, пожалуй, тоже: курносая, с выбитыми передними зубами, безбровая, с жиденькими волосенками мышиного цвета. Но ласковая, терпеливая, чистоплотная.

Она прибыла в субботу и до понедельника мы поработали на славу. Наконец я могла не надрываться!

Но, Боже мой, что произошло, когда Кузнецов увидел мою помощницу! Этот ненасытный кобель рассчитывал, что я возьму миловидную девушку, которая из благодарности за то, что ее спасли от шахты, не будет слишком строгой.

В тот же день я опять осталась одна. Кузнецов все же пришел с повинной: «Берите ту, что вас устраивает. Только такую, чтобы больные не пугались».

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 43 (ФРАГМЕНТ) ◀

...Вон! Что в этой уродине тот и Зуев не было!"
Я была поражена злостью этой девчушки. В чём дело?
Работа в перевязочной выполняла я. Гнойные операции, перевязки, гипсы... Работала я, иногда, круглые сутки... а санитарки, у меня не было... Те-были, но... не выдерживали: все смазливые девчонки... падали в обморок или их тошнило. Выберите себе здесь помощницу. Напишите в УК Нагорный: пусть врач наблюдает, как больную, а я оформлю? Я так и сделала. Выбрала я Машку Симакову: более старательной, добросовестной и сметливой медсестрички - не было на шахте, но... и более некрасивой, лопоухий, тоже: курносая, с выбитыми передними зубами, безбровая, с жиденькими волосёнками, мышиного цвета. Но ласковая, терпеливая, чистоплотная. Она прибыла в субботу и до понедельника мы поработали на славу. Наконец я могла не надрываться! Но, Боже мой, что произошло, когда Кузнецов увидел мою помощницу! Этот ненасытный кобель рассчитывал, что я возьму миловидную девушку, которая, из благодарности за то, что её спасли от шахты!.. не будет слишком строгой.
В тот же день я опять осталась одна... Кузнецов, все же, пришёл с повинной: „Берите ту, что вас устраивает. Только... такую, чтобы больные не пугались.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 43

Отношение к больным вольных врачей после ухода Веры Ивановны возмущало меня с каждым днем все более. Склеротичному рамоли* Пуляевскому доверили травматиков, и он при переломе плеча вместо вытяжения наложил гипс и наложил слишком туго. Я сразу забила тревогу, но все боялись Пули, и в понедельник уже началась гангрена, пока что двух пальцев. Назначили ампутацию, и мальчик дал согласие на ампутацию двух пальцев. К несчастью, Глебова, тоже вольная, сказала: «Я никогда не видела высокой ампутации руки», — и Кузнецов, с галантной улыбкой, сказал: «Я вам дам возможность не только видеть, но и сделать ее!»

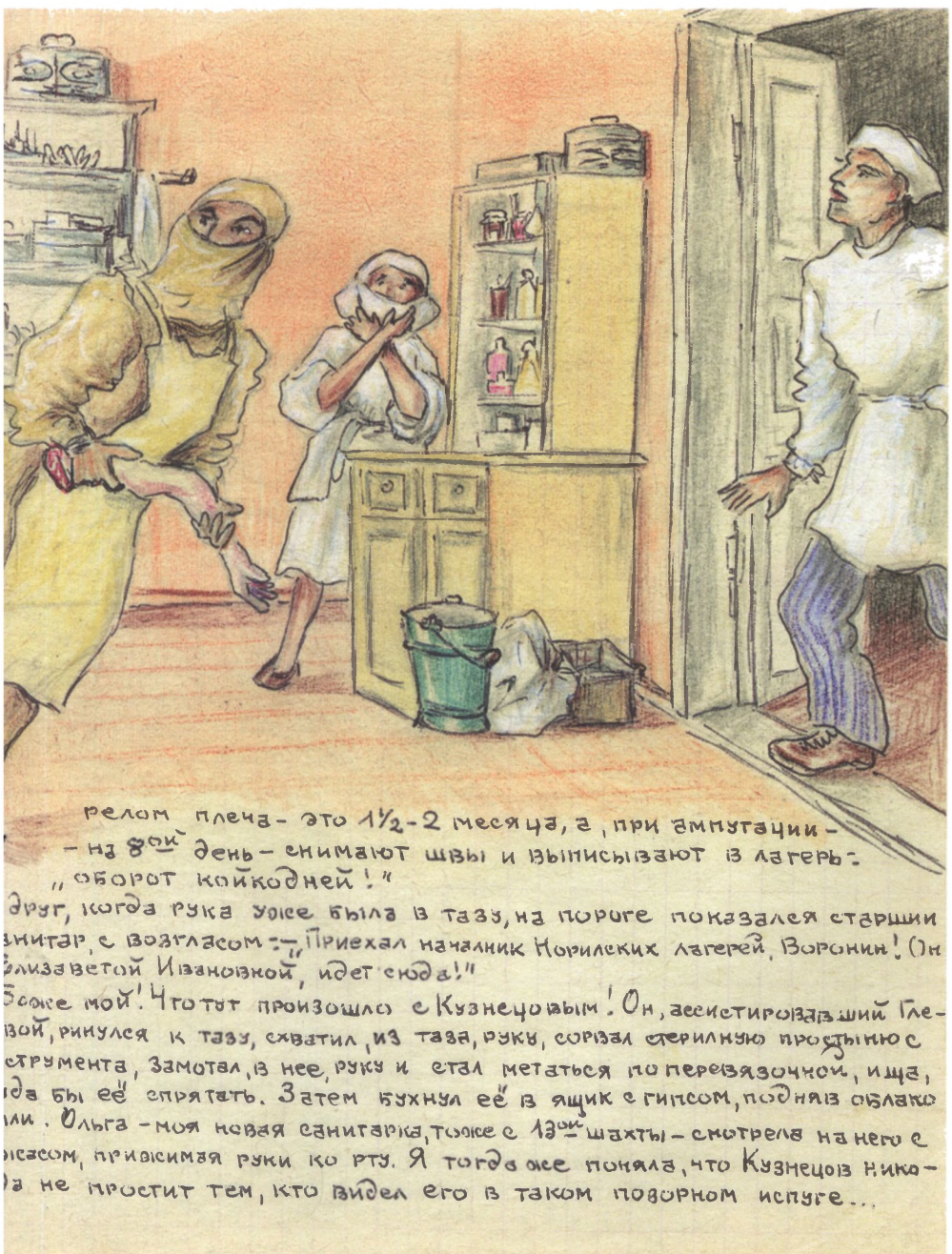
Я давала наркоз. Когда я увидела, что они готовятся делать, я прекратила наркоз и сказала: «Он дал согласие на ампутацию двух пальцев. Это — правая рука, и он так молод!» Кузнецов позвал другого наркотизатора, и Глебова могла сделать высокую ампутацию. Кузнецова это устра-

* Рамоли — старчески расслабленный, впавший в слабоумие.

ивало еще и потому, что с вытяжением перелом плеча — это полтора-два месяца, а при ампутации — на 8-й день снимают швы и выписывают в лагерь: «оборот койко-дней»!

Вдруг, когда рука уже была в тазу, на пороге показался старший санитар с возгласом: «Приехал начальник Норильских лагерей Воронин! Он с Елизаветой Ивановной идет сюда!»

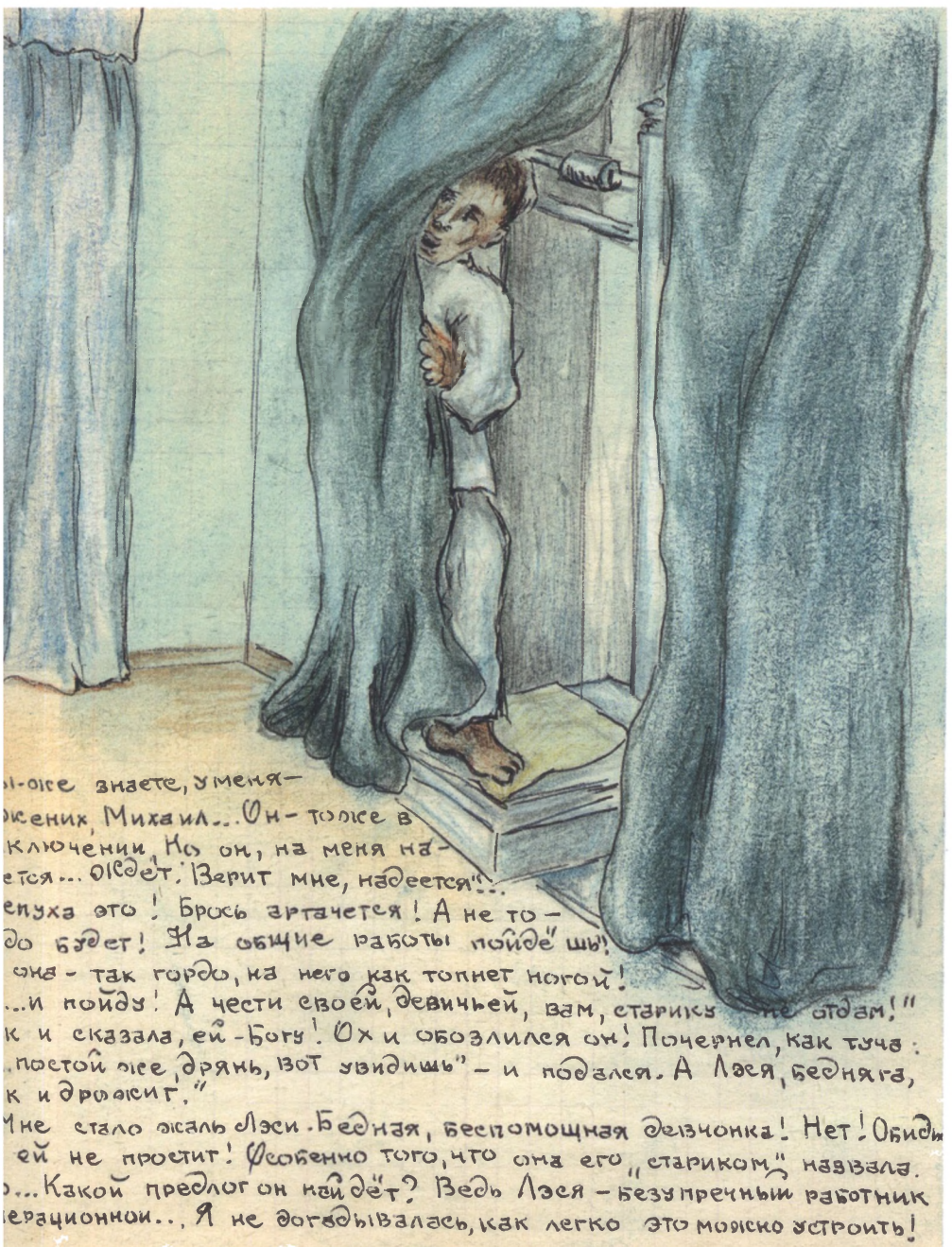
Боже мой! Что тут произошло с Кузнецовым! Он, ассистировавший Глебовой, ринулся к тазу, схватил из таза руку, сорвал стерильную простыню с инструмента, замотал в нее руку и стал метаться по перевязочной, ища, куда бы ее спрятать. Затем бухнул ее в ящик с гипсом, подняв облако пыли. Ольга, моя новая санитарка, тоже с 13-й шахты, смотрела на него с ужасом, прижимая руки ко рту. Я тогда же поняла, что Кузнецов никогда не простит тем, кто видел его в таком позорном испуге...



Это мне рассказал больной Семенов, когда он пришел в перевязочную:
— ...дверь в кабинет Виктора Алексеевича была отперта. Я и заскочил, чтобы взвеситься. Вдруг идет операционная санитарка Лэся — принесла личный инструмент Кузнецова. Прячет его в стол. Я шмыгнул в дверную нишу — там, за шторой стоят весы. А тут хлоп! Входит Кузнецов, запирает на ключ дверь и к Лэсе, и сразу ей юбку задирает. Она выскользнула и шмыг за стол, что в углу стоит. Забилась туда. «Побойтесь вы Бога, — говорит. — Стыдно! У вас жена. И вы же знаете, у меня жених, Михаил. Он тоже в заключении. Но он на меня надеется... ждет. Верит мне, надеется». — «Чепуха это! Брось артачиться! А не то худо будет! На общие работы пойдешь!» А она — так гордо на него как топнет ногой! «И пойду! А чести своей девичьей вам, старику, не отдам!» Так и сказала, ей-Богу!

Ох и обозлился он! Почернел как туча: «Постой же, дрянь, вот увидишь», — и подался. А Лэся, бедняга, так и дрожит.

Мне стало жаль Лэси. Бедная, беспомощная девчонка! Нет! Обиды он ей не простит! Особенно того, что она его стариком назвала. Но какой предлог он найдет? Ведь Лэся — безупречный работник операционной. Я не догадывалась, как легко это можно устроить!



Месть Кузнецова не заставила себя долго ждать. Вторник и пятница — операционные дни. А неплановые операции? Сколько материала надо наготовить! Нарезать, сложить, простерилизовать... Ну а палочки для смазки йодом? Наколоть, выстругать — это всегда поручалось кому-либо из выздоравливающих: изготовить надо несколько сот!.. Лэся давала кому-либо из больных дощечки, нож и свою пайку хлеба. Так и на этот раз. Но вдруг в палату выздоравливающих ворвался начальник режима Сорокин — и прямо к тому, кто строгал палочки:

— Нож! Кто дал заключенному нож?

Глебова, врач, вольная, ринулась на выручку:

— Это я дала ему нож.

— Неправда! Это Кульчицкая, заключенная.

В тот же день Лэся была снята с работы и отправлена на штрафную командировку. Кузнецов сдержал свое слово...

Года через три я уже была на воле, я встретила Лэсю. Она работала в бригаде слабосиловки на очистке уличных заносов. Она изменилась до неузнаваемости. Я бы ее не узнала, если б не то, что она меня окликнула. Это было возле хлебного магазина № 1. Я накупила булок, и, пользуясь тем, что конвоир стоял спиной к ветру, мне удалось передать эти булки девчатам.

Еще через три года я была приглашена на Лэсину свадьбу. Лэся — похорошевшая, с французскими локонами, и Михаил — чернобровый парубок — были на редкость хорошая пара. И вдруг на свадьбу явилась 13-я фея — Кузнецов. Я не выдержала его иезуитской улыбки... Под предлогом неотложной работы я оставила им мой свадебный подарок и ушла: мне было противно его лицемерие!

Года через 3-я Лэся была на воле - я встретила Лэсю. Она работала в бригаде „слабосиловки", на очистке уличных заносов. Она изменилась до неузнаваемости, Я-бы ее не узнала, если б не то, что она меня окликнула. Это было возле хлебного магазина №1. Я накупила булок и, пользуясь тем, что конвоир стоял, спиной к ветру, мне удалось передать эти булки девчатам.

Ещё через 3 года я была приглашена на Лесину свадьбу. Лэся - похорошевшая, с „французскими" локонами и Михаил - чернобровый парубок - были наредкость хорошая пара. И вдруг на свадьбу явилась „13ая фея" - Кузнецов. Я не выдержала его иезуитской улыбки... Под предлогом „неотложной работы", я оставила им мой свадебный подарок и ушла; мне было противно его лицемерье!

Вот так мы накладывали гипс — под крикаином... И тут я узнала от новой аптекарши, что на ее складе валяется рама Бейера для накладывания гипса. Вернее — для репозиции отломков. Она — наша. Но вот уже больше года никто ее не берет!

Я обрадовалась, сходила за этой рамой и решила ее освоить. Это было тем более необходимо, что Кузнецов, давно ненавидевший Омельчука, добился отправки его в спецлагерь. Травматики поступили в ведение Пуляевского — кретина и садиста, который лишь мучил и калечил несчастных травматиков.

Смонтировав раму Бейера и сделав макет ноги из брюк и сапога, я принялась штудировать инструкцию. Утром я выписала дикаин, и долго ждать пациента не пришлось: это был парень с рудника — закрытый перелом голени. Бедняга стонал, дрожал и скрипел зубами. Кто знает? Может, сердце у меня колотилось сильней, но рука не дрожала, когда я, ощупав место перелома, вонзила иглу шприца.

— Ох! Полегчало... — вздохнул с облегчением парень. Вздохнула и я...

Все было даже легче, чем я ожидала. Я добавляла груз, отломки растягивались, и я их складывала. Когда они стали на место, я намочила бинты, сделала стремя и круглый гипс. Делала все спокойно, не спеша, разговаривая с больным. На рентгене выяснилось, что репозиция идеальна. «Первый блин» вышел пышный и румяный.

Вдруг с треском распахнулась дверь, и бурей ворвался Кузнецов, в три шага оказался возле шкафа, за которым хранилась в разобранном виде рама, и стал вытягивать и швырять на пол ее трубки.

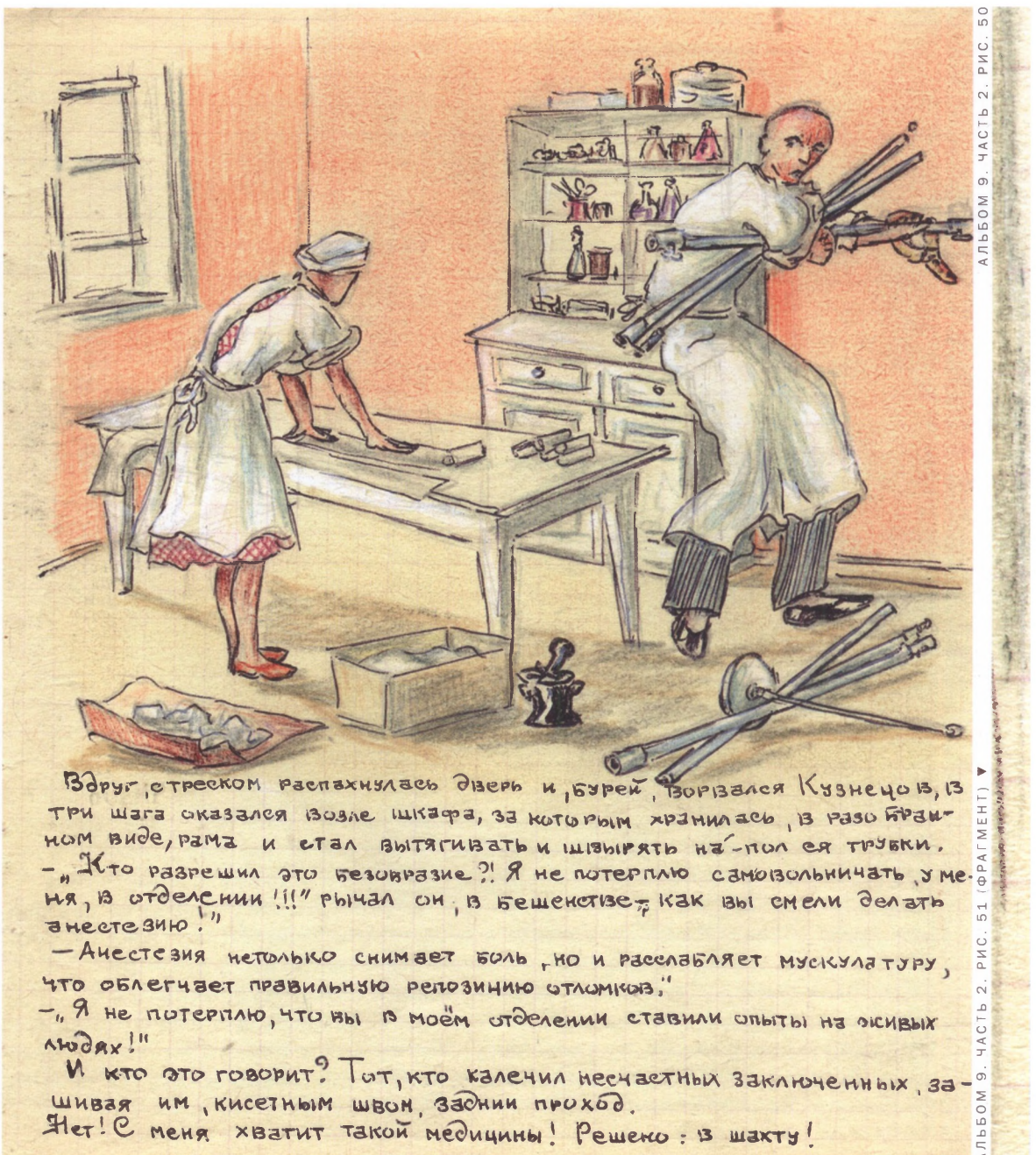
— Кто разрешил это безобразие?! Я не потерплю самовольничать у меня в отделении!!! — рычал он в бешенстве. — Как вы смели делать анестезию!

— Анестезия не только снимает боль, но и расслабляет мускулатуру, что облегчает правильную репозицию отломков.

— Я не потерплю, чтобы в моем отделении ставили опыты на живых людях!

И кто это говорит? Тот, кто калечил несчастных заключенных, зашивая им кисетным швом задний проход.

Нет! С меня хватит такой медицины! Решено: в шахту!



АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 50

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 51 (ФРАГМЕНТ) ▼

Последней каплей была очередная выходка Пуляевского. В больницу поступили почти одновременно два травматика с очень редкой травмой. У обоих был разрыв уретры. Когда-то это был бы безнадежный случай, но Кузнецов эти случаи легко и удачно оперировал: делал разрез в промежности, вводил катетер одним концом в мочевой пузырь, а другой — через уретру наружу — в бутылочку, куда выделяется моча. Когда уретра срастается, катетер удаляют.

Обоих оперировал Кузнецов, а положили их в палату Пуляевского. Тут Пуля заявил:

— У нас разрезали мочевой пузырь и вставляли трубку.

— Да! И все больные умирали. От мацерации — сепсис и смерть.

— Но у нас делали только так, — заартачился старый кретин.

Оба больных уже были на пути к выздоровлению.

И вот наступил день, когда в воскресенье Пуля был дежурным по больнице, и он, будучи хозяином положения, решил обоих выздоравливающих прооперировать: удалить катетер и ввести трубку через брюшную стенку. Я возмутилась и отказалась отпереть перевязочную. Пуля приказал взломать дверь. Я хотела позвонить начальнице — Урванцевой. Меня не пустили к телефону. Я кинулась к начальнику лагеря. Он сказал:

— Пуляевский дежурный: он заменяет начальника ЦБЛ. Он за все отвечает, а ты не в свое дело суешься. Тебя в ШИЗО посадить надо.

— Но оба умрут мучительной смертью!

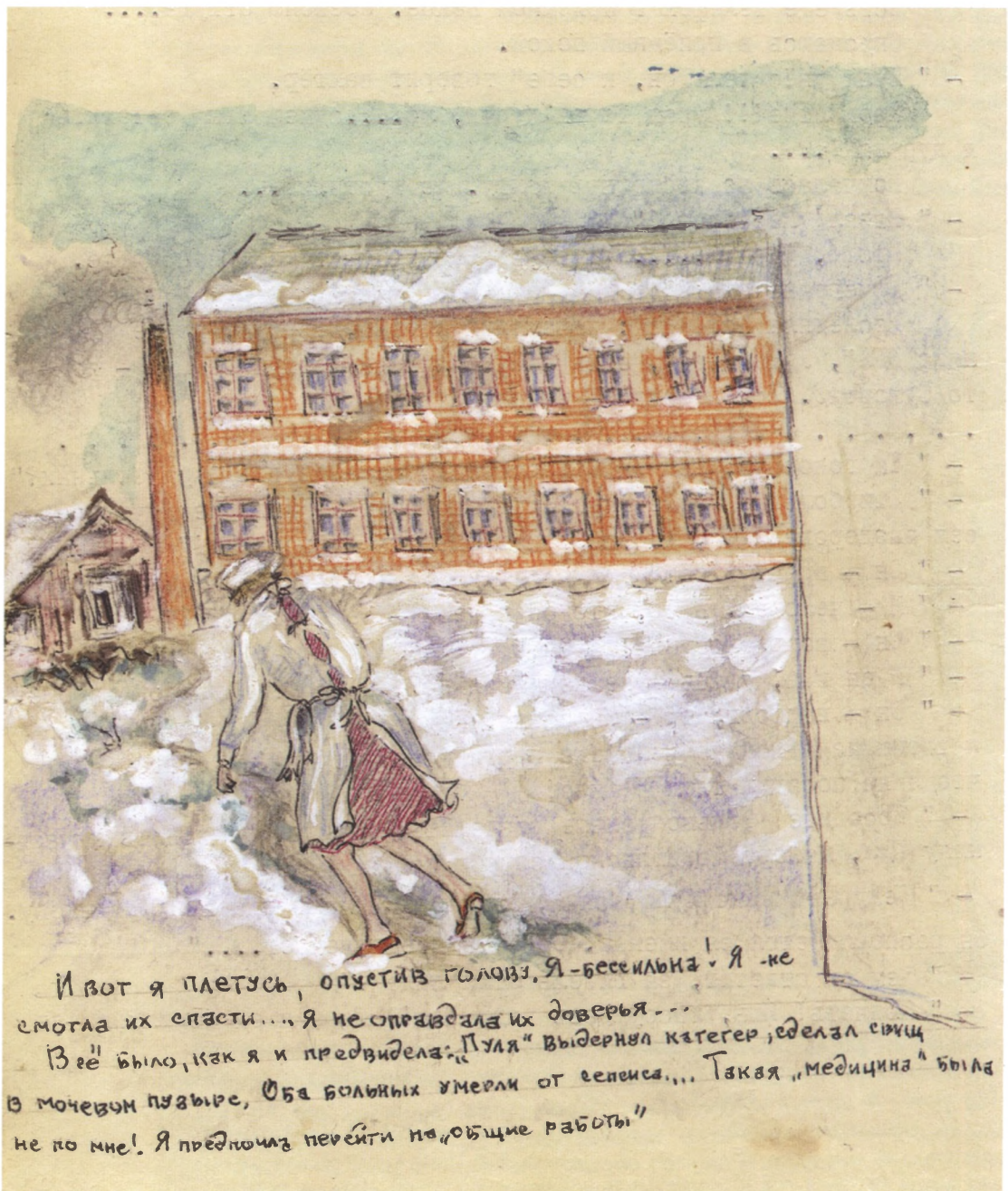
— Не твое дело. Убирайся!

Все случилось так, как я предвидела. Оба выздоравливающих после операции Пуляевского сгнили заживо и умерли в мучениях. Пуля продолжал твердить: «У нас так делали». Кузнецов лишь пожал плечами: «Они — в его палате».

В ЦБЛ не осталось ни одного порядочного человека. Я поставила за правило не входить в сделки с совестью. В ЦБЛ чисто, тепло, не очень голодно; в шахте — грязь, голод, холод, опасный тяжелый труд. Иду в шахту!

И вот я плетусь, опустив голову. Я — бессильна! Я — не смогла их спасти... Я не оправдала их доверья...

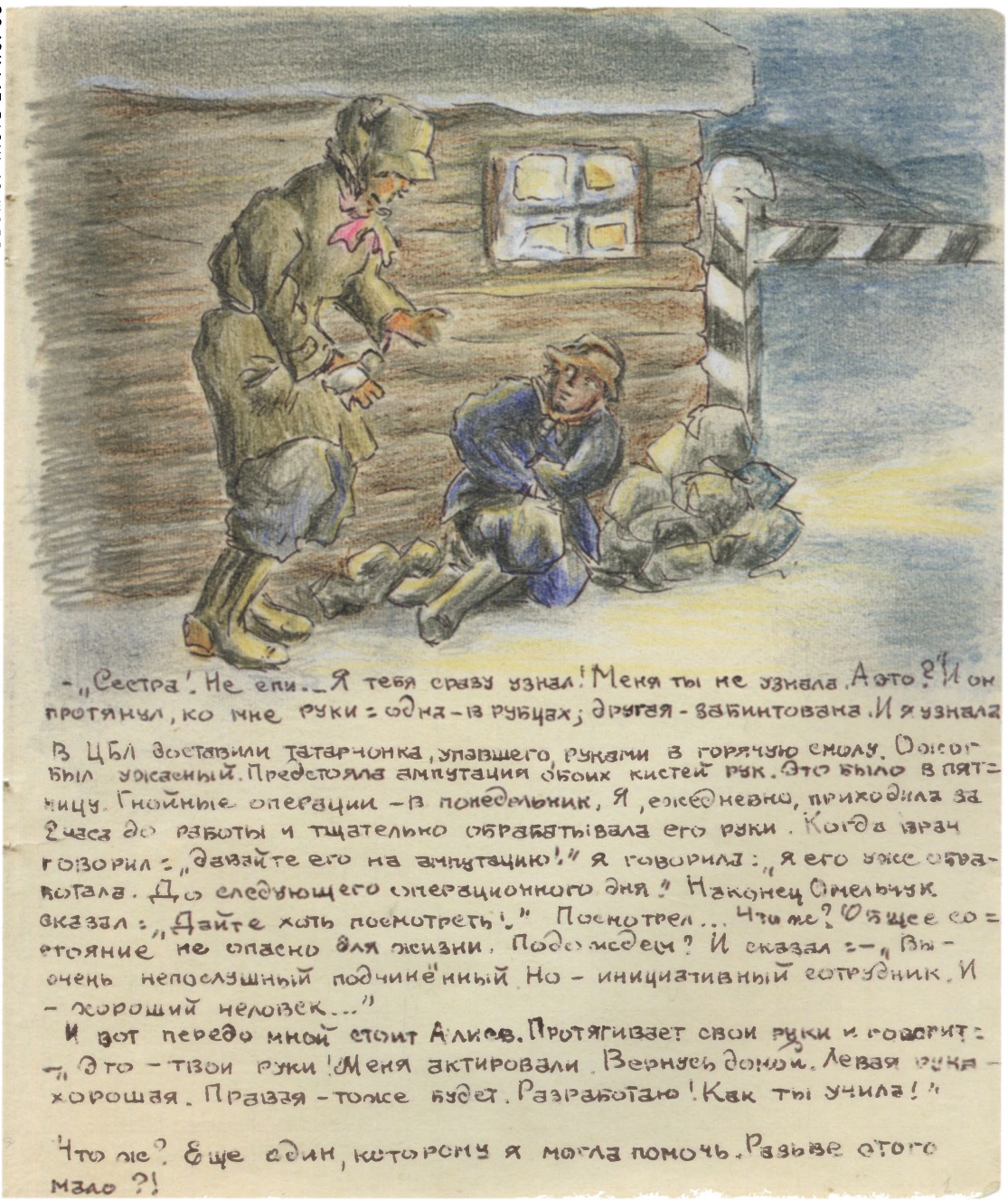
Все было, как я и предвидела: «Пуля» выдернул катетер, сделал свищ в мочевом пузыре. Оба больных умерли от сепсиса... Такая «медицина» была не по мне!.. Я предпочла перейти на общие работы.



Но однажды воспоминание о моей медицинской карьере нахлынуло на меня... На вахту, куда должны собраться все, я, по обыкновению, пришла раньше всех… и села возле проходной в снег с твердым намерением не уснуть. Но глаза сами собой стали слипаться, когда меня разбудил чей-то голос:

— Сестра! Не спи... Я тебя сразу узнал! Меня ты не узнала. А это? — и он протянул ко мне руки: одна в рубцах, другая забинтована. И я узнала...

В ЦБЛ доставили татарчонка, упавшего руками в горячую смолу. Ожог был ужасный. Предстояла ампутация кистей рук. Это было в пятницу. Гнойные операции — в понедельник. Я ежедневно приходила за два часа до работы и тщательно обрабатывала его руки. Когда врач говорил: «Давайте его на ампутацию!» — я отвечала: «Я его уже обработала. До следующего



операционного дня». Наконец Омельчук сказал: «Дайте хоть посмотреть!» Посмотрел... «Что ж, общее состояние не опасно для жизни. Подождем?» И добавил: «Вы очень непослушный подчиненный. Но — инициативный сотрудник. И — хороший человек...»

И вот передо мной стоит Алиев. Протягивает свои руки и говорит:
— Это — твои руки! Меня актировали. Вернусь домой. Левая рука — хорошая. Правая тоже будет. Разработаю! Как ты учила!

Что ж? Еще один, которому я могла помочь. Разве этого мало?!

В забой, где я работала, вихрем влетел мастер вентиляции.
— Бросай все и беги на-гора: в шахте пожар!

Пожар — это всегда страшно. А в шахте, где продуктам сгорания некуда деваться, где может взорваться метан или пыль, — это смерть.

Но от судьбы не уйдешь. А как подумаешь, что сейчас происходит на устье шахты... Нет, спешить не имеет смысла.

Я ничего не бросила и никуда не бежала. Я взяла свое сверло и пошла на-гора. Больше того, я вернулась, чтобы выключить трансформаторы нашего участка и соседнего — того, где имел место пожар. И то, дойдя до устья, пришлось ждать, так как там была толкучка.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 54

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 53 (ФРАГМЕНТ) ▲

Подземный пожар тушат, загораживая к огню доступ воздуха, то есть ставя кирпичные перемычки. Этим занимаются горноспасатели. Я одна из первых вызвалась им помогать, и меня приставили к корыту — гарцевать цементный раствор.

Работа была спешная, смотреть по сторонам было некогда, и я не заметила, что люди, в том числе и горноспасатели, один за другим покинули забой, забыв предупредить меня о недопустимой концентрации CO — угарного газа. Этот газ очень коварен. О его наличии я догадалась, когда лопата стала непомерно тяжелой, и я ее уронила. Испугавшись, я поняла, что угорела и надо спасаться. Я попыталась снять с колышка свою телогрейку и аккумулятор, но рука упала как плеть. Я рванулась к трапу, но ноги подкосились. Отчаянным усилием я подалась вперед и упала вниз головой на доску трапа. Смутно помню, что я скользила вниз и перекладины больно впивались в ребра.

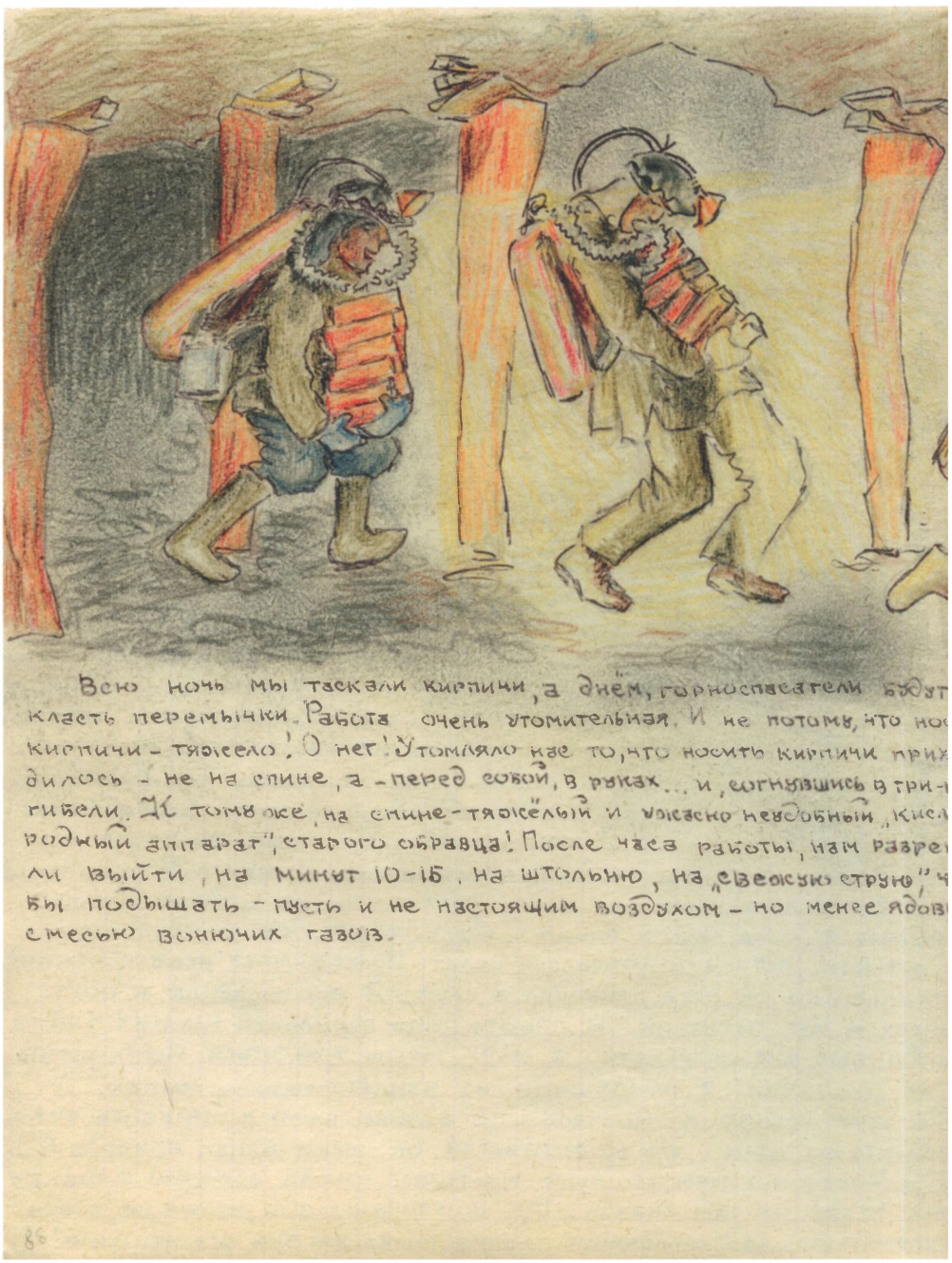
Подземный пожар тушат, загораживая к огню доступ воздуха, т.е. ставя "кирпичные "перемычки". Этим занимаются горноспасатели. Я, одна из первых вызвалась им помогать и меня приставили к корыту — "гарцевать" цементный раствор.

Работа была спешная, смотреть по сторонам, было некогда и я не заметила, что люди - в том числе и горноспасатели - один за другим, покинули забой, забыв предупредить меня о недопустимой концентрации "CO" - угарного газа. Этот газ очень коварен. Об его наличии я догадалась... когда лопата стала непомерно тяжелой и я её уронила. И испугавшись я поняла, что угорела и надо спасаться. Я попыталась снять с колышка свою телогрейку и аккумулятор, но... рука упала, как плеть. Я рванулась к трапу, но... ноги подкосились. Отчаянным усильем я подалась вперёд и... упала, вниз головой на доску трапа. Смутно помню, что я скользила вниз и перекладины больно впивались в рёбра.

Очнулась я на откаточной штольне, куда я скатилась по трапу. Синяков я себе наколотила немало, но это путешествие вверх ногами спасло мне жизнь. Меня подобрали начальник участка № 86 Соломенко и горный мастер Илюша Сухарев, и я, заплетающимися ногами натыкаясь на стойки, поплелась на-гора, провожаемая шутками шахтеров.

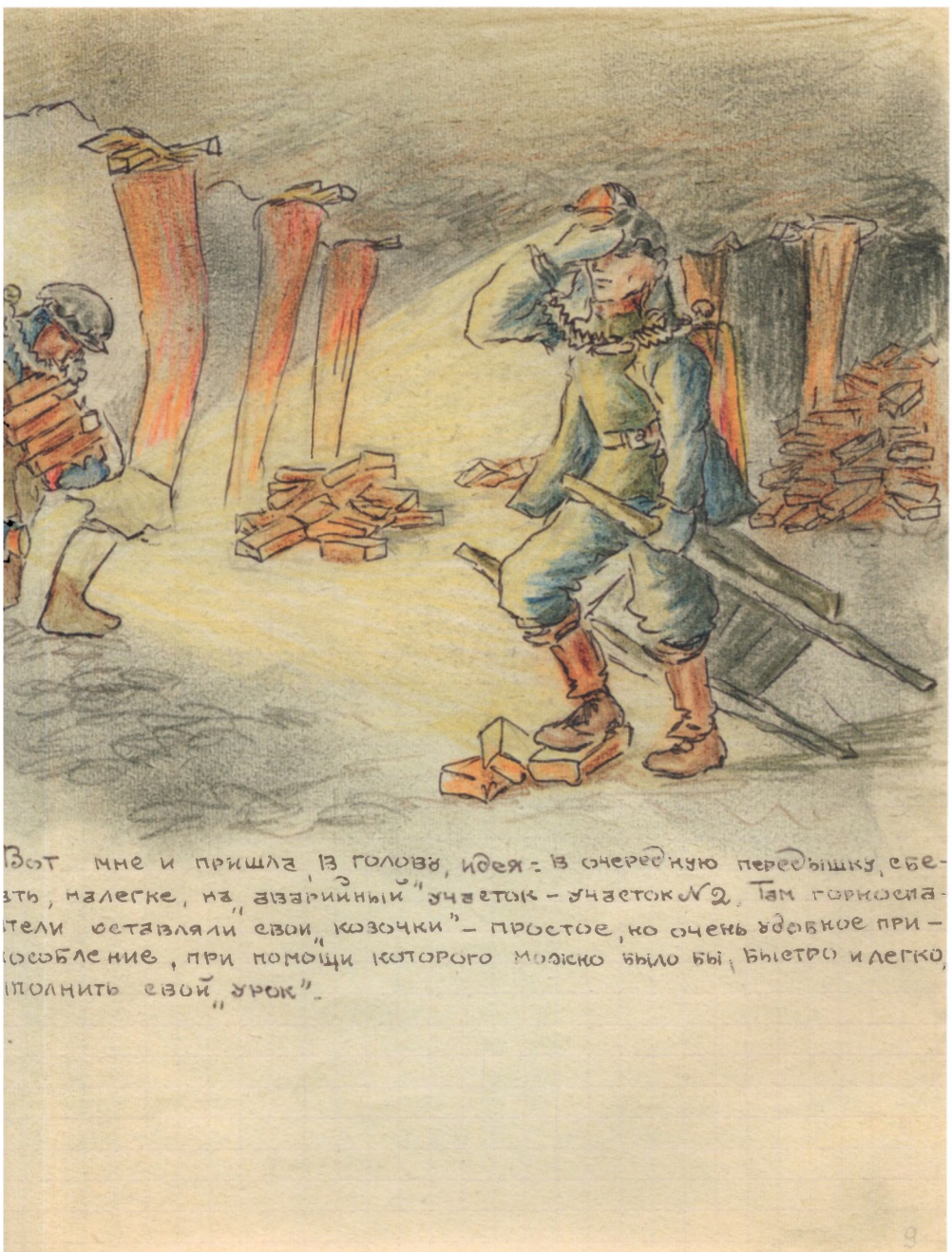
Очнулась я на откаточной штольне, куда я скатилась по трапу. Синяков я себе наколотила немало, но это путешествие вверх ногами спасло мне жизнь. Меня подобрали начальник уч. №86, Соломенко и горный мастер Илюша Сухарев, и я, заплетающимися ногами, натыкаясь на стойки, поплелась на-гора, провожаемая шутками шахтёров.

Всю ночь мы таскали кирпичи, а днем горноспасатели будут класть перемычки. Работа очень утомительная. И не потому, что носить кирпичи тяжело! О нет! Утомляло нас то, что носить кирпичи приходилось не на спине, а перед собой в руках и согнувшись в три погибели. К тому же на спине — тяжелый и ужасно неудобный кислородный аппарат старого образца! После часа работы нам разрешали выйти на минут 10–15 на штольню, на свежую струю, чтобы подышать пусть и не настоящим воздухом, но менее ядовитой смесью вонючих газов.

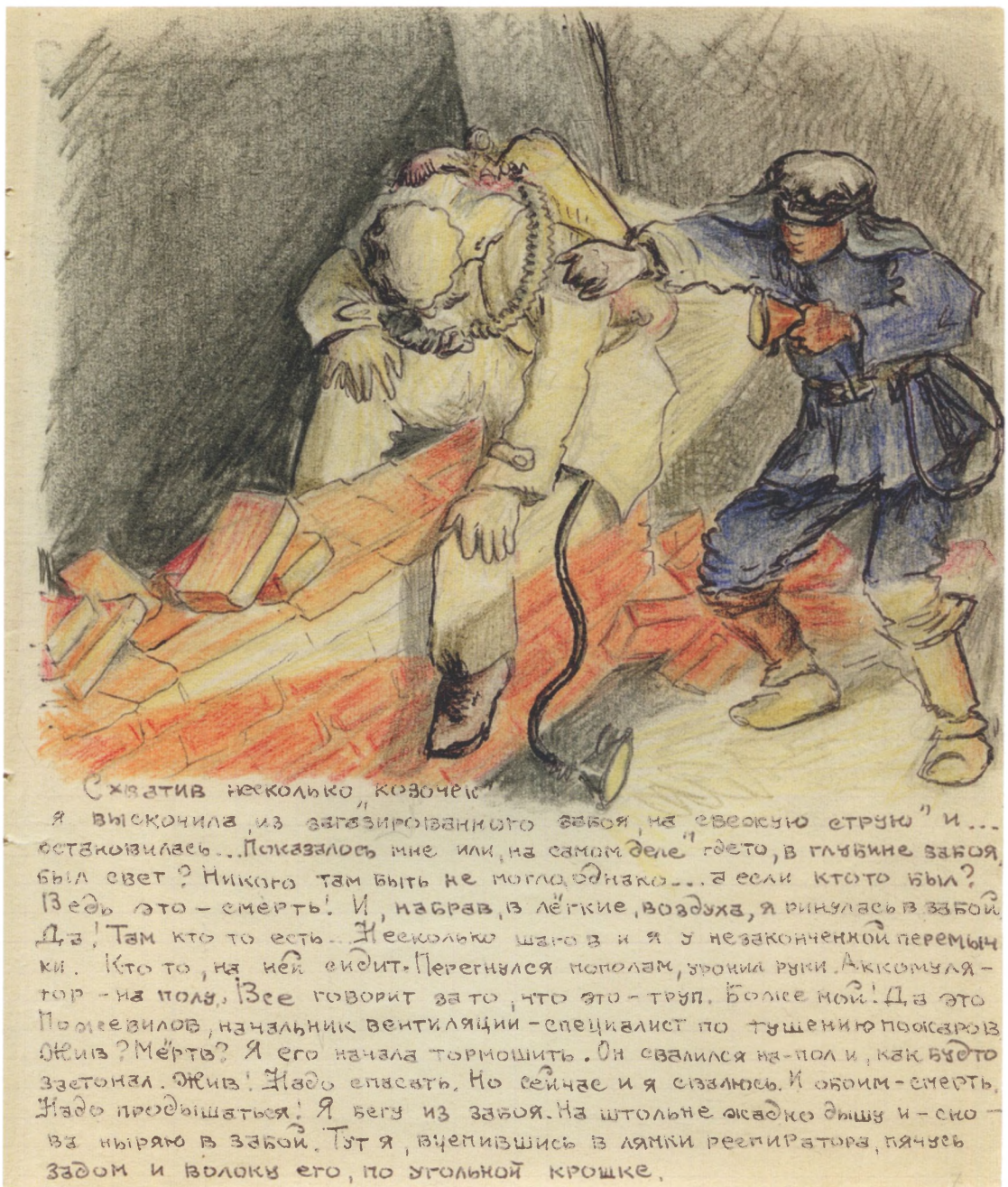


Вот мне и пришла в голову идея: в очередную передышку сбегать налегке на аварийный участок № 2. Там горноспасатели оставляли свои козочки* — простое, но очень удобное приспособление, при помощи которого можно было бы быстро и легко выполнить свой урок.

* Козочки — приспособления для подноски кирпича, мешков цемента и тому подобного.



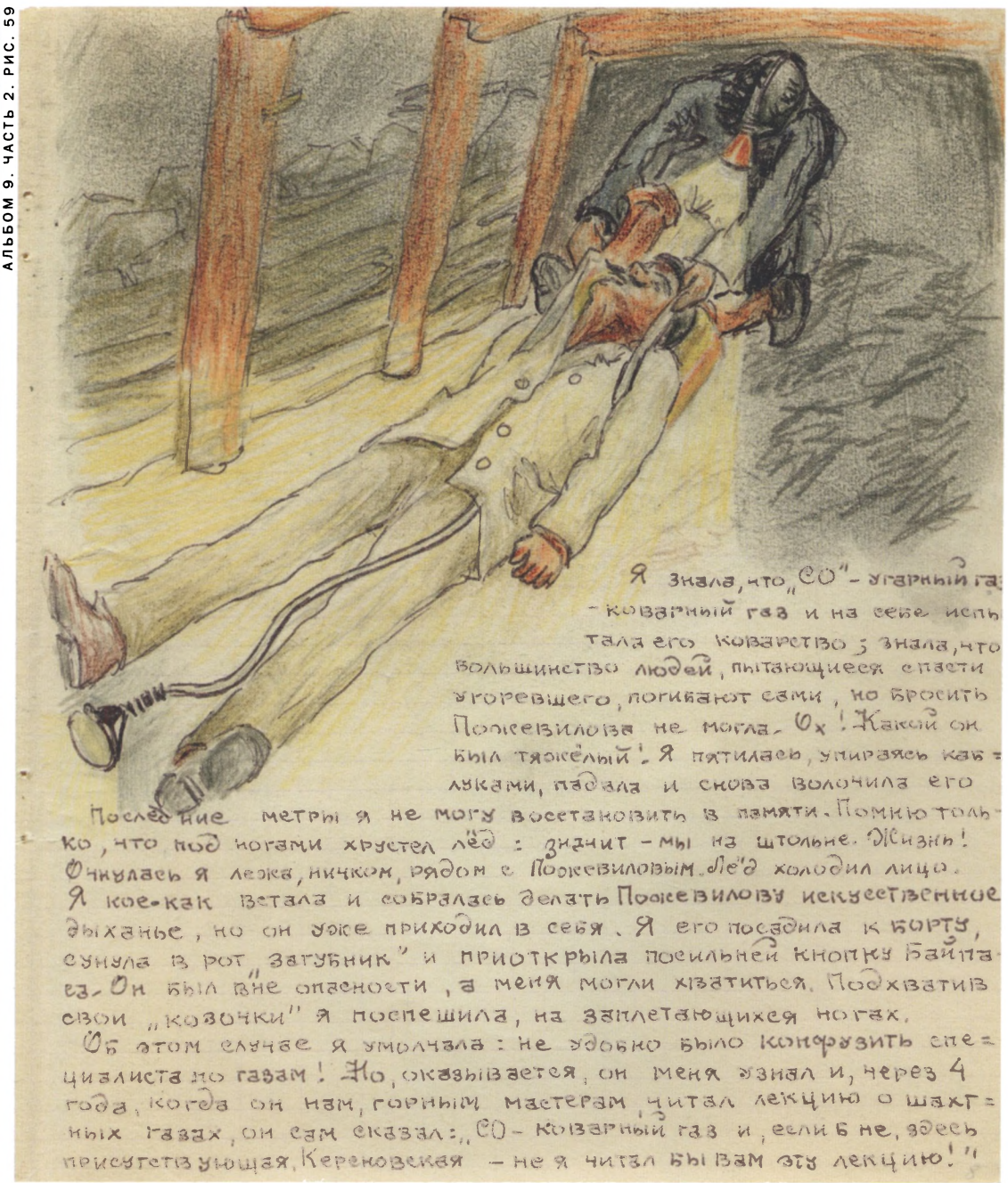
Схватив несколько козочек, я выскочила из загазированного забоя на свежую струю и остановилась. Показалось мне или на самом деле где-то в глубине забоя был свет? Никого там быть не могло, однако... а если кто-то был? Ведь это смерть! И, набрав в легкие воздуха, я ринулась в забой. Да! Там кто-то есть... Несколько шагов — и я у незаконченной перемычки. Кто-то на ней сидит. Перегнулся пополам, уронил руки. Аккумулятор на полу. Все говорит о том, что это труп. Боже мой! Да это Пожевилов, начальник вентиляции — специалист по тушению пожаров. Жив? Мертв? Я его начала тормошить. Он свалился на пол и как будто застонал. Жив! Надо спасать. Но сейчас и я свалюсь. И обоим — смерть. Надо продышаться! Я бегу из забоя. На штольне жадно дышу и снова ныряю в забой. Тут я, вцепившись в лямки респиратора, пячусь задом и волоку его по угольной крошке.



Я знала, что СО, угарный газ, — коварный газ, и на себе испытала его коварство; знала, что большинство людей, пытающихся спасти угоревшего, погибают сами, но бросить Пожевилова не могла. Ох! Какой он был тяжелый! Я пятилась, упираясь каблуками, падала и снова волочила его. Последние метры я не могу восстановить в памяти. Помню только, что под ногами хрустел лед: значит, мы на штольне. Жизнь!

Очнулась я, лежа ничком рядом с Пожевиловым. Лед холодил лицо. Я кое-как встала и собралась делать Пожевилову искусственное дыханье, но он уже приходил в себя. Я его посадила к борту, сунула в рот загубник и приоткрыла посильней кнопку Байпаса*. Он был вне опасности, а меня могли хватиться. Подхватив свои козочки, я поспешила на заплетающихся ногах.

* Байпас (*англ. bypass — обход*) — в различного рода реле (кнопках, переключателях) коммутирует цепь питания исполняющего устройства независимо от состояния ключа реле.



Об этом случае я умолчала: неудобно было конфузить специалиста по газам! Но, оказывается, он меня узнал и через 4 года, когда он нам, горным мастерам, читал лекцию о шахтных газах, он сам сказал:
— СО — коварный газ, и, если б не здесь присутствующая Керсновская, не я читал бы вам эту лекцию!

В этот день все шло своим чередом. Забой был готов к отпалке. Я побежала на бремсберг, вызвала взрывника и, наложив на затяжку глиняных пыжей, быстро зашагала назад.

Я остановилась как вкопанная: ведь только что, когда я пошла за глиной, все было безмятежно-спокойно, а теперь? Картина была ошеломляющая: угроза неминуемого обвала была несомненной. О том, чтобы спасаться — это и в голову мне не пришло. В одно мгновение в голове пронеслось несколько вариантов. Телефон на бремсберге. Добежать туда, сообщить диспетчеру — пусть он решает?

Но там, на первом пласту, работает вся наша смена — 30 человек... Если это сопряжение* рухнет, они будут отрезаны, а может, и засыпаны в лаве. Будут отрезаны еще три участка. От телефона я не успею вернуться. Значит, надо спешить в лаву, выводить людей. Крепежный лес есть. Можно подхватить кровлю. Удержать это сопряжение! Бегу...

* Сопряжение — перекресток штрека с откаточной штольней. Штрек — самая главная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность. Штольня — горизонтальная выработка, имеющая выход на земную поверхность и предназначенная для обслуживания подземных работ.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 59 (ФРАГМЕНТ) ◀

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 60

Гезенк — выработка вентиляционная, по ней не принято путешествовать с одного пласта на другой. Но каждая секунда дорога! Одним духом — и я в лаве. Спокойно, чтоб не вызвать паники, подхожу к Васе Сидоркину* и предупреждаю: «Выводи всех людей с крепежным инструментом на сопряжение 123-го штрека: там угрожает обвал». Весть показалась ему до того неправдоподобной, что он не поверил: «Что ты мелешь? Там никакого давления нет!» — И он пошел по трапу. Даже не очень спеша. Но, когда увидел, то растерялся.

* В. Сидоркин – горный мастер участка № 8 шахты 15.

Не могу строго судить Сидоркина! Откуда было ему знать, что у северного склона Шмидтиха дала трещину и внезапно увеличилось горное давление? Сидоркин бросился на бремсберг, позвал двух лесогонов, и они приволокли три бревна.

К счастью, в моем забое был весь необходимый инструмент. Я все сгребла и приволокла его и даже успела взять приямок* в самом опасном месте. Пока они втроем подхватывали кровлю, я опять по гезенку вознеслась на первый пласт, вывела всех людей на помощь Сидоркину и бегом помчалась к телефону. Диспетчер тоже сперва не поверил, что может произойти такой фокус. По счастью, диспетчер Ананьев знал меня хорошо и, несмотря на неправдоподобие такого сообщения, он позвонил на те три участка, что были дальше нашего, и вывел из них людей.

* Приямок — маленький отстойник в забое, куда стекает вода и куда опускают нижний конец всасывающей трубы насоса.

Не могу строго судить Сидоркина! Откуда было ему знать, что у северного склона „Шмитиха" дала трещину и, внезапно, увеличилось горное давление? Сидоркин бросился на бремсберг, позвал двух лесогонов и они приволокли три бревна.

К счастью, в моём забое был весь необходимый инструмент. Я все сгребла и приволокла его и даже успела взять приямок в самом опасном месте. Пока они, втроём, подхватывали кровлю я, опять, по гезенку „вознеслась" на I пласт, вывела всех людей на помощь Сидоркину и, бегом, помчалась к телефону. Диспетчер тоже сперва не поверил, что может произойти такой фокус. По счастью, диспетчер – Ананьев – знал меня хорошо и, несмотря на неправдоподобие такого сообщения, он позвонил на те 3 участка, что были дальше нашего и вывел из них людей.

Были приняты меры: целую неделю шла борьба с „горным давлением" и обвала не произошло.

Но... результата моего „героизма" мне не суждено было увидеть: всех эвакуации перевели в 7%. Свою „Лебединую Песню" я спела.

Были приняты меры: целую неделю шла борьба с горным давлением и обвала не произошло.

Но результата моего героизма мне не суждено было увидеть: всех женщин перевели в 7-е л/о*. Свою лебединую песню я спела.

* Л/о – лагерное отделение.

Пока Сидоркин с лесогонами подносил крепежный лес, я из своего забоя притащила весь свой инструмент и даже взяла приямок в самом опасном месте.

Не думала я, что это будет моей лебединой песней на шахте! Но шахта напомнила о себе и в 7-м л/о. В том году впервые отмечался День шахтера. Отмечался он торжественно. На каждом участке отмечали шахтера, наиболее заслуженного. От 8-го участка выступил Сидоркин: «Наибольшая заслуга на нашем участке у шахтера, которого среди нас нет. Это Керсновская». И он рассказал о том, как была предотвращена крупная авария.

Поздней осенью как-то ночью меня вызвали в штаб 7-го л/о. Обычно такой вызов ничего хорошего не сулит. И я оделась потеплее. Так встретилась я в первый (но не в последний) раз с Кирпиченко — заместителем начальника 7-го л/о, который возненавидел меня с первого взгляда.

Пока Сидоркин, с лесогонами подносил крепёжный лес, я, из своего забоя, притащила весь свой инструмент и даже „взяла приямок" в самом опасном месте.
Не думала я что это будет моей „Лебединой Песней" на шахте! Но шахта напомнила о себе и в 7 %. В том году, впервые отмечался „День шахтёра". Отмечался он торжественно. На каждом участке отмечали шахтёра, наиболее заслуженного. От 8-го участка выступил Сидоркин: „Наибольшая заслуга, на нашем участке у шахтёра, которого, среди нас нет. Это-Керсновская" и он рассказал о том, как была предотвращена крупная авария.
Поздней осенью, как-то ночью, меня вызвали в „штаб" 7 %. Обычно, такой вызов ничего хорошего не сулит. И я оделась потеплее. Так встретилась я в первый (но-не в последний) раз с Кирпиченко - зам.нач 7 %, который возненавидел меня „с первого взгляда". Шахта меня вспомнила. Мне прислали благодарность и премию - 100 р.
„Благодарность", впрочем, он отобрал, а премию - вообще не дал. Но разве это важно? Моя шахта помнит меня....

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 63

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 63 (ФРАГМЕНТ) ▼

Шахта меня вспомнила. Мне прислали благодарность и премию — сто рублей.

Благодарность, впрочем, он отобрал, а премию вообще не дал. Но разве это важно? Моя шахта помнит меня...

Как много унизительного во всех этих инвентаризациях, шмонах! А этап? Это всегда предлог для законного грабежа! Все, что нравится дежурнячкам, они присваивают. Предлог всегда найдется!

Какое это счастье — сон! Я сплю... И нет для меня ни тюрьмы, ни лагеря...

Я снова в Цепилове. Вокруг меня шумят дубы. Где-то скрипит колодезный журавль. Ржет кобылица; ей отвечает звонко жеребенок. Ветер колышет душистые листья ореха. И где-то рядом отец, мать...

Но... почему так холодно? Я открываю глаза: я не в Цепилове. Я — в этапном бараке, на полу.

Лично для меня изгнание из шахты было тяжелым ударом… В седьмом лаготделении работы для нас не было, а не работать мы не имели права. Отсюда — нелепый, почти сизифов труд. Нет ничего удивительного в том, что когда нарядчица однажды объявила о моем переводе в ЦБЛ, то я обрадовалась…

Масяиха — феодальная властительница всех уркачек 7-го л/о — повадилась приходить по вторникам к своему любовнику. Бесстыдству ее не было границ, но никто не мог осмелиться ей воспрепятствовать: «жены» всех врачей и санитаров жили в 7-й зоне, а Масяиха не знала жалости, и месть ее была бы ужасной. Не пустить ее поручили мне. Я знала, чем это угрожает мне, но Масяиха к своему любовнику не прошла.

Ярость ее не знала границ и не предвещала мне ничего хорошего. Я знала, что меня ждет жестокая расплата. Об этом же меня предупредила уркачка Верка Богданова. Она же мне дала совет: «Береги лицо, особенно глаза, и постарайся упасть ничком в глубокий снег».

„Масяиха" – феодальная властительница всех уркачек" 7го л/о повадилась приходить по вторникам к своему любовнику. Бесстыдству ея – не было границ, но никто не мог осмелиться ей воспрепятствовать: „жёны" всех врачей и санитаров жили в 7ой зоне, а „Масяиха" – не знала жалости и месть ея была бы ужасной. „Не пустить" ее" поручили мне. Я знала, чем это угрожает мне, но... „Масяиха", к своему любовнику, не прошла... Ярость ея не знала границ и не предвещала мне ничего хорошего. Я знала, что меня ждёт жестокая расплата. Об этом же меня предупредила уркачка-Верка Богданова. Она же мне дала совет: Береги лицо – особенно глаза и постарайся упасть ничком, в глубокий снег.

— Э! Да вас совсем немного — семеро на одного! Кликнули б еще хоть с полдюжины на подмогу!

Кто нанес первый удар и кто командовал — я не разобрала. Они ринулись все сразу, и удары железных кочережек посыпались градом. Я рванулась вперед, пытаясь вырвать из рук какой-то жучки железный прут. Затем, под градом ударов, я упала ничком в снег, закрывая руками голову. Действовала ли я инстинктивно? Было ли это случайно? Или я поступила так, как мне советовала Верка Богданова? Не знаю...

Чего только не наговорил мне Кирпиченко! И улещал («Мы, де, всегда на стороне интеллигентного...»), и обещал («Того, кто нам доверится, мы всегда защитим»), но больше всего — запугивал и угрожал: «Это, мол, лишь начало! На этом они не успокоятся!» Или, наоборот, обрушивался всем своим гневом на меня: «Ты из их шайки! Ты их покрываешь! Мы на вас всех управу найдем!» Я продолжала настаивать на своем: «Я оступилась на наледи, у колонки, и расшиблась о железную трубу».

...Как-то подошла ко мне Верка Богданова:

— Ты молодец, Фрося! Не дрогнула, на помощь не звала. Никакого шухера. Теперь лады: ты у нас в законе.

— Для меня закон — это то, что совесть велит.

— И все же ты молодец, Фрося! Наша жизнь — воровская. Постыдная. Но и у нас совесть есть. Мы не достойны твоего уважения. Но тебя мы уважаем! И в обиду не дадим!

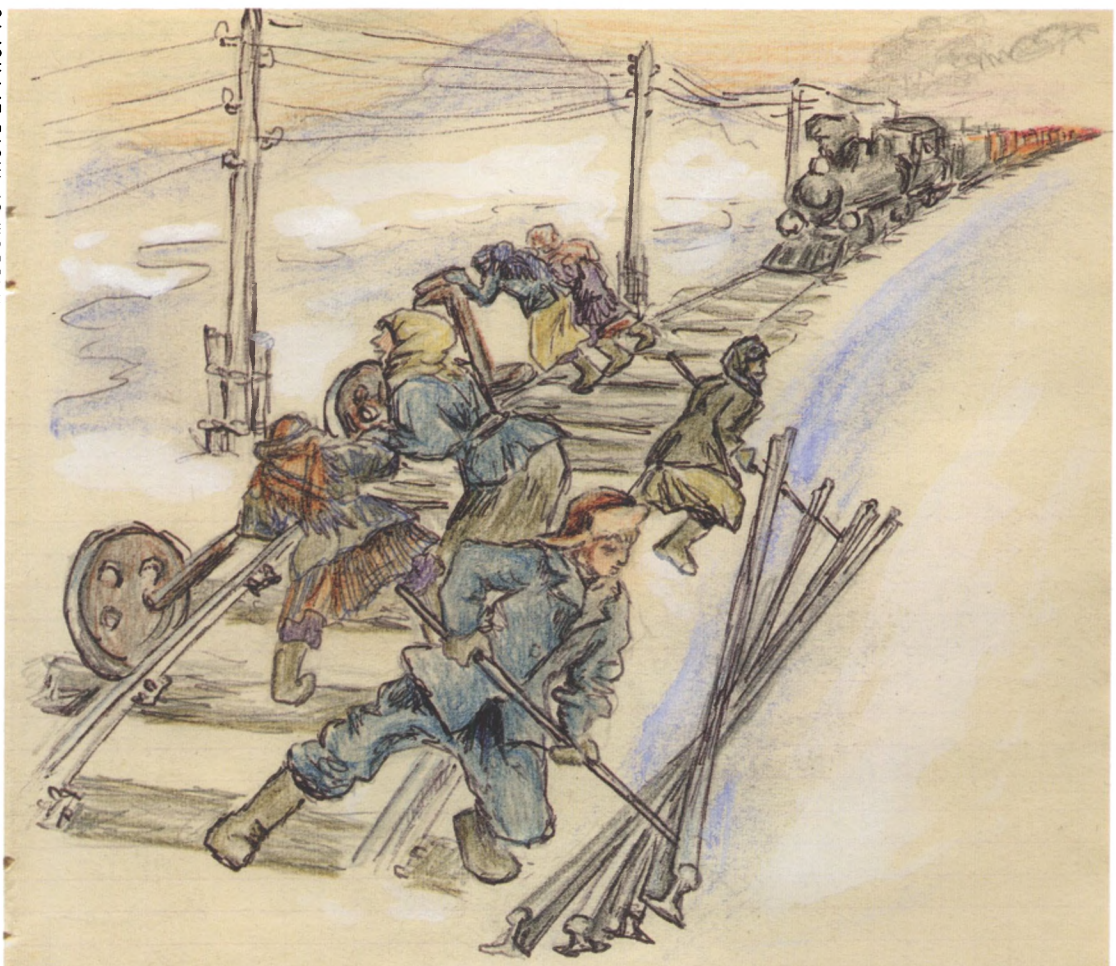
АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 68 (ФРАГМЕНТ) ▼

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 68

Я попала в бригаду, расчищающую железнодорожные пути, также нужно было устанавливать и переносить щиты.

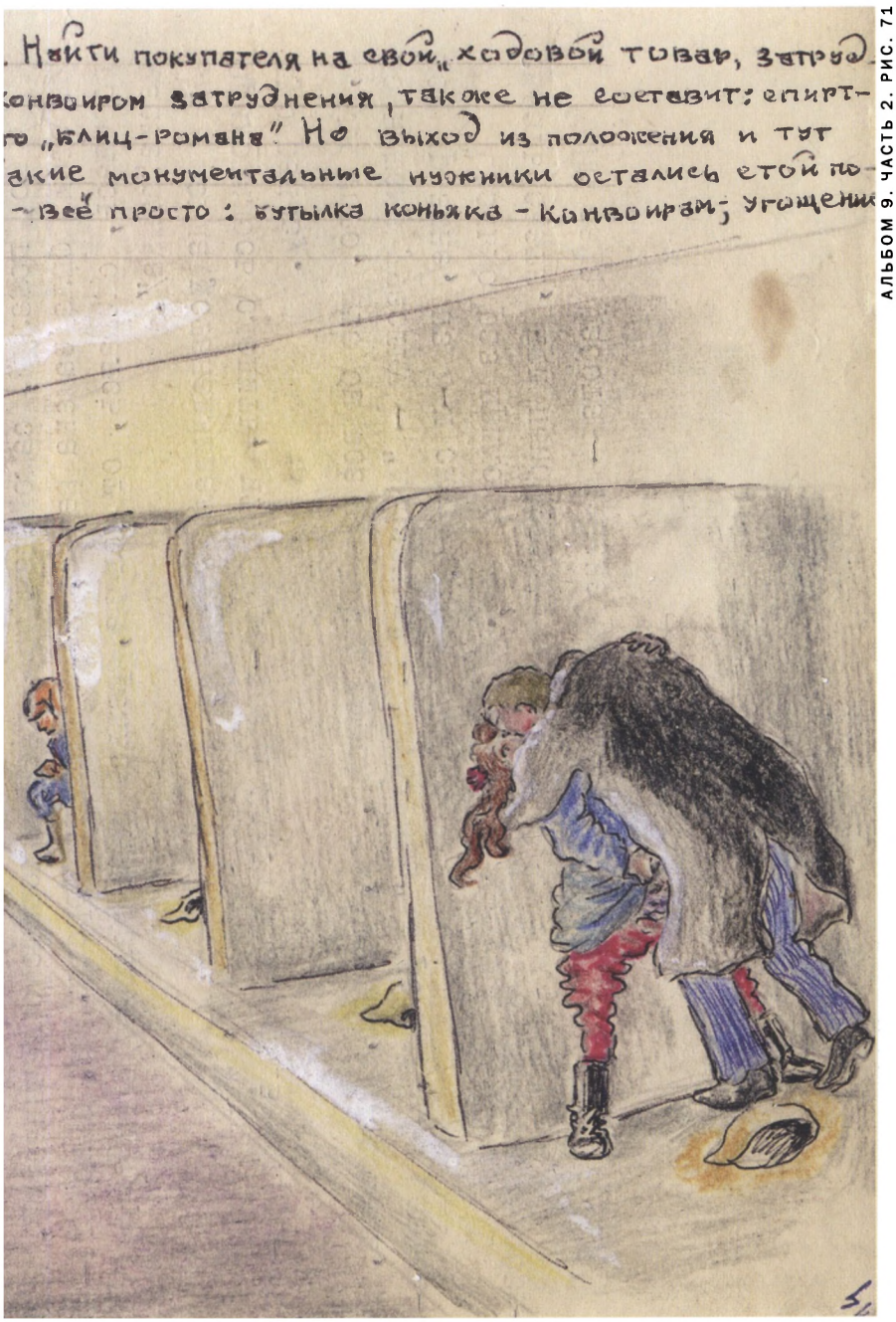
Это была неблагодарная работа: в любую непогоду, без актированных дней... До места работы, в оба конца, до 20 [километров]. И нормы были просто нелепые.

В этом году зима 1951–1952 года была даже для Норильска небывало холодная. Морозы доходили (считая с ветром) до минус 74 градусов. Свинец от удара рассыпался порошком, а железнодорожные рельсы разрывались от мороза, и дефекты доходили да 35–40 см. В нашу обязанность входило заменять разорванные рельсы. Вот это была работешка! От станции Амбарной до Зуб-Горы — это наш участок — 5 км. Случалось, что по три раза приходилось второпях сгружать рельсы, сбрасывать под откос скаты перед надвигающимся составом, а затем подымать скаты и грузить рельсы. А забивать костыли в промерзшую шпалу?



В этом году зима 1951/52 года была даже для Норильска небывало холодная. Морозы доходили (считая с ветром) до -74°. Свинец от удара рассыпался порошком, а железнодорожные рельсы... разрывались от мороза и дефекты доходили до 35-40 см. В нашу обязанность входило заменять разорванные рельсы. Вот это была работёшка!" От станции Амбарной до "Зуб-Горы" - это наш участок - 5 км. Случалось, что по 3 раза приходилось второпях сгружать рельсы, сбрасывать под откос скаты перед надвигающимся составом, а затем подымать скаты и грузить рельсы. А забивать костыли в промёрзшую шпалу?

В любой бригаде, работающей в городе, всегда найдется одна-две жучки. Найти покупателя на свой «ходовой товар» затруднения не представляет: холостеж ходит табуном. Договориться с конвоиром затруднения также не составит: спиртное в Норильске не проблема. Труднее найти место для такого лагерного блиц-романа. Но выход из положения и тут найти нетрудно: всю бригаду загоняют в «общественную уборную». (Такие монументальные нужники остались с той поры, когда теперешние жилые дома были бараками для зэков.) Дальше — все просто: бутылка коньяка — конвоирам; угощение — барышне, а дальше... Не совсем удобно? Ну, что ж...

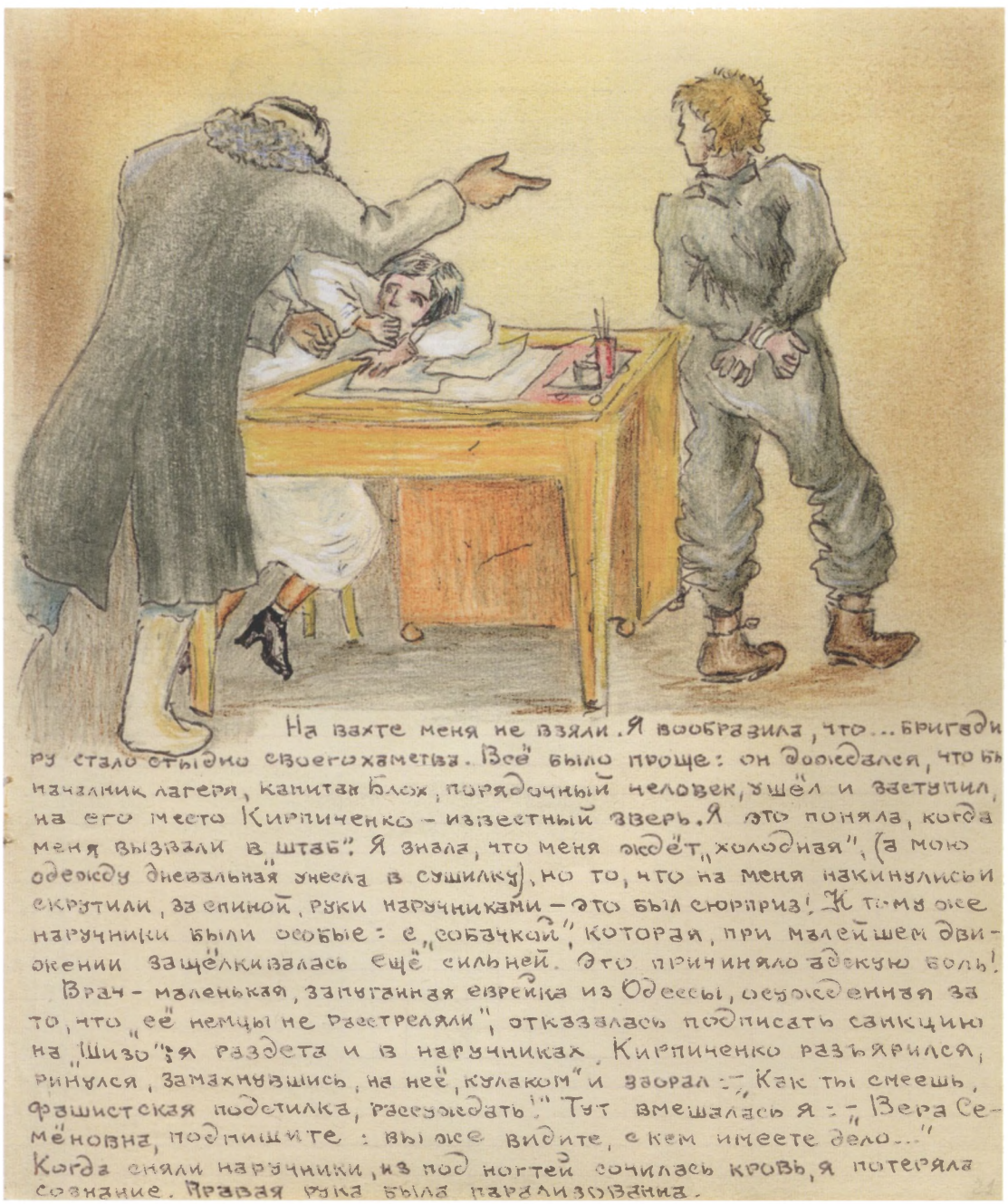

Найти покупателя на свой ходовой товар, затруд
конвоиром затруднения, также не составит: спирт-
го „блиц-романа" Но выход из положения и тут
акие монументальные нужники остались етой по-
- всё просто: бутылка коньяка - конвоиру; угощени

Наш рабочий день кончался по гудку ТЭЦ. Я не опоздала: гудок еще гудел, когда я переступила порог обогревалки. Вся смена была уже там. Может быть, уже давно. Я не могла бросить свою работу: я подтягивала гайки на накладках. Их ставили в сильный мороз, и теперь они ослабли.

Бригадир, может быть, рассчитывал уйти раньше. Он решил сорвать зло на мне и бросил мне грязное оскорбление: «Что, никак с ебарем не расстанешься, блядь?» Моя реакция была обычная: кулак по-прежнему шахтерский, и фара на глазу вольного бригадира получилась эффектная. В драку он не полез. Может быть, оттого, что в моей руке была железная «лапа». А может — конвоир не позволил.

На вахте меня не взяли. Я вообразила, что бригадиру стало стыдно своего хамства. Все было проще: он дождался, чтобы начальник лагеря капитан Блох, порядочный человек, ушел и заступил на его место Кирпиченко — известный зверь. Я это поняла, когда меня вызвали в штаб. Я знала, что меня ждет холодная (а мою одежду дневальная отнесла в сушилку), но то, что на меня накинулись и скрутили за спиной руки наручниками, — это был сюрприз! К тому же наручники были особые: с «собачкой», которая при малейшем движении защелкивалась еще сильней. Это причиняло адскую боль!

Врач* — маленькая, запуганная еврейка из Одессы, осужденная за то, что ее немцы не расстреляли, — отказалась подписать санкцию на ШИЗО: я раздета и в наручниках.



* В.С. Дивинская.

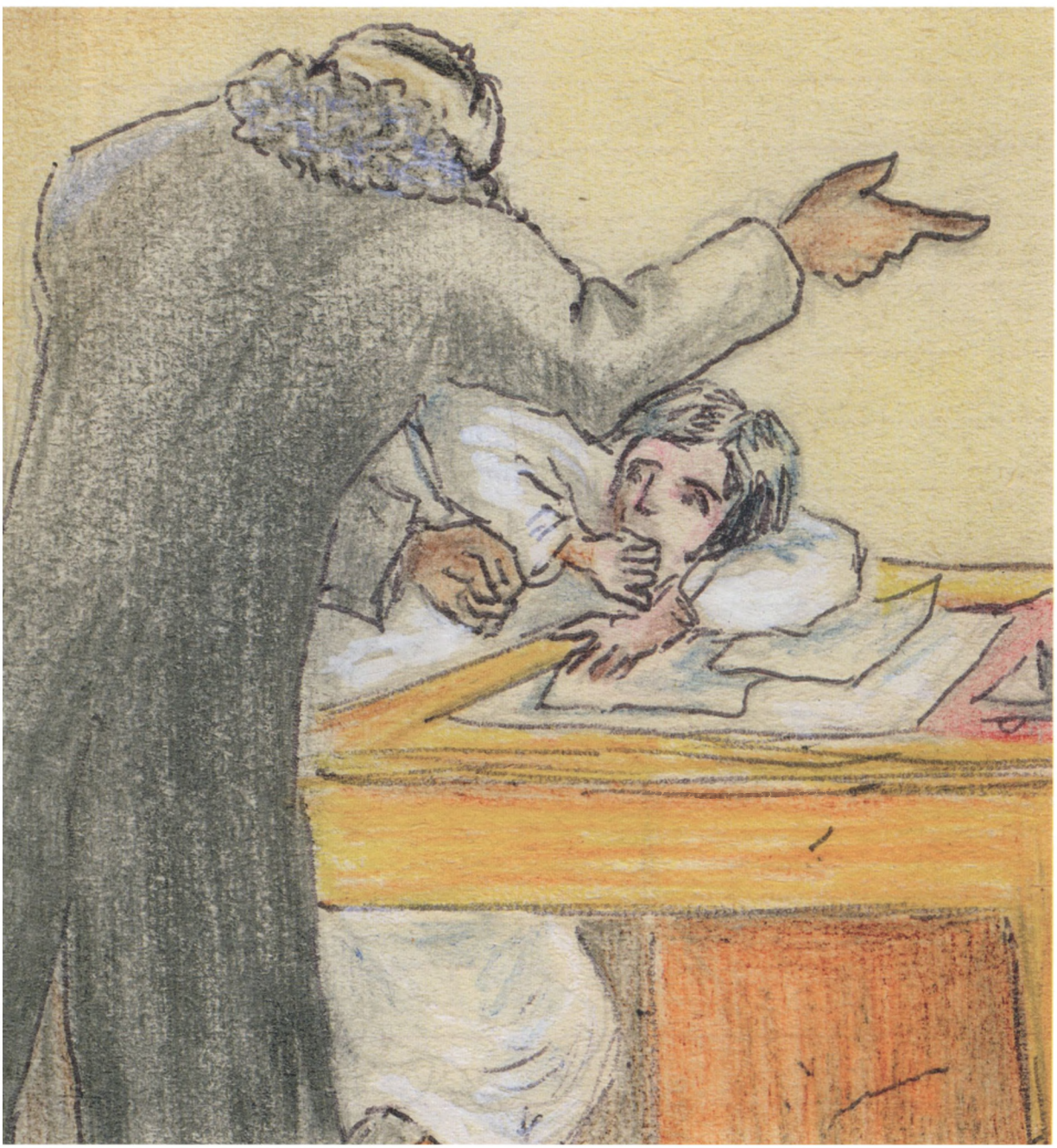
Кирпиченко разъярился, ринулся, замахнувшись на нее кулаком, и заорал:

— Как ты смеешь, фашистская подстилка, рассуждать!

Тут вмешалась я:

— Вера Семеновна, подпишите: вы же видите, с кем имеете дело...

Когда сняли наручники, из-под ногтей сочилась кровь, я потеряла сознание. Правая рука была парализована.



АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 73 (ФРАГМЕНТ)

Меня поместили в одиночку, и я сразу потребовала прокурора. Меня изувечили, даже не выслушав меня. Я не сопротивлялась. Зачем было одевать наручники? Да еще с таким дьявольским усовершенствованием? Если руки скручены за спиной, то с такой «собачкой» это ведет неизбежно к увечью. Я потребовала прокурора и в знак протеста объявила голодовку: как только мне приносили мою пайку или баланду — все это моментально отправлялось в парашу.

Уже на 4-й день мне стало совсем плохо. Сказалось, должно быть, то, что меня очень угнетало то, что обе руки, особенно правая, были парализованы. Левая рука, хоть и слабо, но двигалась, а кисть правой была как из ваты. Забегая вперед, укажу на то, что функция руки через неделю восстановилась, но чувствительность, болевая и тактильная, восстановилась лишь через год.

Меня поместили в одиночку и я сразу потребовала прокурора. Меня изувечили, даже не выслушав меня. Я не сопротивлялась. Зачем было одевать наручники? Да еще с таким дьявольским усовершенствованием? Если руки скручены за спиной, то с такой "собачкой" - это ведет неизбежно к увечью. Я потребовала прокурора и, в знак протеста, объявила голодовку: как только мне приносили мою пайку или баланду - все это моментально отправлялось в парашу. Уже на 4-й день мне стало совсем плохо. Сказалось, должно быть то, что меня очень угнетало то, что обе руки - особенно правая - были парализованы. Левая рука хоть и слабо, но двигалась, а кисть правой была - как из ваты. Забегая вперед, укажу на то, что функция руки, через неделю, восстановилась, но чувствительность - болевая и тактильная - восстановились лишь через год.

Странное происшествие! Дверь вдруг распахнулась, в мою камеру втолкнули девушку. Рухнув головой на койку, она, рыдая, причитала:
— За что издеваются? С детских лет одно страданье! Мать моя — англичанка... Отца посадили в тридцать седьмом... Говорят: мать уехала за границу... Врут палачи! Наверное, и ее убили гады... Мне одиннадцать лет было... Меня-то за что бросили в колонию... Я не отвечаю за родителей! Но я не стыжусь их... О! Это были такие благородные люди!.. — и она билась головой об койку.

Меня тронуло горе этой женщины, и я наклонилась, чтобы ее поднять и утешить. И вдруг... Вдруг я услышала шепот. Ее шепот. Тихий, но ясный:
— Не верь мне: я наседка!

Что это? Я отпрянула... Слуховая галлюцинация? Потустороннее предупреждение?

А девушка продолжала:

— ...но не вечно будет жить тиран? Ведь наступит освобождение?

Но слова «...не верь: я наседка...» воздвигли между нами барьер.

— Сядь, успокойся! Если совесть чиста, то все устроится.

На следующий день ее вызвали. Больше я ее не видела.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 75 (ФРАГМЕНТ) ▲

Странное происшествие! Дверь, вдруг, распахнулась, в мою камеру втолкнули девушку. Рухнув головой на койку, она, рыдая, причитала: „За что издеваются? С детских лет - одно страдание! Мать моя - ви-гличанка... Отца посадили в 37⁰². Говорят: мать лежала заграницу... Врут, гады! Наверное и её убили, гады... Мне 11 лет было... Меня то за что бросили в колонию... Я не отвечаю за родителей! Но я не отвернусь их... О! Это были такие благородные люди!.." И она билась головой об койку. Меня тронуло горе этой женщины, я нагнулась, что-бы её поднять, утешить. И вдруг... Вдруг я услышала шопот-ВЯ шопот. Тихий, но ясный: „Не верьмне: я - наседка!" Что это? Я отпрянула... Слуховая галлюцинация? Потусторонее предупреждение? А девушка продолжала: „... но не вечно бу-дет жить тиран? Ведь наступит освобождение?" Но слова „... не верь: я „наседка"... воздвигли между нами барьер. „Сядь, успокойся! Если совесть чиста, то все устроится." На следующий

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 75

Каждую ночь дежурняки вызывали меня в дежурку и оставляли en tête à tête с тарелкой баранины, тушенной с чесноком, обильно политой жирной подливкой, а к ней румяная франзоль*. Признаюсь, я бы съела гнилые отруби или протухшую свеклу. Испытание было нелегким, но я знала, что не сдамся. Знал это и Кирпиченко. И он явился сам, чтобы уломать меня.

— Чего ты добиваешься, Керсновская? Если мы сочтем нужным, то тебя будут кормить насильно.

— Насилие — ваше оружие.

— ...или ты умрешь.

— Возможно! Это тоже в вашей власти.

— Ты хочешь прокурора? Я тебе дам бумагу. Пиши! Даже если это будет жалоба на меня, я передам!

* Франзоль — французская булка.

Каждую ночь дежурняки вызывали меня в дежурку и оставляли „en tête à tête" с тарелкой баранины, тушёной с чесноком, обильно политой жирной подливкой, а к ней – румяная франзоль. Признаюсь, я бы съела гнилые отруби или протухшую свеклу. Испытание было нелёгким, но... я знала, что не сдамся. Знал это и Кирпиченко. И он явился сам, чтобы уломать меня.
– „Чего ты добиваешься, Керсновская? Если мы сочтём нужным, то тебя будут кормить насильно." – „Насилье – ваше оружие."
– „...или ты умрёшь." – „Возможно! Это – тоже в вашей власти."
„Ты хочешь прокурора? Я тебе дам бумагу. Пиши! Даже если это будет жалоба на меня – я передам!" – „А это и будет жалоба на вас..." Он дал мне бумагу, и я, с трудом, написала, левой рукой, жалобу на Кирпиченко. Но еду я, все равно, не принимала. Впрочем, Кирпиченко моей жалобы не передал. Больше того: он скрыл все от начальника лагеря.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 76

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 76 (ФРАГМЕНТ) ▼

— А это и будет жалоба на вас...

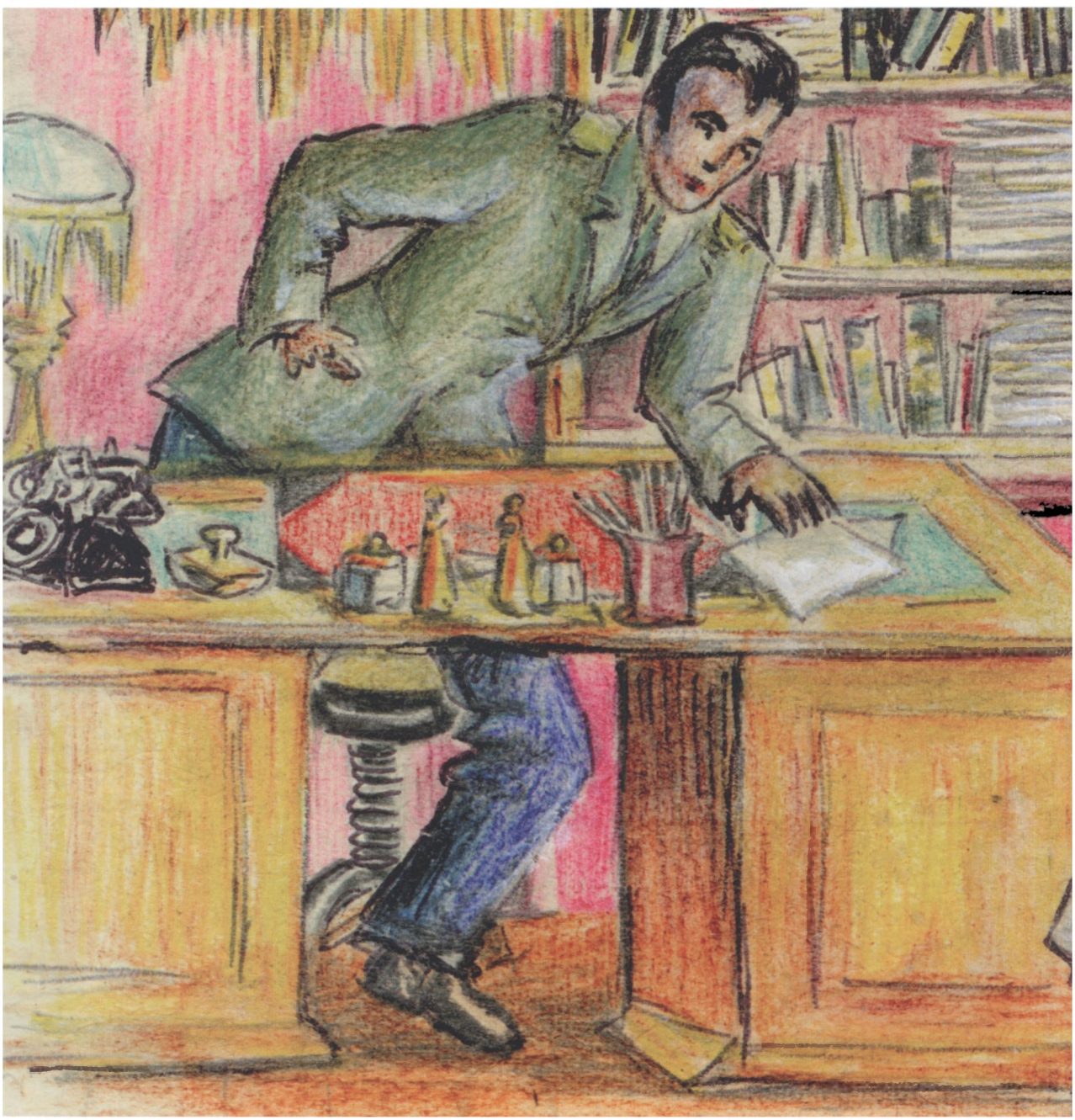
Он дал мне бумагу, и я с трудом написала левой рукой жалобу на Кирпиченко. Но еду я все равно не приняла.

Впрочем, Кирпиченко моей жалобы не передал. Больше того: он скрыл все от начальника лагеря.

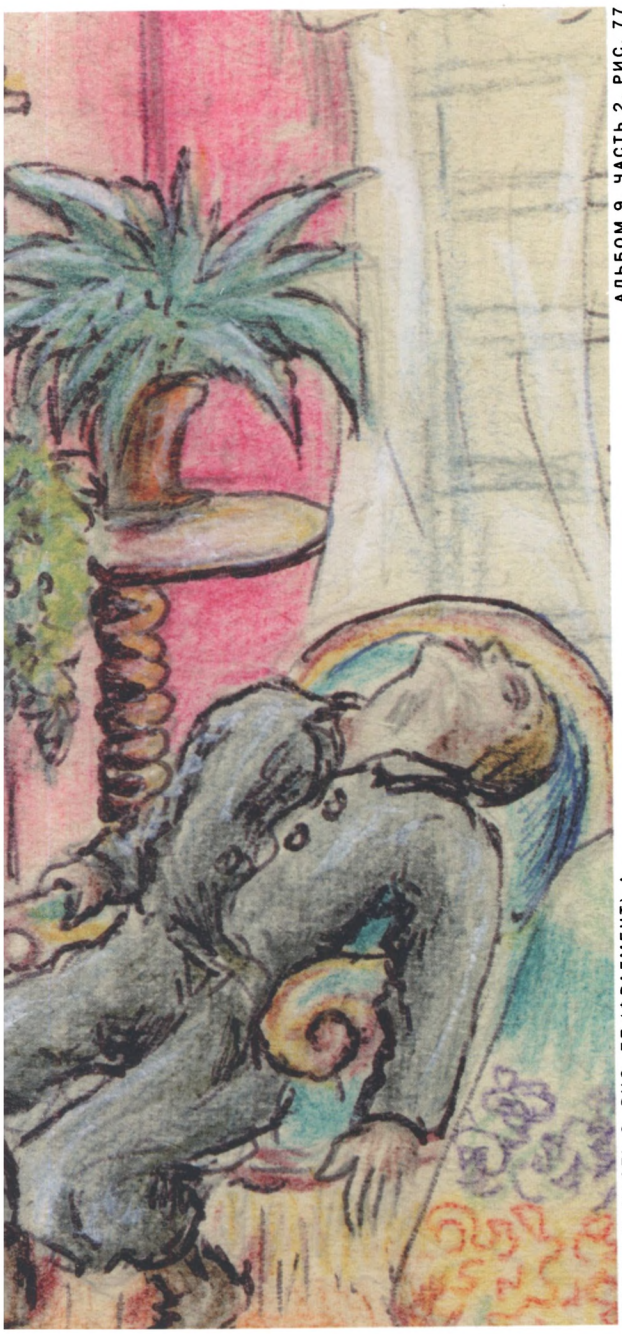
Свет не без добрых людей... Одна моя знакомая, уже успевшая освободиться, узнала, что я голодаю и уже совсем плоха. Она* позвонила майору Коваленко, моему бывшему начальнику шахты 13/15, а тот, в свою очередь, позвонил прокурору, а тот — начальнику 7-го л/о Блоху.

Тот вызвал санчасть и велел послать медсестру — узнать, в каком я состоянии, и, если я могу ходить, доставить в штаб. Сестра испугалась: я была без пульса... Она вкатила мне камфару с кофеином, и я довольно бодро потопала в штаб. Как я ни крепилась, но... Много говорить мне с Блохом не пришлось: он уже успел поговорить с врачом Дивинской и с самим Кирпиченко, которому здорово влетело.

* А.К. Петкун.



Блох сказал, чтобы я отдохнула, поправилась и сама выбрала, где мне работать.
— Я бы хотела грузчиком на Базу ППТ.
— Но это самая тяжелая работа!
— Ничего! Я живуча!



АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 77 (ФРАГМЕНТ) ▲

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 77

Так выглядела, чуть не в самом центре города, База ППТ, то есть База продовольственных и промышленных товаров.

Грузчиками на базе работали исключительно женщины. То, что в колхозах самую тяжелую работу выполняли женщины, это понятно: мужчины там, особенно в военное время, — большая редкость, и занимали они весьма привилегированное положение. В заключении же, особенно в заполярных лагерях, например «Норильском», все как раз наоборот: мужчин там раз в десять больше, чем женщин. Уж для такой тяжелой работы мужчины бы нашлись! Но они безобразно нагло воруют, а еще больше того — портят. Пугать озверевшего от голода мужика трудно и небезопасно. А женщины, особенно девчата-украинки, робкие, покорные, так дорожили этой работой, на которой можно в два-три раза сократить срок заключения, а иногда и поесть чего-нибудь!

— Ох, и дуры вы, девки! Вагон конфет разгрузили и ни одной не попробовали! Да разбейте хоть один ящик! — негодовал конвоир.
— А можно? — наивно спросила Люба.
— Ох, дура! Да ты урони нечаянно углом — он и лопнет.

Люба так и сделала. Ящик разлетелся, и конфеты «Яблочко» покатились во все стороны. Что тут произошло! Мы, вся бригада, кинулись их подбирать и, давясь, набивали ими рот. Комендант метался, размахивая руками, а конвоир хохотал, потешаясь при виде переполоха.

Зато это была не работа, а мечта! Колбасы... Целый сарай бочек, в которых доставляли на Крайний Север колбасы, залитые салом. Надо было вынуть дно, опрокинуть на низкий стол содержимое и, покуда женщины очищали колбасы от сала, «заутаривать» бочки, наполненные уже очищенной колбасой. Затем соштабелевать бочки в три яруса. Сало — в другие бочки.

Тут пригодилось мне знание, приобретенное у Хайма Исаковича, в первом моем лагере Межениновка*.

Чтобы справиться с огромной нормой, надо было нечеловеческое напряжение, но зато можно было поесть досыта колбасы! Пусть один день в три месяца, но быть сытым! Боже мой! Какое это блаженство!

* См. кн. 1, альбом 5, часть 1.

Зато это была — не работа, а ...мечта! Жюлбасы... Целый сарай бочек, в которых доставляли на Крайний Север колбасы, залитые салом. Надо было вынуть дно, опрокинуть на низкий стол содержимое и, покуда женщины очищали колбасы от сала, „заутаривать" бочки, наполненные уже очищенной колбасой. Затем соштабелевать бочки в три яруса. Сало — в другие бочки.

Тут пригодилось мне знание, приобретённое у Хайма Исаковича, в первом моём лагере „Межениновка".

„Что бы справиться с огромной „нормой", надо было нечеловеческое напряжение, но ... зато можно было поесть, досыта, колбасы! Пусть один день в 3 месяца, но быть сытым! Боже мой! Какое это блаженство!

Таскать по трапам океанские ящики — задача и без того трудная, эти ящики весят 114 кг... Но хуже всего это то, что в них — чистый спирт и сто́ит он 2400 руб. И комендант, наблюдающий за работой, непрерывно ноет и причитает. От напряжения в глазах темно, и во рту вкус крови, а тут еще это хныканье... Бедные девочки-хохлуши! Сколько их подорвалось на этой работе! Но это давало зачеты, а следовательно, скорейшую свободу.

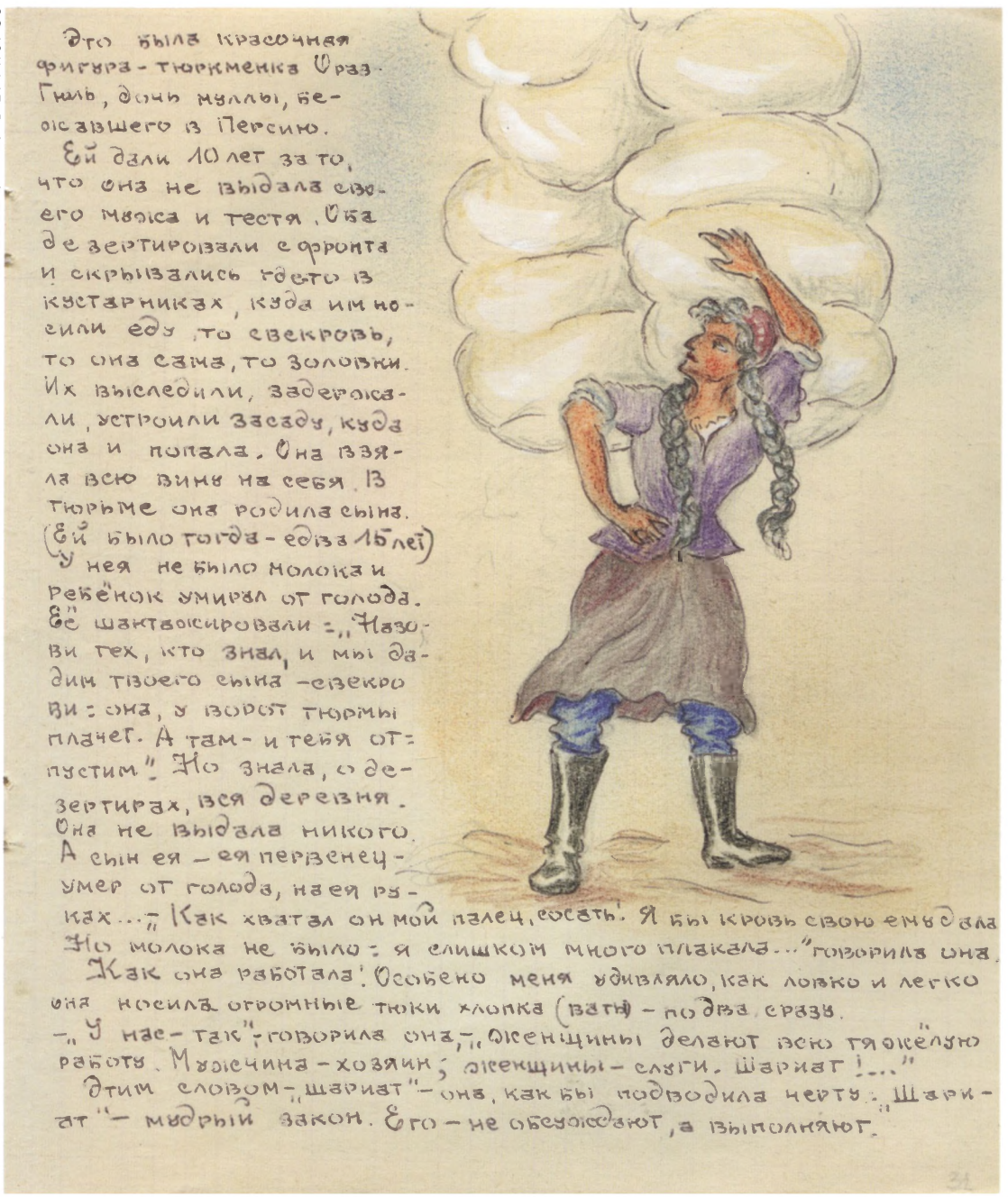
Чаще всего я имела дело с бочками соленой трески и так напрактиковалась, что могла, пользуясь двумя покотами* и одной веревкой, подымать бочки на третий ярус. Большая редкость — это омуль, знаменитый байкальский деликатес. К сожалению, омулевые бочки — очень высокого качества и разбить нечаянно такую бочку очень трудно. Но однажды такая бочка все же была разбита и мы полакомились нежным, прозрачным от жира омулем. Зато треска доставалась нам часто...

* Покот – это две доски, положенные на штабелированные бочки, по которым с помощью веревки катят бочки на следующий ярус.

Это была красочная фигура — туркменка Ораз-Гюль, дочь муллы, бежавшего в Персию.

Ей дали 10 лет за то, что она не выдала своего мужа и тестя. Оба дезертировали с фронта и скрывались где-то в кустарниках, куда им носили еду то свекровь, то она сама, то золовки. Их выследили, задержали, устроили засаду, куда она и попала. Она взяла всю вину на себя. В тюрьме она родила сына. (Ей было тогда едва 15 лет). У нее не было молока, и ребенок умирал от голода. Ее шантажировали: «Назови тех, кто знал, и мы дадим твоего сына свекрови: она у ворот тюрьмы плачет. А там и тебя отпустим». Но знала о дезертирах вся деревня. Она не выдала никого. А сын ее — ее первенец — умер от голода на ее руках...

— Как хватал он мой палец сосать! Я бы кровь свою ему дала. Но молока не было: я слишком много плакала... — говорила она.



Как она работала! Особенно меня удивляло, как ловко и легко она носила огромные тюки хлопка (ваты) — по два сразу.

— У нас так, — говорила она, — женщины делают всю тяжелую работу. Мужчина — хозяин; женщины — слуги. Шариат!

Этим словом «шариат» она как бы подводила черту: шариат — мудрый закон. Его не обсуждают, а выполняют.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 83 (ФРАГМЕНТ)

Ораз-Гюль освобождалась. Она просила пойти с ней, так как была неграмотна. Подавая справку об освобождении, чекист ей сказал:
— Ну вот, теперь ты знаешь, что нельзя скрывать преступников.

Боже мой! Что тут с нею стало! Вскинув голову и сверкнув глазами, она вся подалась вперед, сжав кулаки.
— Меня судили. Мой сын в тюрьме умер! Моя молодость в тюрьме прошла! Десять лет! И десять лет я честно работала. Хорошо работала! Все работала, как надо! Но если бы я продала своего мужа — отца моего ребенка, сына человека, в чьем доме я жила, и женщины, чей хлеб я ела... О! Тогда бы меня надо было убить, как с-с-собаку! Шариат! Ш-ш-шар-р-риат!!!

Чекист чуть не свалился со своей табуретки, и я, схватив Гюль-Ораз за руку, поспешила увести ее на вахту.

АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 84 (ФРАГМЕНТ)

Вот это был взрыв! А ведь до того она смущалась, что-то лепетала чуть слышно, опустив голову...

Ораз-Гюль освободилась. Она просила пойти с ней, т.к была неграмотна. Подавая ей „справку об освобождении", чекист ей сказал: „Ну вот: теперь ты знаешь, что нельзя скрывать преступников". Боже мой! Что тут с нею стало! Вскинув голову и сверкнув глазами, она вся подалась вперёд, сжав кулаки. — Меня судили. Мой сын в тюрьме умер! Моя молодость в тюрьме прошла! Десять лет! И десять лет я честно работала. Хорошо работала! Всё работала, как надо! Но, если бы я продала своего мужа — отца моего ребёнка, сына человека, в чьём доме я ела и ела женщины, ней хлеб я ела... О! тогда меня надо было убить, как с-с-собаку! Шариат! Ш-ш-шар-р-р-р "риат!!!"

Чекист чуть не свалился со своей табуретки и я, схватив Гюль-Ораз за руку, поспешила увести её на вахту.

Вот это был „взрыв"! А ведь до того она смущалась, что-то лепетала чуть слышно, опустив голову...

По зачетам я освободилась в августе 1952 года (календарно должна была — лишь в июне 1954 года). Но меня не выпустили: решено было меня отправить в ссылку, в Нарымские болота — туда, откуда я бежала в феврале 1942 года. Ждали попутный конвой. Два месяца я была вольной-невольной. Работала в зоне от скуки.

Однажды приехал в Норильск какой-то генерал — инспектировал лагеря. В секции, когда он вошел, я была одна.

— Кто разрешил заключенной рисовать? — спросил он.

— Я уже два месяца как срок закончила... — и по его просьбе рассказала о себе все: и про побег, и про вторую судимость. Выслушав, он ушел, но от дверей вернулся.

— Покажите все же, что вы нарисовали?

Я как раз закончила копию с картины «Василий Теркин — отдых после боя»*.

— Вот это здорово! Ох, как хорошо! — пришел неожиданно в восторг генерал.

— Если Вам нравится, возьмите себе, — пожала я плечами.

— А Вам не жалко?

— А я и себе нарисую.

Сворачивая «Теркина», генерал пристально смотрел на меня. Назавтра меня вызвали «на волю».

* Картина Ю.М. Непринцева «Отдых после боя» (1951).

Мои первые шаги в свободу... Встретила меня пурга. Первая пурга этого года. Она швыряла мне в лицо снег, похожий на толченое стекло. Впереди — полная неизвестность: мне некуда приткнуться.

Но я рада. Мне всегда было нелегко. И выйти мне было нелегко. Дело в том, что, когда покончили со всеми формальностями, мне дали на подпись еще одну бумажку, о том, что я забуду обо всех тех, кто там остался, и никогда не буду говорить о том, что там видела и пережила. Я возмутилась.

— Там остаются люди, которых я ценю и уважаю. А молчать? Как это понимать? Лгать — я никогда не лгала и лгать не собираюсь. А говорить правду не только можно, но — нужно.

— Но это просто формальность...

— Подпись — это мое честное слово. И человек сто́ит столько, сколько его слово. Или — подпись.

Мои первые шаги в свободу"... Встретила меня пурга. Первая пурга этого года. Она "швыряла мне в лицо снег, похожий на толченое стекло. Впереди - полная неизвестность: мне некуда приткнуться. Но я рада. Мне - всегда было нелегко. И выйти мне было нелегко. Дело в том, что, когда покончили со всеми формальностями, мне дали на подпись еще одну бумажку... о том, что я забуду о всех тех, кто там остался и никогда не буду говорить о том, что там видела и пережила. Я возмутилась. - „Там остаются люди, которых я ценю и уважаю. А молчать? Как это понимать? Лгать - я никогда не лгала и лгать не собираюсь. А говорить правду - не только можно, но - нужно" - „Но это - просто формальность..." - „Подпись - это мое честное слово. И человек стоит столько, сколько его слово. Или - подпись."

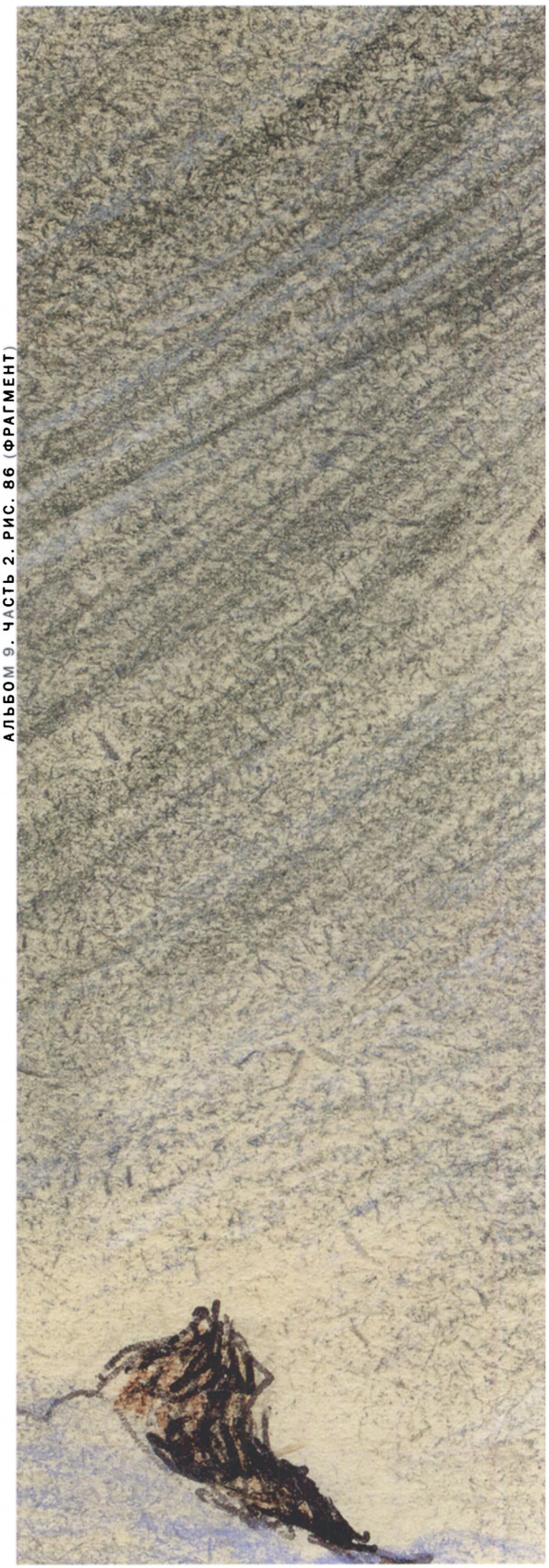
И меня отвели обратно в зону.

Впрочем, на следующий день, все же выпустили. И - без денег. У меня - за все, про все - было 40 р. (старых). С 1950-го года лагерь был „на хозрасчете". Т.е. нам начисляли зарплату (мизерную). Из нее удерживали „за питье" (гарантию), а из оставшегося (а много ли остается?) половину - на руки, а половина - в „фонд освобождения" (для инвалидов). Освобождаясь, можно написать начальнику просьбу на часть „своих" денег, из фонда. У меня там было около 3 тысяч, я отказалась.

И меня отвели обратно в зону.

Впрочем, на следующий день все же выпустили. И — без денег.

У меня — за все про все — было 40 рублей (старых). С 1950 года лагерь был на хозрасчете. То есть нам начисляли зарплату (мизерную). Из нее удерживали за питание («гарантию»), а из оставшегося (а много ли остается?) — половину на руки, а половину — в фонд освобождения (для инвалидов). Освобождаясь, можно написать начальнику просьбу на часть своих денег из фонда. У меня там было около трех тысяч. Я отказалась.



АЛЬБОМ 9. ЧАСТЬ 2. РИС. 86 (ФРАГМЕНТ)

Альбом 10
октябрь 1952 — июль 1956

Благодаря зачетам, введенным в Норильском лагере в 1950 году, Евфросиния освободилась раньше на два года — в 1952-м, а не в 1954 году. Она являлась ссыльной, имеющей ограничение в правах на 5 лет.

Евфросиния была знакома с шахтой с 1947 года, работала там почти шесть лет и, освободившись, пошла устраиваться именно туда. Женщин на шахты не брали, но ее бывший начальник Коваленко рекомендовал ее в отделе кадров как отличного работника. Ее взяли скрейперистом (скрейпер — землеройно-транспортная машина) на самый низкий оклад, так как у ссыльных не было никаких прав. Ей было негде жить, между сменами она спала в раздевалке бани, но вскоре получила место в общежитии.

В 15-й шахте Евфросиния проработала семь с половиной лет до выхода на пенсию.

Наиболее грамотных и способных шахтеров посылали на курсы горных мастеров. Получив диплом с отличием, Евфросиния вернулась в шахту в роли помощника начальника участка. Она стала инженерно-техническим работником (ИТР). Ее подчиненными были каторжане, бывшие военнопленные, которых по окончании Второй мировой войны судили за попадание в плен как за измену Родине и отправляли в особые (специальные) лагеря с каторжным, суровым режимом. Они хорошо знали шахтерское дело, потому что в немецком плену работали в угольных шахтах. Фрося, как могла, помогала им, покупала для них продукты, телеграфом пересылала деньги их семьям. Но она не могла приписывать невыполненные работы, чтобы бухгалтерия заплатила больше, чем было заработано, для этого надо было лгать, а она сообщала только правду... И, конечно же, она не снабжала своих подчиненных спиртом, как делали все остальные начальники.

После смерти Сталина 5 марта 1953 года стали происходить изменения в стране. Двадцатый съезд КПСС, состоявшийся в Москве в феврале 1956 года, осудил культ личности Сталина.

Массовый пересмотр дел необоснованно репрессированных приводил к их досрочному освобождению. Норильский исправительно-трудовой лагерь с сентября 1956 года ликвидировали. Каторжан в шахте заменили вольнонаемными. Это были демобилизованные воины (в армии солдат не демобилизовывали, пока они не завербовывались на три года в Заполярье) и «энтузиасты»-комсомольцы. Такими подчиненными Евфросинии руководить было значительно труднее, чем каторжанами, так же как и работать с новыми начальниками-вольнонаемными.

Из-за отсутствия дешевой рабочей силы — каторжан — консервировали шахты, и оставшиеся без дела начальники искали себе места. На место Евфросинии назначили начальника участка с законсервированной шахты. Она могла оспаривать это решение или пойти на более легкую работу скрейпериста. Но она выбрала другой путь: увидев, что в производственной цепочке образовалось пустое звено, так как никто из «энтузиастов» не хочет бурить, она решила доказать, что этой профессией может овладеть и женщина, и стала бурильщиком. Новички последовали ее примеру. Бурению она обучила нескольких человек. Все же это была самая тяжелая из всех работ, которые ей приходилось выполнять в шахте.

После гибели горного мастера Аржбы, которому оставался один день до поездки на родину в Грузию, где он не был 15 лет, Евфросиния решила, что это несправедливо — умереть, не побывав на материке. У семьи Грязневых был дом в Ессентуках, на Северном Кавказе, и Евфросиния приняла приглашение провести там отпуск.

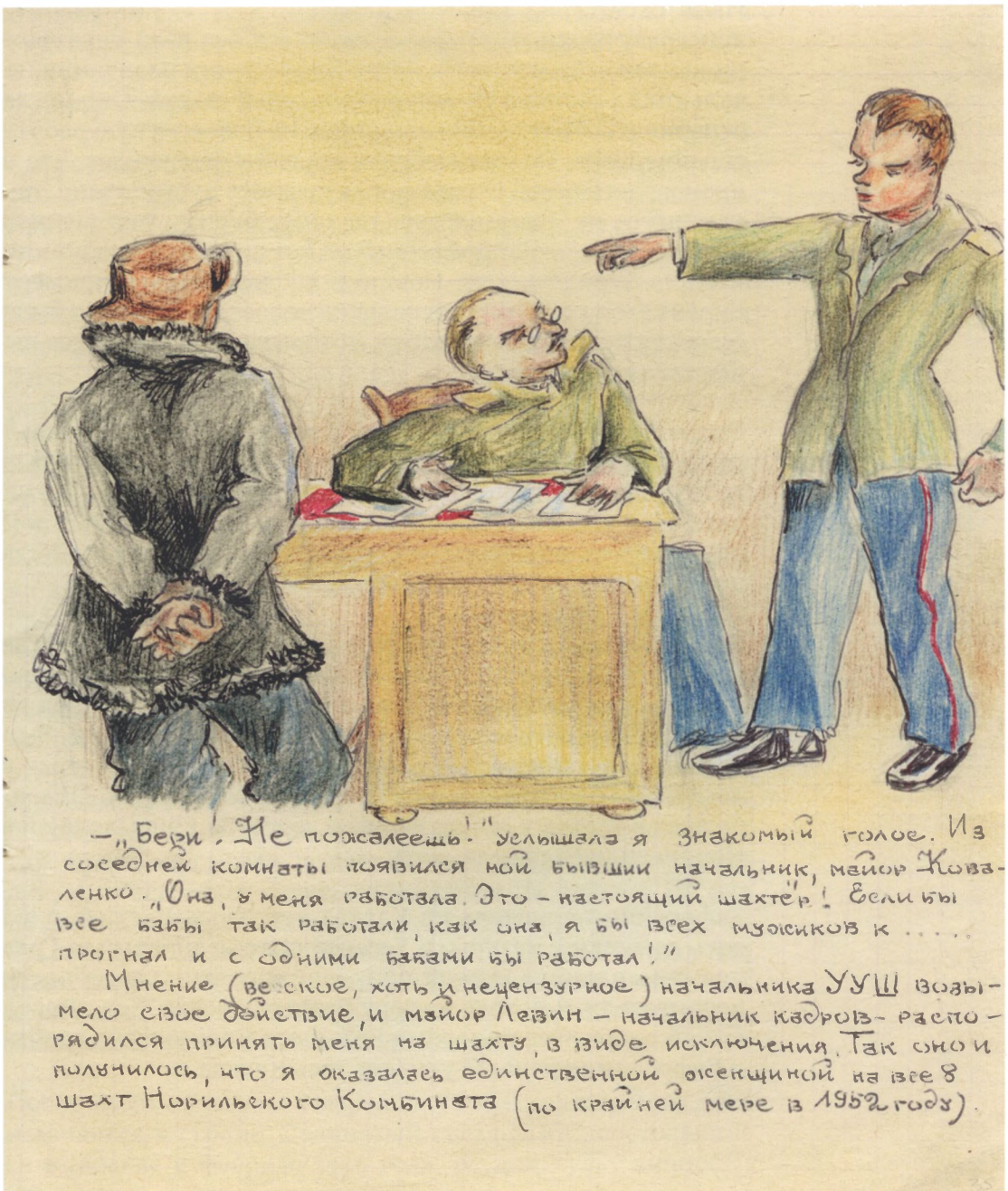
Самолет с посадкой в Ухте летел до Сыктывкара. Приехав в Москву, Евфросиния посетила Третьяковскую галерею, половина залов которой была в то время отведена под героику революции, колхозов и Второй мировой войны. Бывший норильчанин Дмоховский, с которым она работала в лагерном морге, показал ей Старый Арбат и ВДНХ. Она побывала в гостях у Миры Барской, которая присылала ей в Норильск масляные краски.

Евфросиния приехала на Кавказ, где впервые стала рисовать пейзажи с натуры. В Ессентуках она знакомила Грязневых-младших с южной природой, проявив способности воспитателя. В походе на гору Развалку возле Железноводска ей открылась панорама Большого Кавказского хребта, и Евфросиния решила увидеть весь Кавказ.

— Бери! Не пожалеешь! — услышала я знакомый голос. Из соседней комнаты появился мой бывший начальник майор Коваленко. — Она у меня работала. Это — настоящий шахтер! Если бы все бабы так работали, как она, я бы всех мужиков к… прогнал и с одними бабами работал!

Мнение (веское, хотя и нецензурное) начальника УУШ* возымело свое действие, и майор Левин — начальник **отдела** кадров — распорядился принять меня на шахту в виде исключения. Так оно и получилось, что я оказалась единственной женщиной на все 8 шахт Норильского комбината (по крайней мере, в 1952 году).

* УУШ – управление угольных шахт.

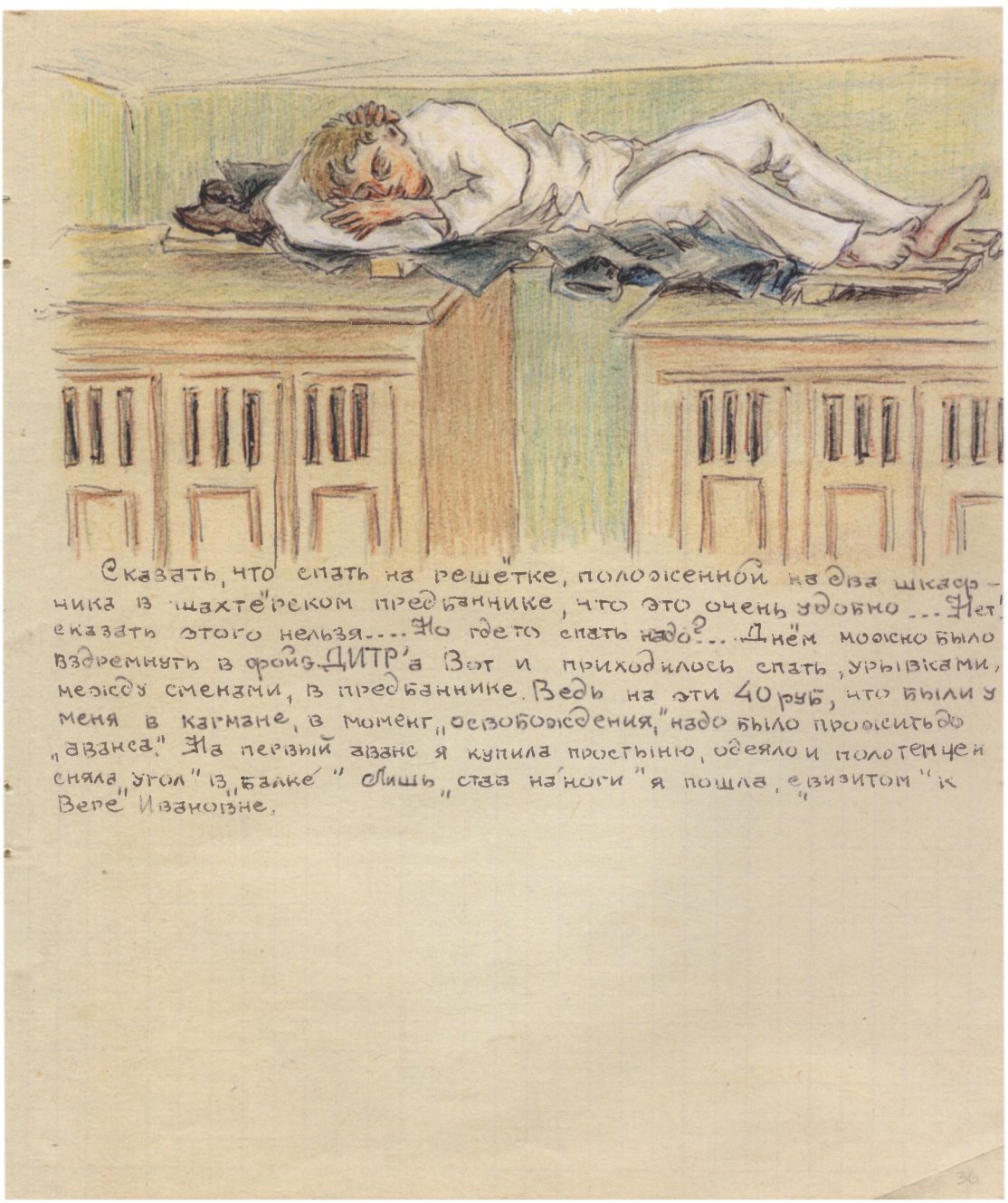


Сказать, что спать на решетке, положенной на два шкафчика в шахтерском предбаннике, очень удобно... Нет, сказать этого нельзя... Но где-то спать надо? Днем можно было вздремнуть в фойе ДИТРа*. Вот и приходилось спать урывками между сменами в предбаннике. Ведь на эти 40 рублей, что были у меня в кармане в момент освобождения, надо было прожить до аванса. На первый аванс я купила простыню, одеяло и полотенце и сняла угол в балке**. Лишь став на ноги, я пошла с визитом к Вере Ивановне***.

* ДИТР – Дом инженерно-технических работников.

** Балóк – временное или приспособленное жилище, времянка, вагончик, фургон, небольшой барак.

*** В.И. Грязнева, бывшая начальник ЦБЛ.

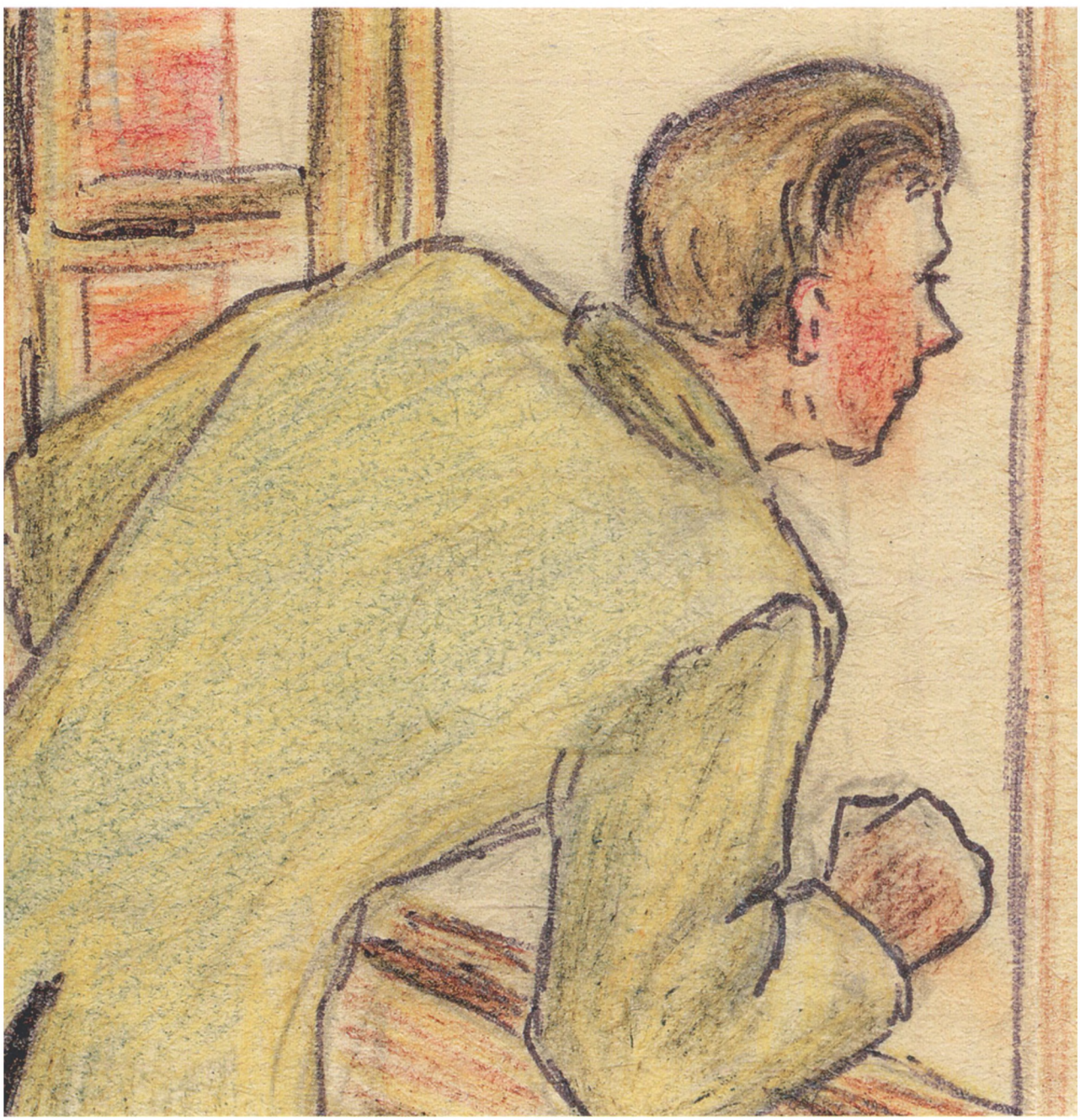


Третье... четвертое... пятое марта 1953 года... Великий... Единственный... Бессмертный? То, о чем никто не смел не то что говорить, но думать, свершилось... Людоед болен... Людоед безнадежен... И вот Людоед умер.

Узнали мы об этом утром. Мы — это будущие штейгеры, то есть горные мастера, учащиеся по курсу техникума в здании горноспасателей.

Но как реагировать на это событие? Радоваться? Горевать?

Мне было смешно и стыдно наблюдать, как наш староста — начальник горноспасательного отряда Будник — не смеет принять



решение. Он ежеминутно подбегает к окну, раскрывает его несмотря на мороз, высовывается и смотрит в сторону города.

Вот над зданием Проектного отдела поднялось и заполоскало черное знамя — знак траура. И Будник, который давно уверовал в то, что «нельзя сметь свое мнение иметь», почувствовал под ногами твердую почву и начал проявлять бурную инициативу: флаги с трауром, траур на портреты и т. п.

Третье„четвёртое...пятое марта 1953го года... Великий...Единственный....Безсмертный? То,о чём никто не смел,нето,что говорить,но-думать...совершилось...Людоед болен...Людоед безнадежен...И вот Людоед...умер...

Узнали мы,об этом утром.„Мы"-это будущие штейгеры,т.е.-горные мастера,учащиеся по курсу техникума в здании Горноспасателей

Но как реагировать на это событие? Радоваться? Горевать?

Мне было смешно и...стыдно наблюдать,как наш „староста"-начальник горноспасательного отряда,Будник не смеет принять решенье. Он,ежеминутно,подбегает к окну,раскрывает его,несмотря на мороз,высовывается и смотрит в сторону „города".

Вот над зданием Проектного отдела поднялось и заполоскало чёрное знаня-знак траура. И Будник,который давно уверовал в то,что„нельзя сметь,свое"мнение иметь",почувствовал под ногами твёрдую почву и начал проявлять бурную инициативу: флаги с трауром,траур на портреты и т.п.

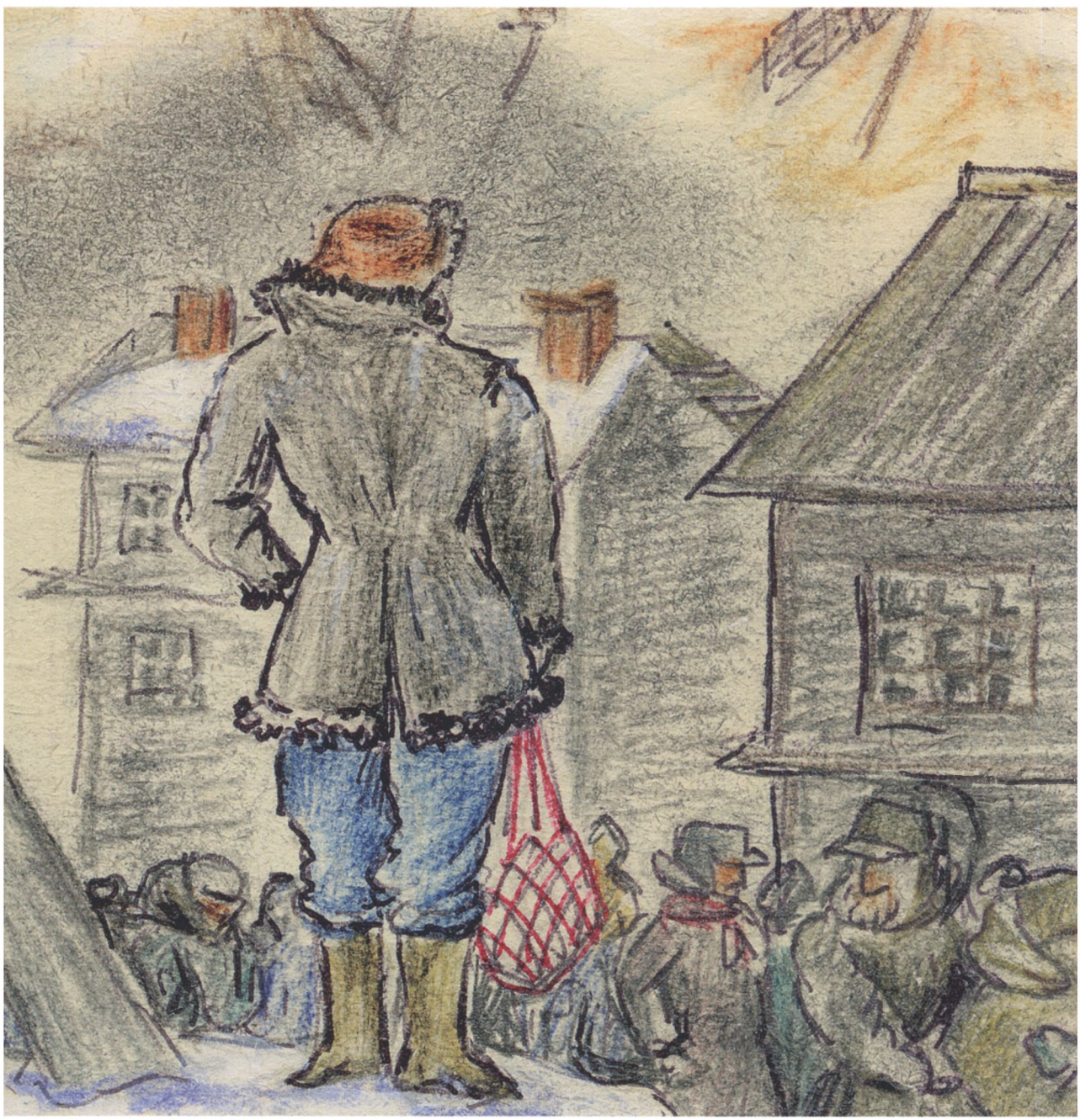
АЛЬБОМ 10. РИС. 3 (ФРАГМЕНТ) ◀

АЛЬБОМ 10. РИС. 3

Я сбежала вниз у клуба профсоюзов и остановилась на бугре. С рудника 7/9 гонят развод: это каторжники идут в 11-е л/о. Серая, безликая масса унылых призраков движется мимо. Вдруг камушек, завернутый в бумажку, стукнул о мой валенок. Я на него наступила и, когда развод прошел, подняла. В записке, написанной карандашом, были завернуты 500 рублей. Было написано: «М. поручил передать Вам деньги и благословение его матери: пусть Бог пошлет Вам счастье, а Вашей матери — обеспеченную старость».

Месяца четыре тому назад ко мне подошел крепильщик Максимук. Из его глаз текли слезы:

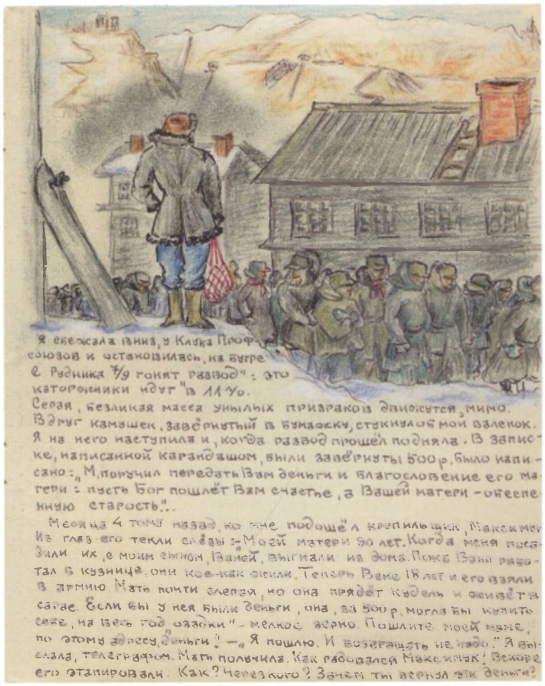
— Моей матери девяносто лет. Когда меня посадили, их с моим сыном Ваней выгнали из дома. Пока Ваня работал в кузнице, они кое-как жили. Теперь Ване 18 лет и его взяли в армию. Мать почти слепая, но она прядет



кудель и живет в сарае. Если бы у меня были деньги, она за пятьсот рублей могла бы купить себе на весь год озадки — мелкое зерно. Пошлите моей маме по этому адресу деньги.
— Я пошлю. И возвращать не надо.

Я выслала телеграфом. Мать получила. Как радовался Максимук! Вскоре его этапировали. Как, через кого, зачем ты вернул эти деньги?

АЛЬБОМ 10. РИС. 4 (ФРАГМЕНТ) ◀

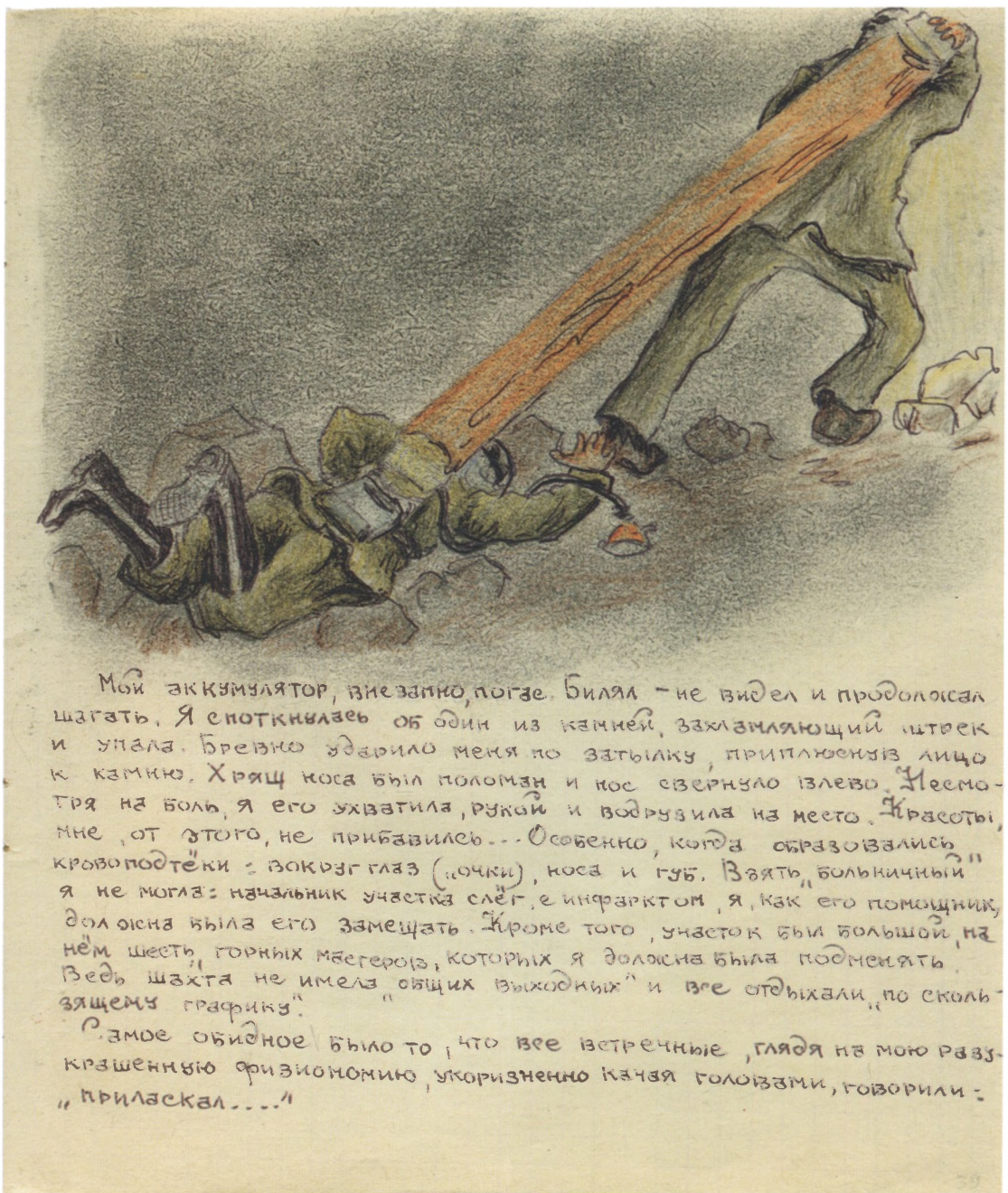


АЛЬБОМ 10. РИС. 4

Мой аккумулятор внезапно погас. Билял не видел и продолжал шагать. Я споткнулась об один из камней, захламляющих штрек, и упала. Бревно ударило меня по затылку, приплюснув лицо к камню. Хрящ носа был поломан, и нос свернуло влево. Несмотря на боль, я его ухватила рукой и водрузила на место. Красоты мне от этого не прибавилось... Особенно когда образовались кровоподтеки вокруг глаз (очки), носа и губ.

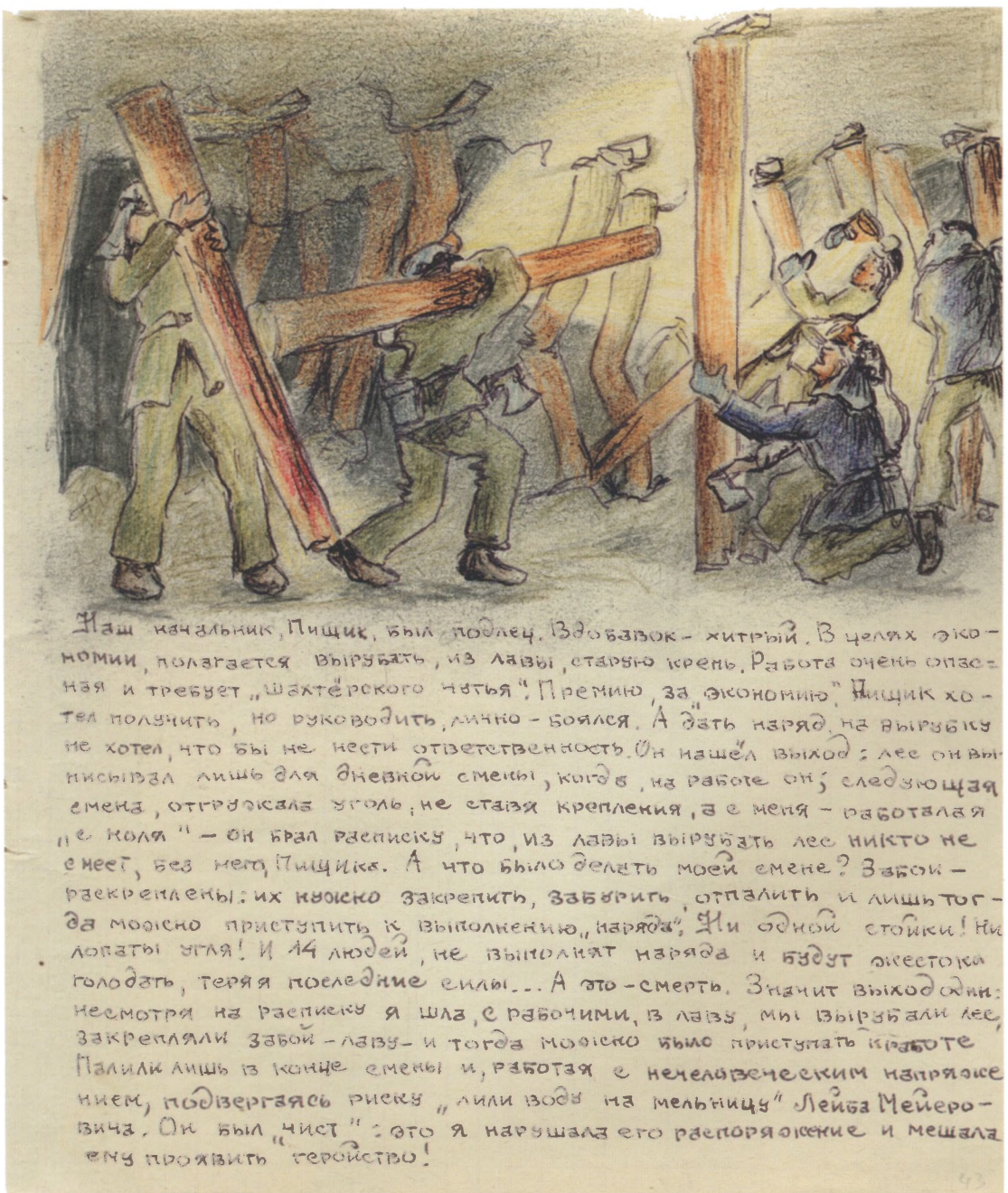
Взять больничный я не могла: начальник участка слег с инфарктом, я как помощник должна была его замещать. Кроме того, участок был большой, на нем шесть горных мастеров, которых я должна была подменять. Ведь шахта не имела общих выходных, и все отдыхали по скользящему графику.

Самое обидное было то, что все встречные, глядя на мою разукрашенную физиономию, укоризненно качая головами, говорили: «Приласкал...»



АЛЬБОМ 10. РИС. 5

Наш начальник Пищик был подлец. Вдобавок — хитрый. В целях экономии полагается вырубать из лавы старую крепь. Работа очень опасная и требует шахтерского чутья. Премию за экономию Пищик хотел получить, но руководить лично боялся. А дать наряд на вырубку не хотел, чтобы не нести ответственность. Он нашел выход: лес он выписывал лишь для дневной смены, когда на работе он; следующая смена отгружала уголь, не ставя крепления, а с меня — работала я с ноля — он брал расписку, что из лавы вырубать лес никто не смеет без него, Пищика. А что было делать моей смене? Забои раскреплены: их нужно закрепить, забурить, отпалить и лишь тогда можно приступать к выполнению наряда. Ни одной стойки! Ни лопаты угля! И 14 человек не выполнят наряда и будут жестоко голодать, теряя последние силы... А это — смерть. Значит, выход один: несмотря на расписку, я шла с рабочими в лаву, мы вырубали лес,



закрепляли забой — лаву, — и тогда можно было приступать к работе. Палили лишь в конце смены и, работая с нечеловеческим напряжением, подвергаясь риску, лили воду на мельницу Лейба Мейеровича. Он был чист: это я нарушала его распоряжение и мешала ему проявить геройство!

Наши каторжане **жили в одиннадцатом лаготделении — в долине**, что возле кладбища **под Шмидтихой**, видели, как привозили на грузовиках расстрелянных каторжан из спецлагеря. Пришли они на работу угрюмые, получили наряд, взяли инструмент, пришли на участок и... сели:

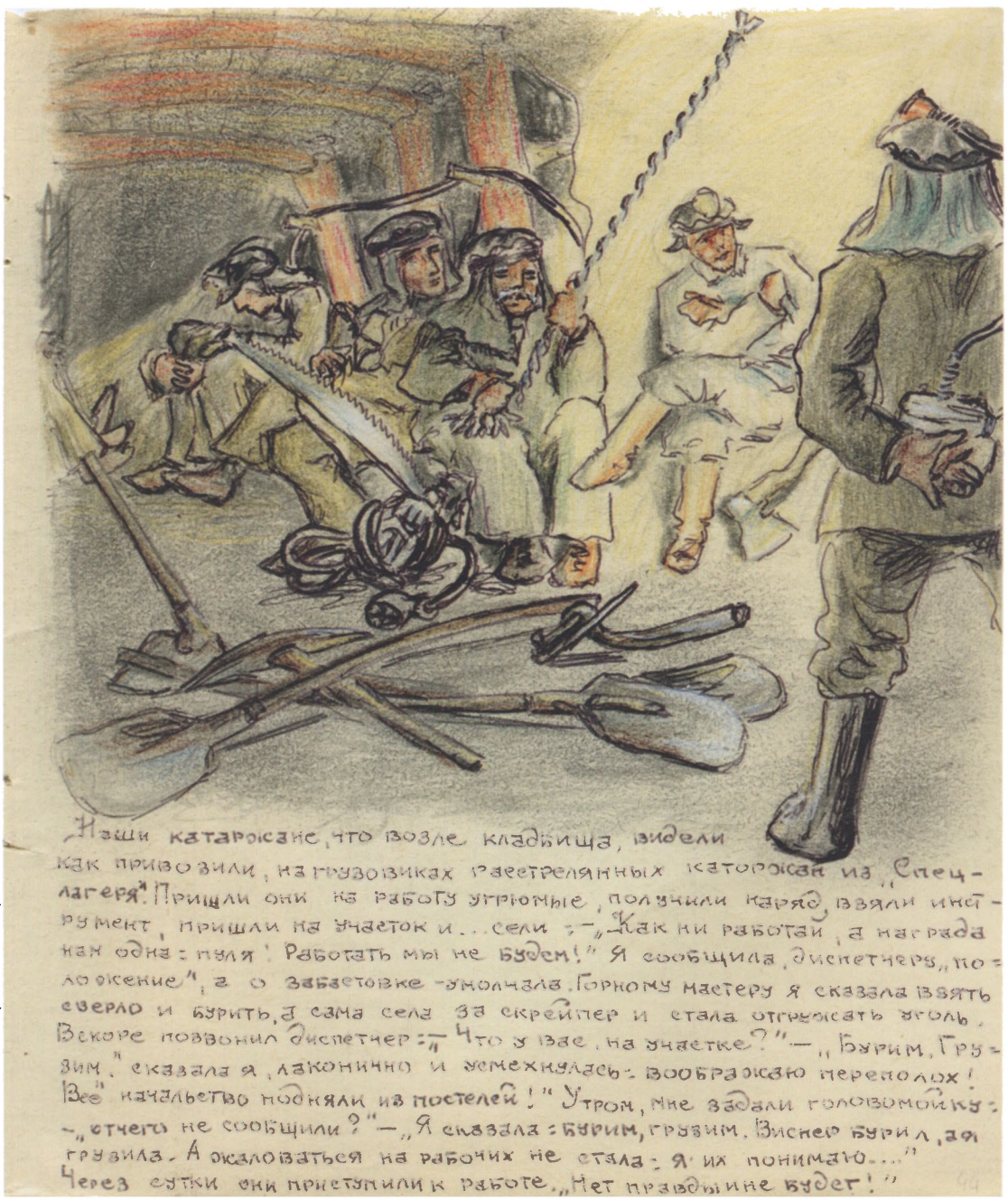
— Как ни работай, а награда нам одна: пуля! Работать мы не будем!

Я сообщила диспетчеру «положение», а о забастовке умолчала. Горному мастеру я сказала взять сверло и бурить, а сама села за скрейпер и стала отгружать уголь. Вскоре позвонил диспетчер:

— Что у вас на участке?

— Бурим. Грузим, — сказала я лаконично и усмехнулась: воображаю переполох! Все начальство подняли из постелей!

Утром мне задали головомойку:



АЛЬБОМ 10. РИС. 7

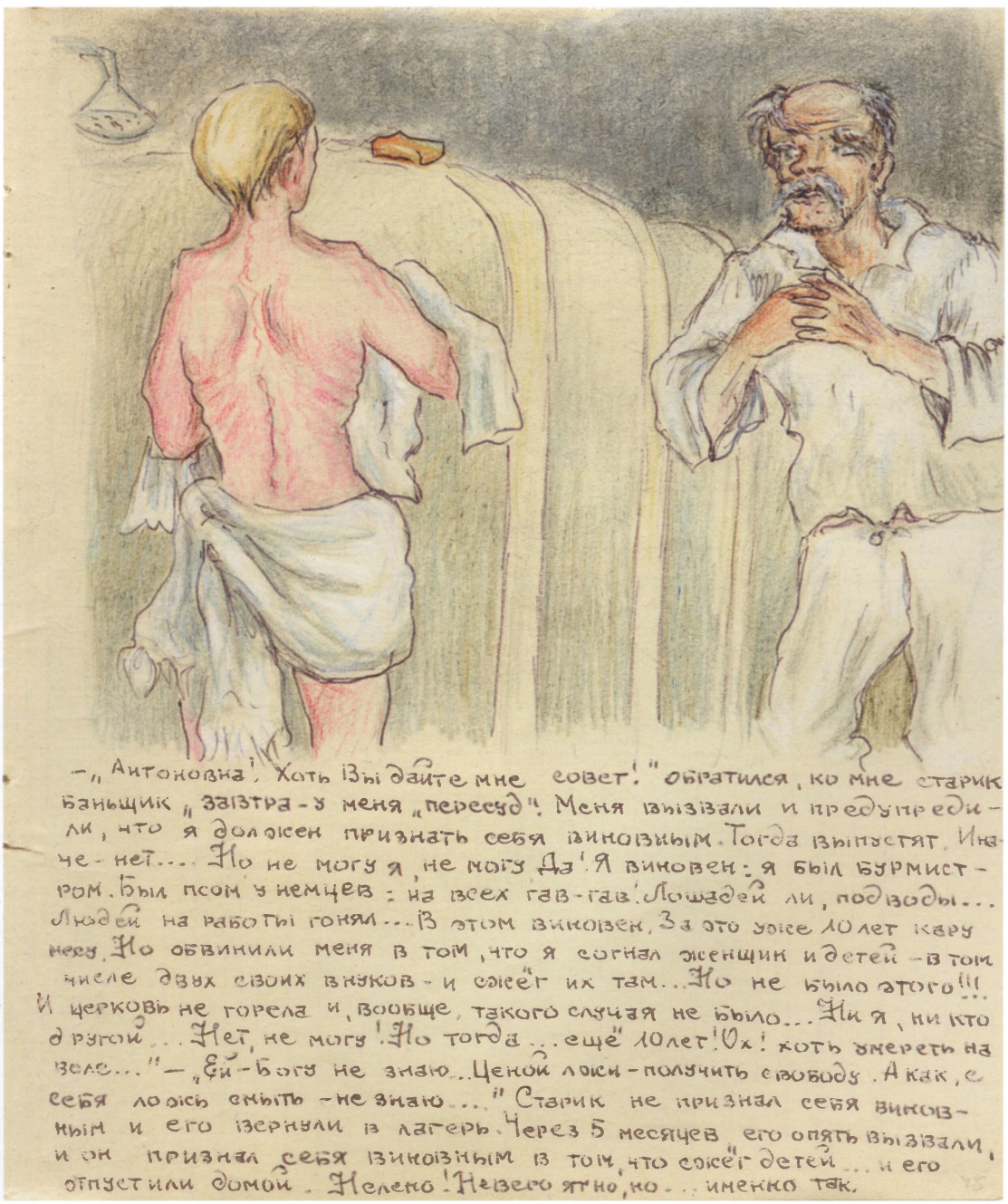
АЛЬБОМ 10. РИС. 6 (ФРАГМЕНТ) ◀

— Отчего не сообщили?
— Я сказала: бурим, грузим. Виснер бурил, а я грузила. А жаловаться на рабочих не стала: я их понимаю...

Через сутки они приступили к работе: «Нет правды и не будет!»

— Антоновна! Хоть Вы дайте мне совет! — обратился ко мне старик банщик. — Завтра у меня «пересуд». Меня вызвали и предупредили, что я должен признать себя виновным. Тогда выпустят, иначе нет... Но не могу я, не могу. Да! Я виновен: я был бурмистром. Был псом у немцев: на всех гав-гав! Лошадей ли, подводы... Людей на работы гонял. В этом виновен. За это уже десять лет кару несу. Но обвинили меня в том, что я согнал женщин и детей, в том числе двух своих внуков, и сжег их там. Но не было этого!!! И церковь не горела, и вообще такого случая не было... Ни я, ни кто другой... Нет, не могу! Но тогда еще [десять] лет! Ох! Хоть умереть на воле...
— Ей-Богу, не знаю... Ценой лжи получить свободу. А как с себя ложь смыть, не знаю...

Старик не признал себя виновным, и его вернули в лагерь. Через пять месяцев его опять вызвали, и он признал себя виновным в том, что сжег детей, и его отпустили домой. Нелепо! Невероятно, но именно так.



АЛЬБОМ 10. РИС. 8

АЛЬБОМ 10. РИС. 7 (ФРАГМЕНТ) ▲

«Антоновна!» Я обернулась. Да, это был Цыбульский, бывший у меня бригадиром. Получивший двадцать лет каторги за то, что немцы, взявшие в плен раненого солдата, не добили его, а вылечили и отправили на работу в шахту. Выпущенный из лагеря за то, что он знал, кто такой маршал Жуков и Ворошилов. Я бы не узнала его в этом обмызганном алкаше, сидящем на задворках магазина № 5 в окружении бутылок, пустых и полных.

«Что с тобой, Гриша?» — «Не дали мне выезда... Нанялся я рабочим тут в магазин. Ну, выпивать начал. Сперва по выходным, а там...» — «Брось, Цыбульский! Ты хороший крепильщик. Я тебя на шахту устрою. Только, чур, не пить!» — «Нет, Антоновна! Не быть мне уж человеком, не быть!»

АЛЬБОМ 10. РИС. 9 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА)

АЛЬБОМ 10. РИС. 9 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА) (ФРАГМЕНТ) ▼

Вот кому лучше было оставаться в тюрьме! А если бы его отпустили в его Смоленщину? Там у него жена, дочь...

Этот забой «оторвался от почвы», и, чтобы «сесть на подошву», разбурили и отпалили почву. Чтобы скорей зачистить и закрепить забой, я пошла «шуровать». (Забой уже ушел очень далеко, и скрейперисту ходить туда-сюда — потеря времени.) В почве остался «отказ», и ковш скрейпера ножом попал по детонатору.

Взрыв! Удар в лицо, в грудь... Я отлетела. Полная темнота! И где-то рядом ходит тяжелый ковш, подымается к ролику и падает. Я оглохла. По лицу — кровь. Из-под меня ковш тянет уголь. Я не знаю, где борт, где грудь забоя? Где ковш, где выход из забоя? Ползу вверх по углю, нащупываю борт и ползу вдоль него наугад. Кровь заливает лицо, я не знаю, выбиты ли глаза, и я ползу, ползу... Где-то рядом бегает ковш. Кричать? Скрейперист не услышит: грохочет лебедка, тарахтит транспортер. И расстояние — 60 метров... На полпути — «кобыла» (почва приподнята

горбом). Влезаю на нее и... Боже мой! Какая радость! Я вижу!!! Вижу аккумулятор скрейпериста. Глаза целы! Я приваливаюсь к борту и теряю сознание.

Очнулась, когда ко мне подошел скрейперист Рябец. Он почуял неладное, когда из забоя показался дым. Пошел, увидел меня, испугался и... убежал. Затем вернулся и помог мне выйти до телефона.

АЛЬБОМ 10. РИС. 10 (ФРАГМЕНТ) ◀

Этот забой „опоздался от почина" и „чтобы „сесть на подвышу", разбирали и отталкали ночью. Что бы скорей зачистить и закрепить забой, я пошла „шуровать" (Забой уже ушёл очень далеко и скрейперисту ходить туда-сюда - потеря времени). В почве остался „остаток" и ковш скрейпера, ковшом, полез по бетонитовой.

Взрыв! Удар в лицо, в грудь... Я отлетела. Полная темнота! И где-то, рядом ходит тяжелый ковш. Поднимается к роликам и падает. Я оглохла. По лицу - кровь. Из под меня ковш тянет уголь. Я не знаю, где борт, где гудь забоя? Где ковш, где выход из забоя? Ползу вверх, по углю, нащупываю борт и ползу вдоль него, назад. Кровь заливает лицо, я не знаю, открыты ли глаза и я ползу, ползу... Где-то, рядом, бегает ковш. Кричать? Скрейперист не услышит: грохочет лебедка, тарахтит транспортёр. И, на расстоянии - 60 метров... На подсыпи - „кобыла" (почва приподнята горбом). Влезаю на неё и... Боже мой! Какая радость! Я вижу!!! Вижу аккумулятор скрейпериста. Глаза целы! Я приваливаюсь к борту и теряю сознание.

Очнулась, когда ко мне подошел скрейперист, Рябец. Он почуял неладное, когда из забоя показался дым. Пошел, увидел меня, испугался и... убежал. Затем вернулся и помог мне выйти до телефона.

АЛЬБОМ 10. РИС. 10

Я лежала с забинтованной физиономией и руками. Это просто чудо, что я отделалась так легко! Удар пришелся по ковшу. А я получила, главным образом, по каске. Это меня спасло. Однако врач часа два пинцетом вытаскивал из лица кусочки угля. Затем еще в больнице выбирали остатки. И я пошла домой, в общежитие, куда ко мне пришла Маргарита Эмилиевна — ухаживала за мной и кормила и поила с ложечки: губы были расквашены.

Через 9 дней я пошла на работу: я не хотела идти на комиссию, так как в левом ухе была перебита барабанная перепонка и меня, оглохшую на одно ухо, не допустили бы на подземную работу.

Месяца через три слух восстановился.

Я лежала, с забинтованной физиономией и руками. Это просто чудо, что я отделалась так легко! Удар пришёлся по ковшу. А я получила, главным образом, по каске. Это меня спасло Однако врач часа два, пинцетом, вытаскивал из лица, кусочки угля Затем еще в больнице выбирали остатки. И я пошла домой, в общежитие, куда, ко мне пришла Маргарита Эмилиевна — ухаживала за мной и кормила и поила, с ложечки: губы были расквашены.

Через 9 дней я пошла на работу: я не хотела итти на комиссию, т.к. в левом ухе была перебита барабанная перепонка и меня, оглохшей на одно ухо, не допустили бы на подземную работу.

Месяца через три, слух восстановился.

В годах 1954-м и 1955-м многое изменилось в Норильске. Изменилось и у нас на шахте. Каторжан освобождали пачками. Иных — куда-то вывезли. И вот стали прибывать «энтузиасты» — комсомольцы из Ленинграда. А тут закрылась шахта «Западная» № 12, и целый поток начальников и разных придурков хлынул на нашу шахту. Бурильщиков не было: новенькие не умели и не хотели браться за тяжелую работу; начальники хотели быть начальниками. Разумеется, на мое место горного мастера поставили малограмотного и тупого «начальника». Тогда я взялась за самую трудную работу, которой все боялись. Я — бурильщик!

Азербайджанец Ахундов был упрям, как ишак. Заброшенная лава*, как говорится, «дышала». Надо было поскорее уходить, выносить оборудование. Но он упорно хотел отработать камерами** оставшийся целик и послал меня его забурить. За мной увязался Махмуд Мамаев, из демобилизованных солдат: он хотел научиться бурить.

К счастью, мы были в камере, когда лава внезапно села. Удар воздушной волны был так силен, что нас швырнуло в грудь забоя***. Пыль. Грохот. Темнота. Признаюсь: ужас охватил меня... Но тут кто-то закопошился у моих ног, и я услышала отчаянный стон:

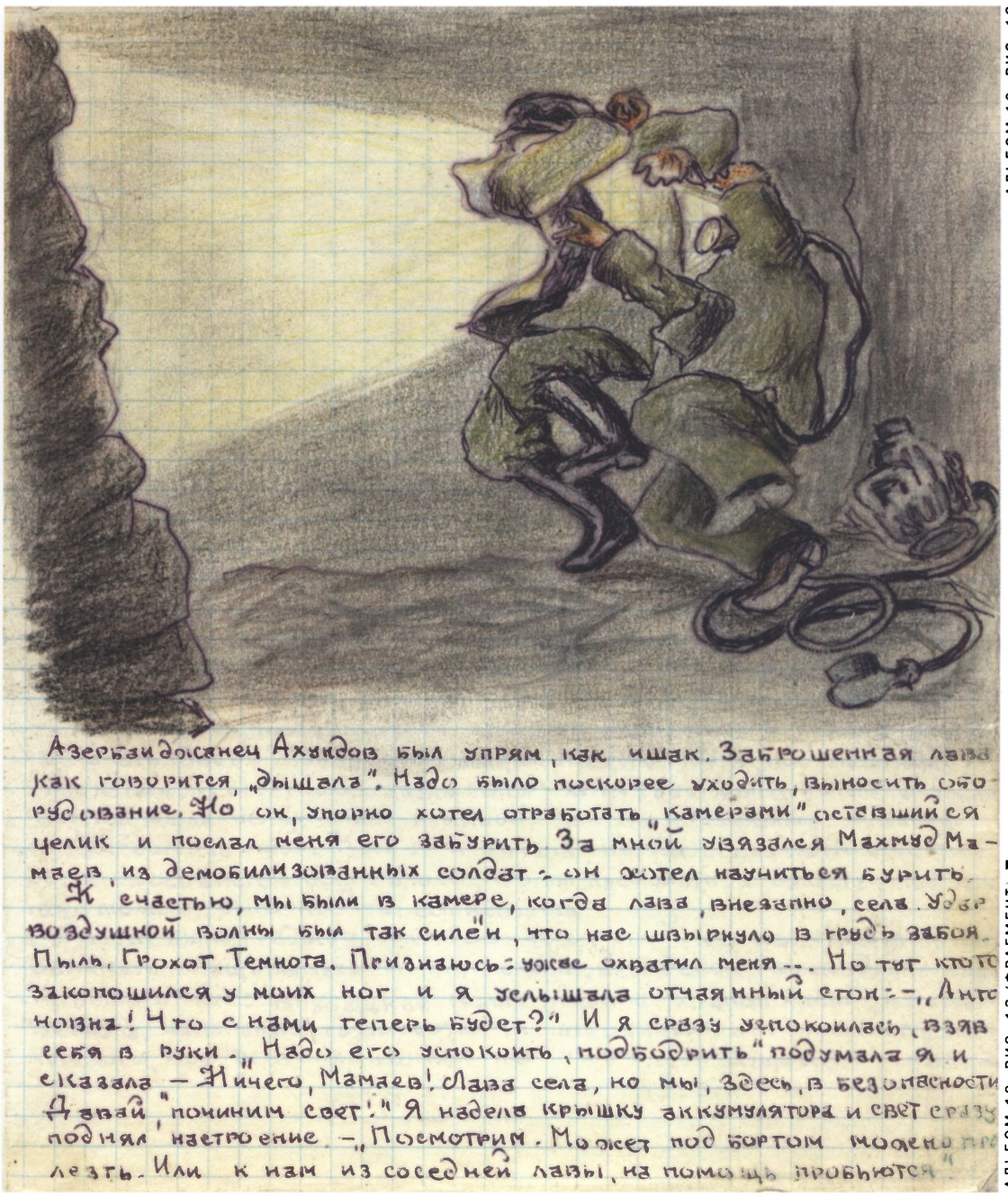
— Антоновна! Что с нами теперь будет?

И я сразу успокоилась, взяв себя в руки.

* Лава — подземная горная выработка значительной протяженности (до нескольких сот метров), один бок которой — массив ископаемых (забой).

** Камеры — горные выработки, имеющие большие поперечные размеры и небольшую длину, в них размещено оборудование.

*** Грудь забоя — передняя часть забоя, продвигающаяся вперед по мере выработки горной породы.

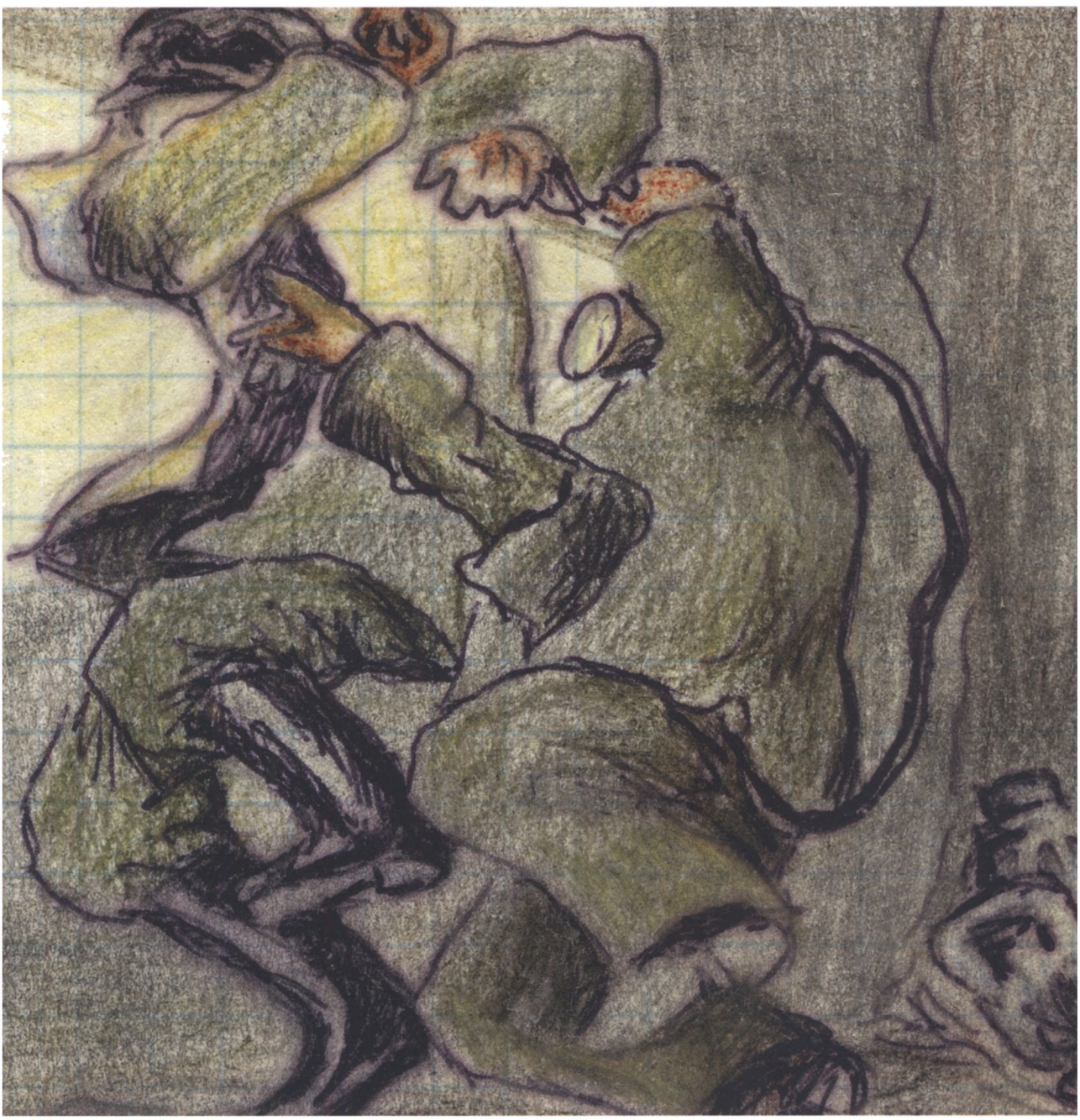


АЛЬБОМ 10. РИС. 13

АЛЬБОМ 10. РИС. 13 (ФРАГМЕНТ) ▼

«Надо его успокоить, подбодрить», — подумала я и сказала:
— Ничего, Мамаев! Лава села, но мы здесь в безопасности. Давай починим свет!

Я надела крышку аккумулятора, и свет сразу поднял настроение:
— Посмотрим. Может, под бортом можно пролезть. Или к нам из соседней лавы на помощь пробьются.



Между решта́ками* и бортом было пустое пространство. Было бы разумней погасить свет, стучать в стену и ждать помощи, но ждать всегда тяжело, и я решила рискнуть. Отстегнув аккумулятор, я решила ползти.

— Антоновна! Не бросай меня! — взмолился Махмудка.

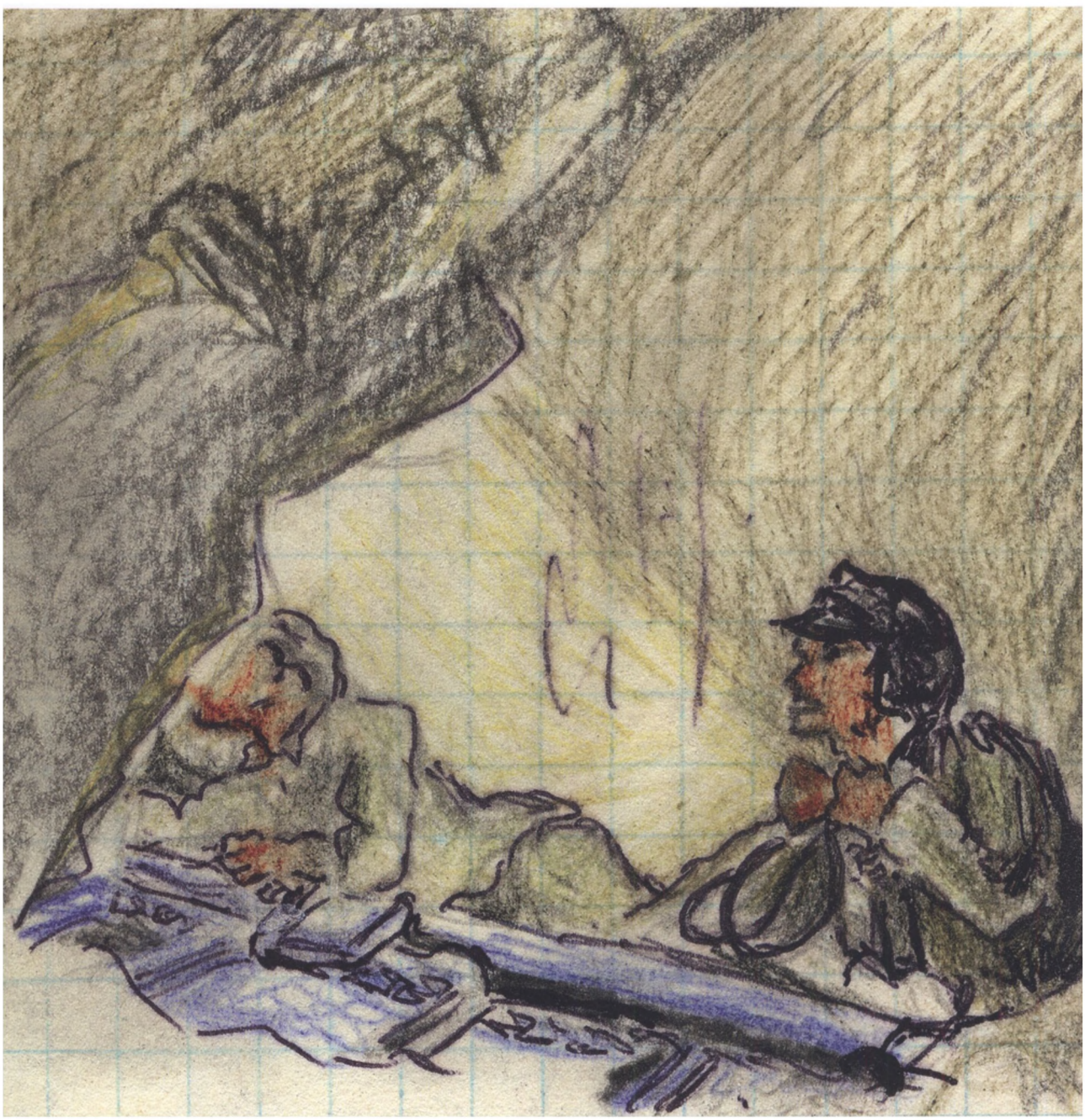
— Так хочешь — лезь вперед.

— Ой, нет! А вдруг придавит?

— Так вот, я полезу вперед, а ты за мной. Если застряну, будешь выручать. Ладно? Ведь это сущий пустяк!

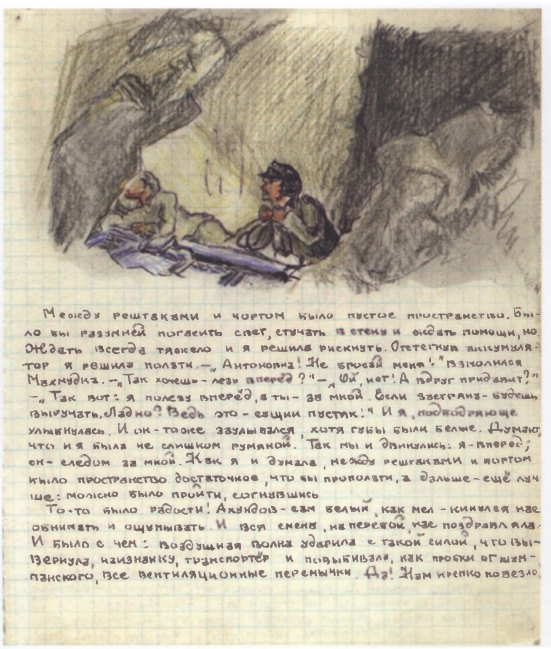
И я подбодряюще улыбнулась. И он тоже заулыбался, хотя губы были белые. Думаю, что и я была не слишком румяной. Так мы и двинулись: я — вперед, он — следом за мной. Как я и думала, между решта́ками и бортом было пространство достаточное, чтобы проползти, а дальше — еще лучше: можно было пройти согнувшись.

* Решта́к — настил для спуска по нему чего-либо, отбитого в забое.



То-то было радости! Ахундов — сам белый как мел — кинулся нас обнимать и ощупывать. И вся смена наперебой нас поздравляла. И было с чем: воздушная волна ударила с такой силой, что вывернула наизнанку транспортер и повыбивала, как пробки от шампанского, все вентиляционные перемычки. Да! Нам крепко повезло!

АЛЬБОМ 10. РИС. 14 (ФРАГМЕНТ) ▲



Между решетками и чертом было пустое пространство. Было бы разумней погасить свет, стучать в стены и звать помощь, но ждать всегда тяжело и я решил рискнуть. Ответчика эмумулятор я решил полить. — „Антонина! Не бросай меня!" — взмолился Махнудиз. — „Так хочешь — лезь вперёд?" — „Ой, нет! А друг придавит?" — „Так вот: я полезу вперёд, а ты — за мной. Если застрянешь — будешь выручать. Ладно? Ведь это — общий пустяк!" И я, подбодряюще улыбнулся. И он — тоже заулыбался, хотя губы были белые. Думаю, что и я был не слишком румяной. Так мы и двинулись: я — вперёд; он — следом за мной. Как я и думала, между решетками и чертом было пространство достаточное, что бы проползти, а дальше — ещё лучше: можно было пройти, согнувшись.

То-то было радости! Ахундов — сам белый, как мел — кинулся нас обнимать и ощупывать. И вся смена, наперебой, нас поздравляла. И было с чем: воздушная волна ударила с такой силой, что вывернула, наизнанку, транспортёр и повыбивала, как пробки от шампанского, все вентиляционные перемычки. Да! Нам крепко повезло.

АЛЬБОМ 10. РИС. 14

Шли годы. Работа — интересная, бесспорно, но изнуряюще тяжелая. И мне пришлось использовать за один год отпуск. Я не пыталась никуда уехать. Куда? Нигде и никого у меня нет. Санатории, дома отдыха — не для меня: я лишена прав, я не член профсоюза. Шахта меня ценила и нашла бы для меня какую-нибудь дыру «для цветных», но моя «негритянская гордость» не позволяла мне принять милостыньку. И я провела свой отпуск — всего три недели, — гуляя в тундре, купаясь в озерах и даже загорая, если не слишком донимали комары.

Нет! Не люблю я Севера! Зелени много, но под ней хлюпает вода. Цветов много, но без запаха и преимущественно желтые. Даже маки! В тихую погоду можно купаться, но сверху вода теплая, а ниже — нерастаявший лед.

В ночную смену — я тогда была горным мастером участка № 8 — мне позвонил диспетчер: «На соседнем участке несчастный случай: погиб горный мастер Аржба. Примите смену. Туда выезжает комиссия».

Аржба! Бедняга... Как он радовался, что наконец отменена ссылка и он сможет съездить в солнечную Абхазию. У него уже был заказан билет. Мать, которую он не видел не то 15, не то 17 лет, его так ждет! Ведь он ушел мальчишкой в армию. А там война, плен... и 10 лет неволи, после чего ссылка. Наконец он может уехать!

Нет! Это непростительно: умереть в Норильске, не побывав на родине!

Должно быть, об этом я думала, стоя возле обезображенного трупа с размозженной головой, на которой не осталось лица. И тогда же я приняла решение: отпуск свой я проведу на юге.

И вот я на юге. В Москве я села на первый попавшийся поезд, идущий на юг. Он меня высадил в Минводах в полночь. Летняя ночь! Настоящая темная, теплая ночь! Как я истосковалась по летней ночи, когда небо, как синий бархат, усеянный алмазами! Ждать первой электрички надо было часа 3–4. Я, разумеется, не зашла в зал ожидания, а пошла в пристанционный садик. Должно быть, растительность в нем была чахлой, но мне она показалась роскошной. Я гладила руками каны, нюхала самшит и от всего приходила в восторг.

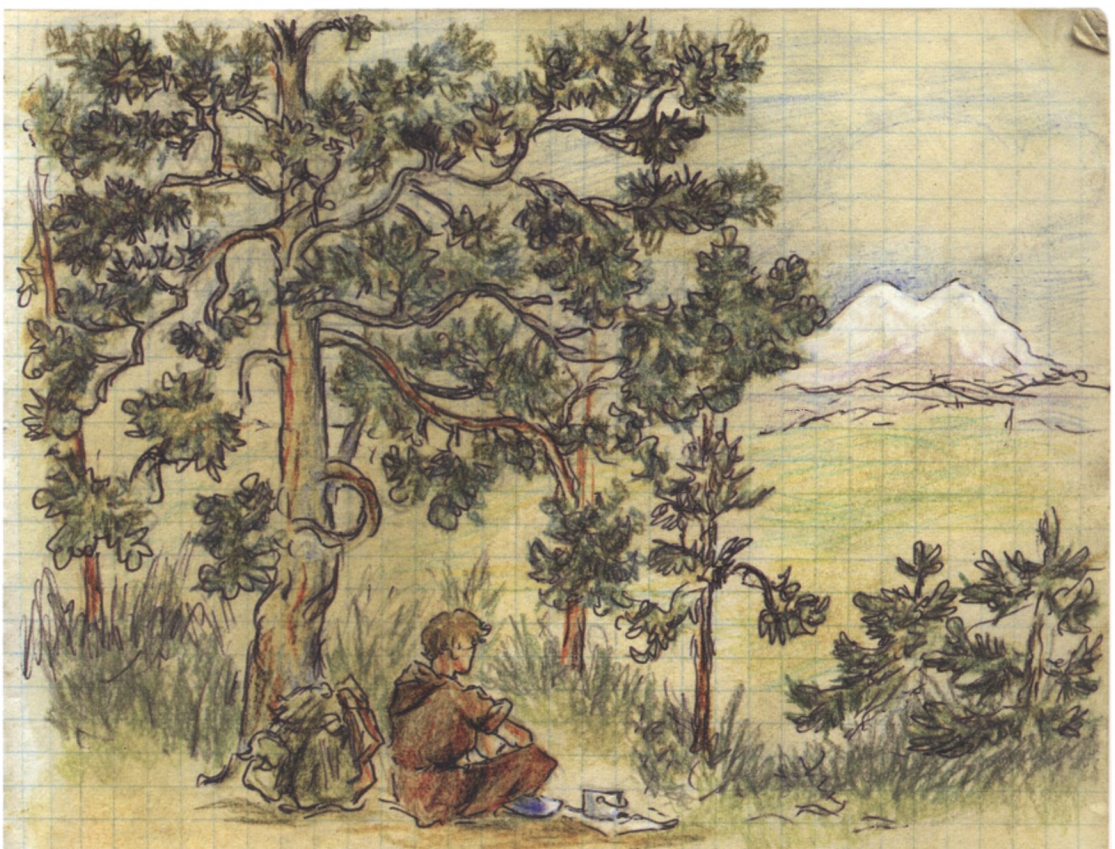
Наползали тучи, вспыхивали зарницы, где-то громыхал гром.

Несколько тяжелых капель упали, и запахло дождем. О сне не могло быть и речи. Я уселась на скамейку, вытащила альбом и попыталась изобразить то, что я видела: это был мой первый рисунок с натуры...

АЛЬБОМ 10. РИС. 17

Трудно передать словами тот опьяняющий восторг, который испытывала я в кисловодском парке! Было раннее летнее утро. Еще все спят. Наконец я на юге! Я свободна. Сверканье росы, пенье птиц, шелест листвы... Я подымаюсь все выше, выше. Какая-то двуглавая снежная вершина на фоне перламутрового неба. Что это за гора? Но пока что мне это безразлично. Главное — это ощущение счастья, которое меня буквально распирает.

АЛЬБОМ 10. РИС. 18



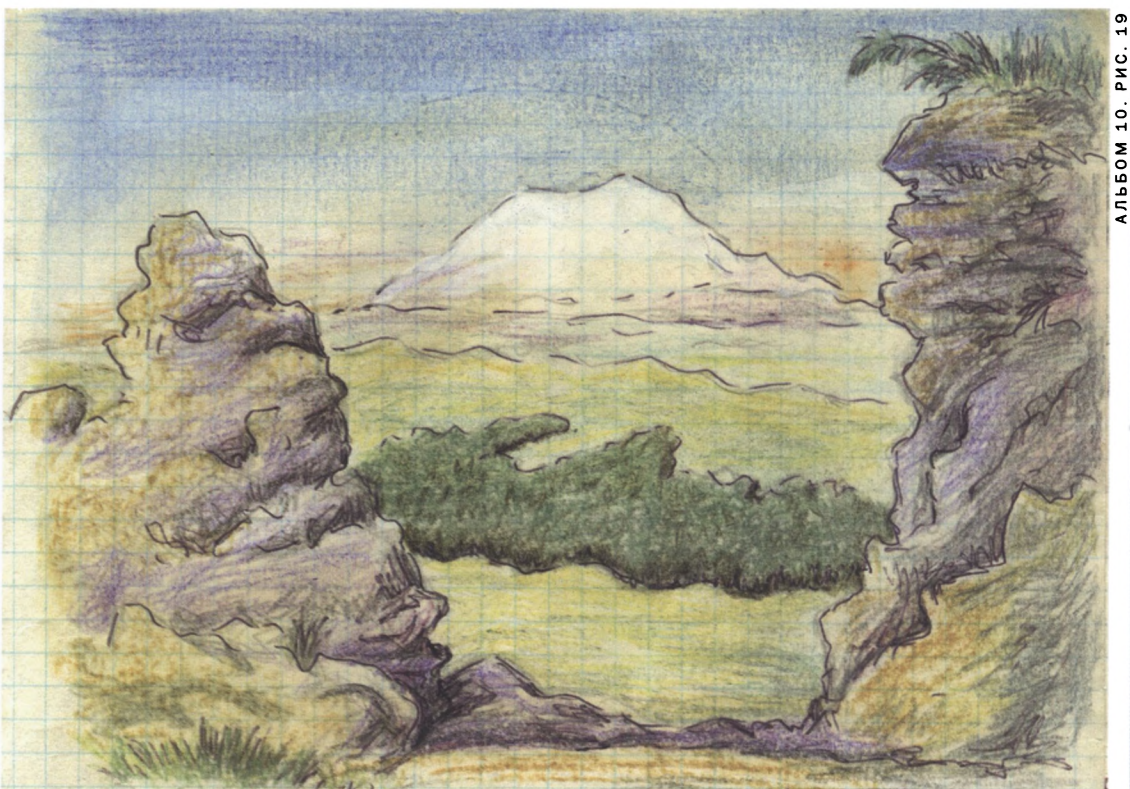
Трудно передать словами тот опьяняющий восторг, который испытывала я в Кисловодском парке! Было раннее летнее утро. Еще все спят. Наконец я на юге! Я свободна. Сверканье росы, пенье птиц, шелест листвы... Я подымаюсь все выше, выше. Какая-то двуглавая снежная вершина на фоне перламутрового неба. Что это за гора? Но пока что мне это безразлично. Главное - это ощущение счастья, которое меня буквально распирает.

Полдень. Жарко. Я прилегла в тени скалы. Как пахнут травы!

И тут, на камнях, я так уснула, как не спала давно. Разбудило меня солнце, уже склонявшееся к горизонту. Мне не хотелось уходить, и я бы тут и заночевала, если бы не жажда. Надо спускаться и ехать в Ессентуки.

Признаться, ехала я неохотно: нужна я там, чужая? Но ребятишки так радостно повисли на мне с криком «Тетя Фрося приехала!», что горячая волна накатила на меня и я вообразила, что я и впрямь для них не чужая... Я упустила из виду, что там, где нет слов «сударыня» и «дама», слова «тетенька» и «мамаша» указывают не на теплоту чувств, но на примитивность воспитания.

Впрочем, дети, по-моему, действительно меня любили. Что же касается меня, то я всей душой отдалась роли тети, которая еще хорошо помнит свое детство и знает, что ребятам нужно.

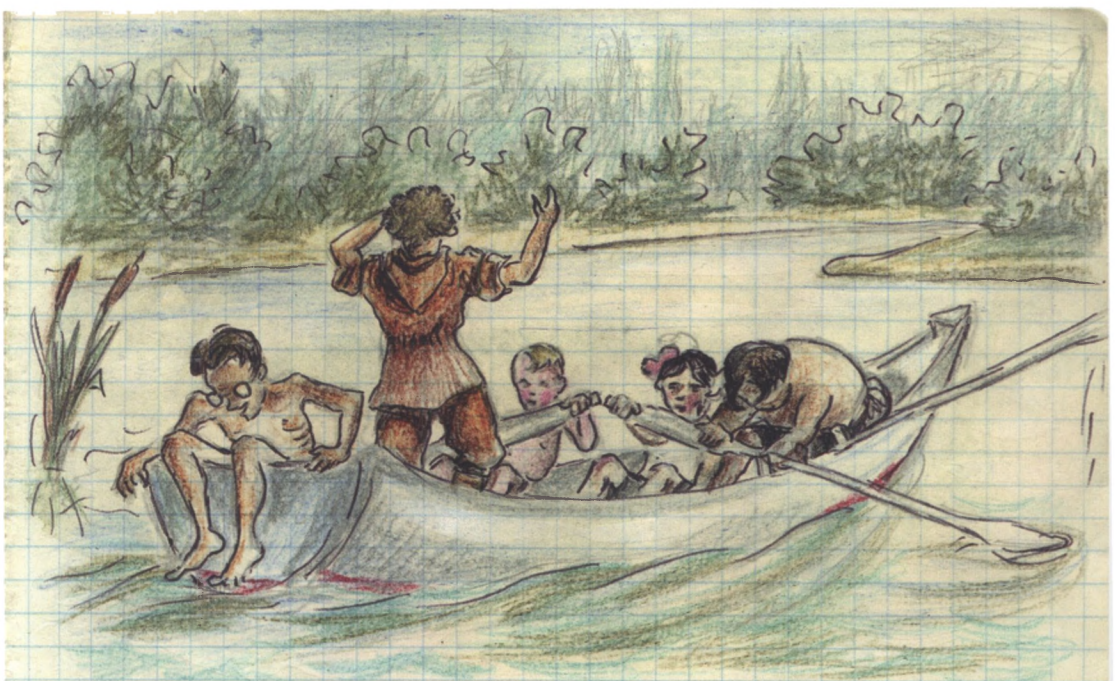


Полдень. Жарко. Я прилегла в тени скалы. Как пахнут травы! И тут, на камнях, я так уснула, как не спала давно. Разбудило меня солнце, уже склонявшееся к горизонту. Мне не хотелось уходить и я бы тут и заночевала... если бы не жажда. Надо спускаться и ехать в Ессентуки.

Признаться, ехала я неохотно: нужна я там, чужая?... Но ребятишки так радостно повисли на мне, с криком: „Тетя Фрося приехала!", что горячая волна накатила на меня и я... вообразила, что я и впрямь для них - не чужая... Я упустила из виду, что там, где нет слова „сударыня" и „дама", слово „тетенька" и „мамаша" указывают - не на теплоте чувств, но... на примитивность воспитанья.

Впрочем, дети, по моему, действительно меня любили. Что же касается меня, то я, всей душой, отдалась роли „тети", которая еще хорошо помнит свое детство и знает, что ребятам нужно?

Родители часто забывают романтику детства и начинают думать, что детей надо кормить, одевать и... запрещать все то, что и является прелестью детства: делать открытия и допускать неосторожности. Я забирала всех четырех, и мы отправлялись в Железноводск или Пятигорск, где купались в озере или катались на лодке. Все усердно гребли по очереди, воображая себя исследователями Амазонки. Я им рассказывала об анаконде и крокодилах. И все были в восторге. Я — в том числе...



Родители часто забывают „романтику" детства и начинают думать, что детей надо кормить, одевать и ... запрещать все то, что и является „прелестью" детства: делать „открытия"... и допускать неосторожности. Я забирала всех четырех и мы отправлялись - то в Железноводск или Пятигорск, где купались в озере или катались на лодке. Все усердно гребли, по очереди, воображая себя исследователями Амазонки. Я им рассказывала об анаконде и крокодилах. И все были в восторге. Я - в том числе ....

В Кисловодске мы превращались в скалолазов: облазили все красные камни — каждый сообразно своему характеру. Не скажу, что я не боялась ответственности! Напротив! Но дети должны полюбить природу. А чтобы полюбить, нужно прежде всего ее знать. Дети выросли в Норильске. Что видели они там? Вот принялась я знакомить их с деревьями и их особенностями, с птицами, их голосами.

В том 1956 году многое было запрещено. Так, запрещена была гора Бештау: там находился рудник. Что там добывали? Один ученый-дендролог, с которым мне случилось беседовать в Домбае, рассказал мне, что однажды, встретив своего брата инженера-горняка, получившего назначение на засекреченный рудник на Бештау, он задал вопрос:

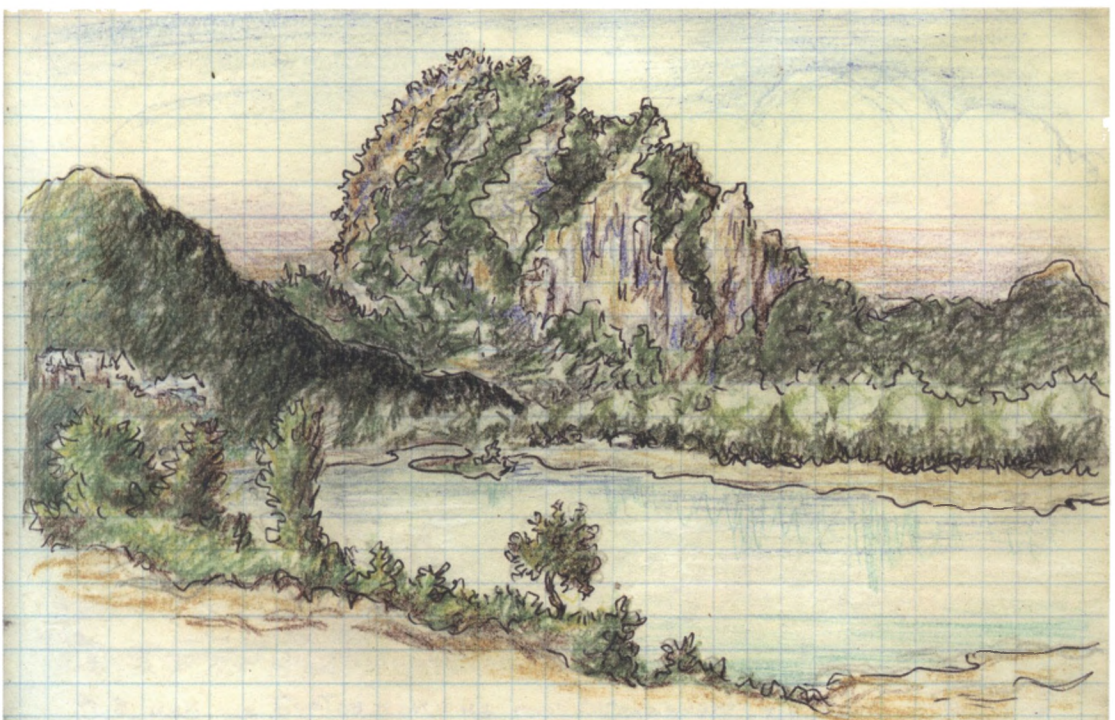
— Что же вы там добываете?

Ответ был странный:

— Не знаю! Америка говорит, что уран!

Так или иначе, повсюду была колючая проволока и ночью горели юпитеры. (В дальнейшем рудник законсервировали, рассекретили и стали делать цемент.)

Но меня заинтересовал не уран и даже не сам Бештау, а гора Развалка, в которой, как я слышала, есть вечная мерзлота... это на 43-й параллели!



В том – 1956-ом году – многое было „запрещено". Так запрещена была гора Бештау: там находился рудник. Что там добывали? Один ученый дендролог, с которым мне случилось беседовать в Домбае, рассказал мне что однажды, встретив своего брата – инженера-горняка, получившего назначение на засекреченный рудник на Бештау, он задал вопрос: – „Что же вы там добываете?" Ответ был странный: – „Не знаю! Америка говорит, что – Уран!" Так или иначе, повсюду была колючая проволока и, ночью, горели „юпитеры" (В дальнейшем, рудник законсервировали „рассекретили" и... стали делать цемент).

Но меня заинтересовал – не уран и даже не сам Бештау, а гора-Развалка, в которой, как я слышала есть „вечная мерзлота"... это – на 43-ей параллели! Вот я и обратилась в „центр туризма", в Пятигорске. К моему удивлению, мне сказали: – Подъём на Развалку запрещён. И сведений о ней мы не даём. Туда ходят, на тренировку студенты-геологи. Там – опасно: подвижки камней, обвалы!"

Ну, если так, то я, наверняка туда должна сходить!

Что и говорить! Довольно даже беглого взгляда на эту гору-баттолит, что бы поверить, что... „гостеприимной" она не выглядит!

Вот я и обратилась в центр туризма в Пятигорске. К моему удивлению, мне сказали:

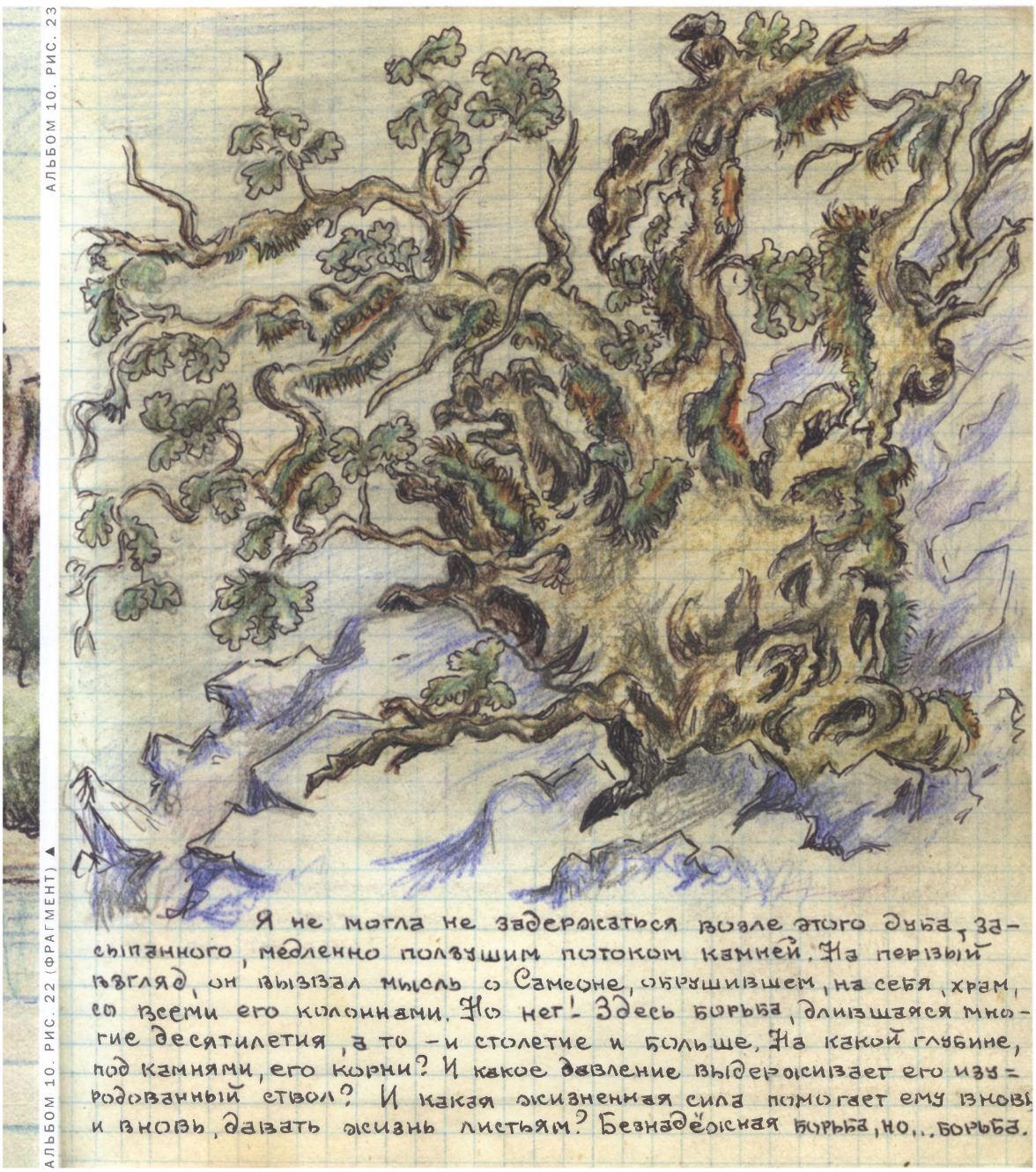
— Подъем на Развалку запрещен. И сведений о ней мы не даем. Туда ходят на тренировку студенты-геологи. Там опасно: подвижки камней, обвалы.

Ну, если так, то я наверняка туда должна сходить!

Что и говорить! Довольно даже беглого взгляда на эту гору-батолит*, чтобы поверить, что гостеприимной она не выглядит!

* Батолиты — глубинные горные породы, выходящие на поверхность.

Я не могла не задержаться возле этого дуба, засыпанного медленно ползущим потоком камней. На первый взгляд, он вызвал мысль о Самсоне, обрушившем на себя храм со всеми его колоннами. Но нет! Здесь борьба, длившаяся многие десятилетия, а то и столетие, и больше. На какой глубине под камнями его корни? И какое давление выдерживает его изуродованный ствол? И какая жизненная сила помогает ему вновь и вновь давать жизнь листьям? Безнадежная борьба, но... борьба.



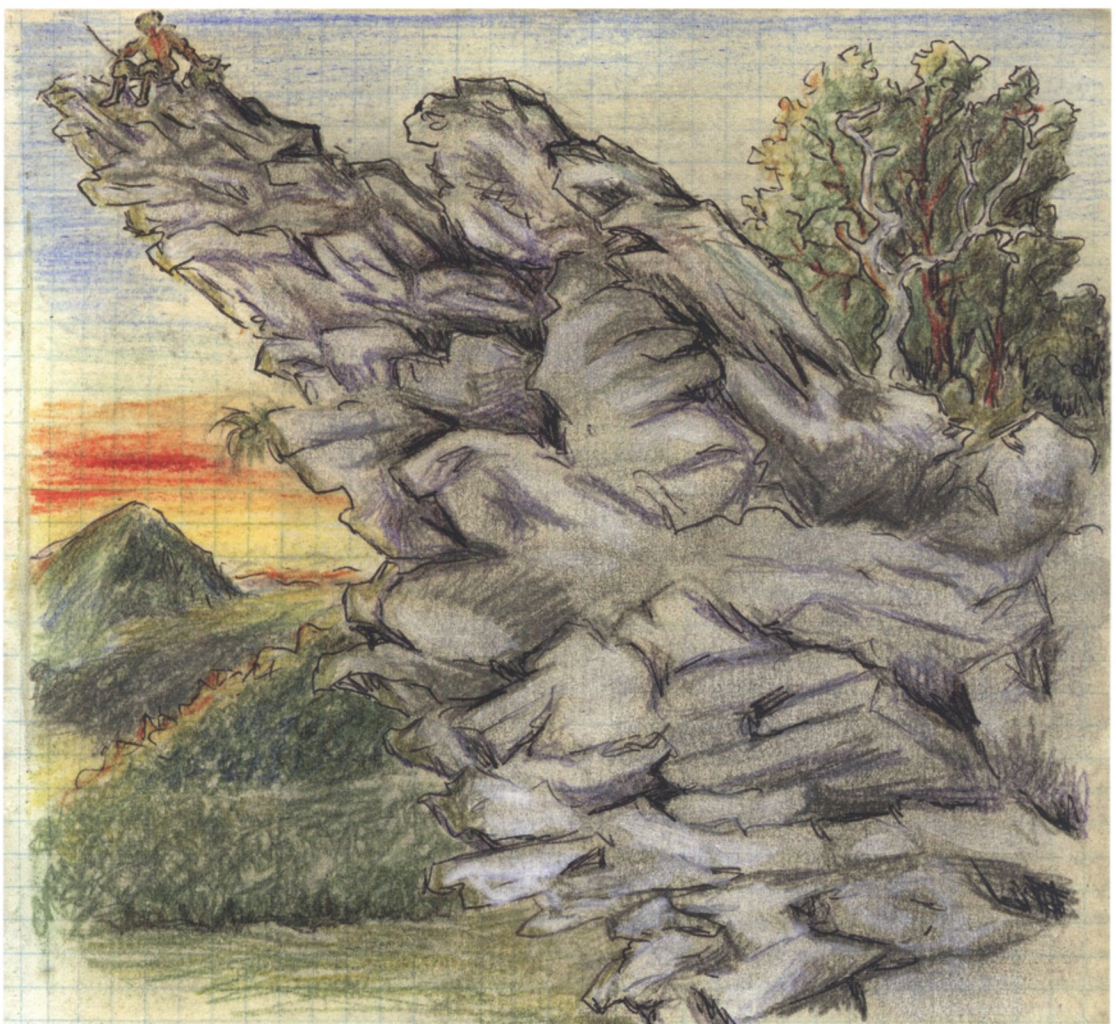
АЛЬБОМ 10. РИС. 22 (ФРАГМЕНТ) ◀

АЛЬБОМ 10. РИС. 23

А этот ясень не выдержал неравной битвы и погиб... Так, задерживаясь возле каждого дерева, рисуя или просто любуясь открывающимся пейзажем, я и не заметила, как подкрался вечер, и я решила переночевать на полпути, а на рассвете продолжать путь. У меня было немного кефира (недостаточно, чтобы утолить жажду, но вполне достаточно, чтобы ее обмануть). Камни с вечера — вполне хорошее ложе, пока в них сохраняется тепло солнца, но к утру — бр-р-р!

Восход солнца 26 июля 1956 года я встретила на вершине Развалки. Оттуда открывался замечательный кругозор! Вся гряда снежного хребта Большого Кавказа была как на ладони! И я решила побывать там.

О чем думала я, сидя над пропастью? Об очень многом... О Карпатах и о моем лучшем товарище юных лет, об Ире... О родном доме, куда так радостно было возвращаться, о родных, встречавших меня там. Одно могу сказать с уверенностью: о шахте, куда я должна вернуться, я не думала. А тюрьма и все годы неволи? Нет! Утро было слишком ясным и воздух — слишком чист. Здесь — жизнь. Неволя и смерть отступили.



Альбом 11
август — октябрь 1956

Евфросиния любила и умела путешествовать, но ее первая встреча с Кавказом была особой. После долгих лет неволи, работы на Севере в шахте она чувствовала дух свободы и наслаждалась первозданной красотой южной природы. Везде, где только можно, она предпочитала идти пешком и рисовала. Этот графический альбом «Кавказ» сохранился.

Ее маршрут пролегал из Кисловодска по Военно-Грузинской дороге автобусом, через Крестовый перевал, по реке Терек, через Дарьяльское ущелье, в столицу Грузии Тбилиси. Далее поездом до Кировакана, через Семеновский перевал, город Дилижан, озеро Севан, в столицу Армении Ереван.

В Грузии Евфросиния заметила накаленность в обществе. Она узнала от людей о Тбилисских событиях (разгон сталинских митингов в Тбилиси в марте 1956 года силами Советской Армии), но статуи Сталина еще не решались убрать. И в Ереване грубо вытесанный идол «отца народов» еще стоял при въезде в город. Прежние хозяева отводили себе лучшие места под дачи, например, берег озера Рица, но и новые руководители государства поступали так же, превращая заповедные места в свои владения, в чем Евфросиния убеждалась, натыкаясь в своих путешествиях на глухие стены с колючей проволокой там, где недавно она проходила свободно.

Получив общее представление о Кавказе и осмотрев достопримечательности больших городов, она пустилась в обратный путь по Военно-Грузинской дороге в кузове машины, а после Крестового перевала шла пешком и рисовала Казбек и другие горы, пещеры, скалы, Терек, Дарьяльское ущелье. Ей хотелось поделиться этой красотой с близким по духу человеком, и она представляла, что рядом с ней двоюродная сестра Ира. Сделав зарисовки орлиных гнезд на Белых Камнях у Владикавказа, она села на грузовик и приехала в Ессентуки.

Евфросиния захотела совершить еще одно путешествие: отправиться в Тебердинский заповедник и через Большой Кавказский хребет дойти до Черного моря. Автобусом она

доехала до Черкесска, пешком и на попутках до Карачаевска, а оттуда до Теберды. У Евфросинии не было ни путевки в альплагерь, ни разрешения посетить заповедник. Место в палаточном лагере ей не дали. В середине августа на высоте 2500 метров, у подножия мощных ледников, она ночевала без одеяла. В Домбае она побывала на леднике Алибек, где завязалась ее долгая дружба с московским семейством альпинистов, ходила к Турьему озеру, на Семенов-Баши.

Идти по Клухорскому перевалу разрешалось только группам в сопровождении милиции, так как в том году боялись нападений горцев, реабилитированных и вернувшихся домой после массовой высылки в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году. Евфросиния шла одна, спасаясь от жары погружением в ледяную горную реку Ганачхир. У начала дороги-серпантина к Клухорскому перевалу она миновала палаточный лагерь для туристов «Северный приют», прошла по тропинке вдоль горного потока Северный Клухор. Спустилась по леднику, обрывающемуся к Клухорскому озеру крутым косогором, по слежавшемуся, скользкому снегу.

Впереди была Абхазия. Вниз Евфросиния мчалась, перескакивая с камня на камень, а по языкам снега неслась, садясь верхом на палку. Дорогу указывала речка Южный Клухор. Один из притоков реки Клыч она перешла по снежному «мосту», образовавшемуся после выброса зимних лавин. Лагерь «Южный приют» очаровал ее буками и запомнился беседой с проводниками-сванами. В Кондорском ущелье она ехала по «карнизу» на Багатских скалах и оказалась в Сухуми, на Черном море.

В Новом Афоне она посетила Анакопийскую крепость на Иверской горе. Строили крепость и монастырь в VII–IX веках, а в 1930-х годах, когда советская власть изгоняла монахов, тысячелетние постройки взорвали динамитом. Ее поразило это варварство. Заночевав на горе, чтобы утром закончить этюд, она была потрясена, увидев, как старичок монах, оставленный здесь сторожем, ночью бродил меж могил, окуривая их ладаном и шепча молитву. Это побудило ее выйти за пределы монастыря, чтобы не нарушать мона-

стырский устав, по которому женщинам запрещалось ночевать в мужском монастыре. На рассвете она дала монаху денег на ладан.

Евфросиния продолжала путь по Черноморскому побережью. Ей полюбились реликтовые сосны солеустойчивой породы в Пицунде. Из города Гагра она поехала на Рицу и рисовала рассвет на этом высокогорном озере. Шоссе шло только до «сталинского нарзана»; при попытке спросить маршрут через горный перевал к Красной Поляне бдительные студенты из туристской партии чуть не приняли ее за шпиона, одиночный турист-рисовальщик вызывал в то время подозрение. Но встреченный ею в горах столетний горец-проводник показал верную тропу, она шла по Сванетскому хребту, справа был большой Кавказ с Эльбрусом; слева — Гагрский хребет. По долине реки Мзымта Евфросиния пришла к Красной Поляне, а оттуда — в Адлер и Сочи.

В оставшиеся дни отпуска она съездила в понравившийся ей Ленинград, осмотрела его памятники, музеи и пригород Петергоф.

▶ Маршруты походов-путешествий Евфросинии по Кавказу 1956 года *нанесены составителем на карту из энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона (1890–1907).*

1. Из Кисловодска по Военно-Грузинской дороге, через Крестовый перевал, по реке Терек, через Дарьяльское ущелье, Тбилиси, Кировакан, через Семеновский перевал, Дилижан, озеро Севан, Ереван.

Обратно: автобусом по Военно-Грузинской дороге, после Крестового перевала — пешком, Казбек, река Терек, Дарьяльское ущелье, Белые Камни у Владикавказа, Ессентуки.

2. Пешеходный поход-путешествие: Черкесск, Карачаевск, Теберда, Домбай. ледник Алибек, Турье озеро, Семенов-Баши, Клухорский перевал, река Ганачхир, Северный Клухор, лагерь для туристов «Северный приют», река Южный Клухор, приток реки Клыч, лагерь «Южный приют», Кондорское ущелье, Сухуми, на Черном море, Новый Афон, Анакопийская крепость на Иверской горе, Пицунда, Гагра, озеро Рица, Сванетский хребет, долина реки Мзымта, Красная Поляна, Адлер и Сочи.

Тепло, тихо, а главное, спокойно. Можно ли желать лучшего ночлега?

Автобус — маленький дребезжащий драндулет — едва дотащился до Тифлиса* к 9 часам вечера. На юге это глубокая ночь. Город не лес, где каждый кустик ночевать пустит! Несколько попыток разузнать, куда бы приткнуться, натолкнулись на враждебность. Надо выйти из города. Но куда? Слева — Кура; справа — гора. Я пошла вверх, в гору. Но все улочки заканчивались в чьем-либо саду, где спали хозяева. Так, идя все вверх и вверх, я дошла до какой-то церкви, за которой простиралось кладбище, обнесенное оградой с чугунными воротами на замке. Я перемахнула через ограду, отыскала комфортабельную могилу с широкой плитой черного мрамора.

Кругом — кресты, ангелы, венки. Лучше не придумаешь! Камень еще не остыл, и я уснула, как только легла. Давно не спала так хорошо.

* Автобус шел из Кисловодска по Военно-Грузинской дороге.

Тепло, тихо....а, главное, спокойно. Можно ли желать лучшего ночлега
Автобус - маленький дребезжащий драндулет - едва дотащился до
Тифлиса к 9-ти часам вечера. На юге, это - глубокая ночь. Город - н
лес, где „каждый кустик - ночевать пустит"! Несколько попыток
разузнать, куда бы приткнуться, натолкнулись на враждебност
Надо выйти из города. Но...куда? Слева - Кура; справа - гора. Я но
шла вверх, в гору. Но все улочки заканчивались в чьём либо са
ду, где спали хозяева. Так, идя все вверх и вверх. Так я дошла д
какой то церкви, за которой простиралось кладбище, обнесенное оград
с чугунными воротами, на замке. Я перемахнула через ограду, отыск
ла комфортабельную могилу с широкой плитой, черного мрамора.
Кругом - кресты, ангелы, венки. Лучше не придумаешь! Камень еще не
остыл и я уснула, как только легла. Давно не спала так хорошо.

Чтобы одним взглядом окинуть весь Тифлис или, как его теперь называют, Тбилиси, лучше всего взобраться на гору Святого Давида (или [Мтацминда]). Туда ходит фуникулер. Есть и шоссе — серпантин. На полпути — церковь, где похоронен Грибоедов... и — мать Сталина. Наверху — Храм Воздуха, который правильней было бы назвать Храм Сталина. Хотя в 1956 году Хрущев уже развенчал (и обгадил) Сталина и его идолов почти повсюду изгнали, но Грузия еще хранила ему верность.

Чтобы, одним взглядом окинуть весь Тифлис или, как его теперь называют, Тбилиси, лучше всего взобраться на гору св. Давида (или). Туда ходит фуникулёр. Есть и шоссе-серпантин. На пол-пути- церковь, где похоронен Грибоедов...и -мать Сталина. Наверху - "Храм Воздуха", который правильней было бы назвать Храм Сталина. Хотя в 1956 году Хрущёв уже развенчал (и обгадил) Сталина и его идолов, почти повсюду "изгнали", но Грузия еще хранила ему верность

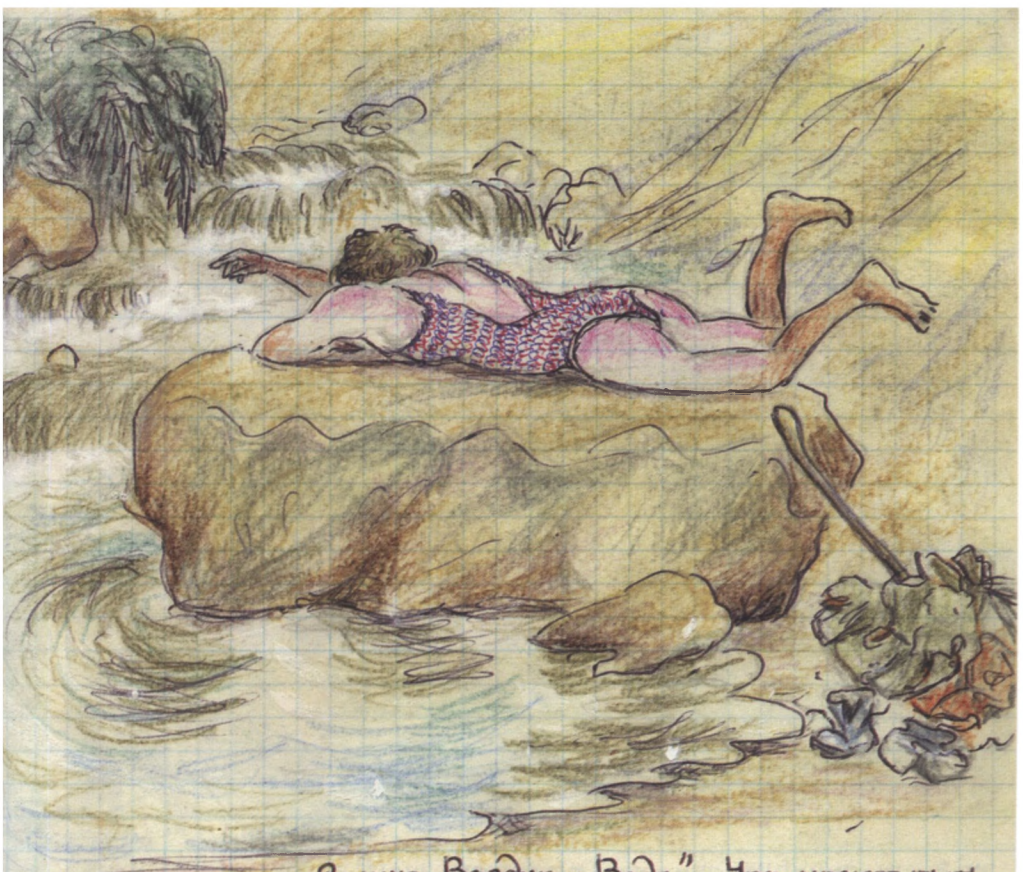
К южному темпераменту нужно привыкнуть. А мне с непривычки показалось, что в поезде, из которого я только что вышла, происходит драка, а может быть — резня. На всякий случай я пустилась наутек. Все, однако, объяснялось просто: это родственники провожали после свадьбы молодых...

Очевидно, знакомиться надо было не только с горами Кавказа, а и с кавказскими нравами и обычаями. Я еще не раз попадала впросак!

АЛЬБОМ 11. РИС. 3

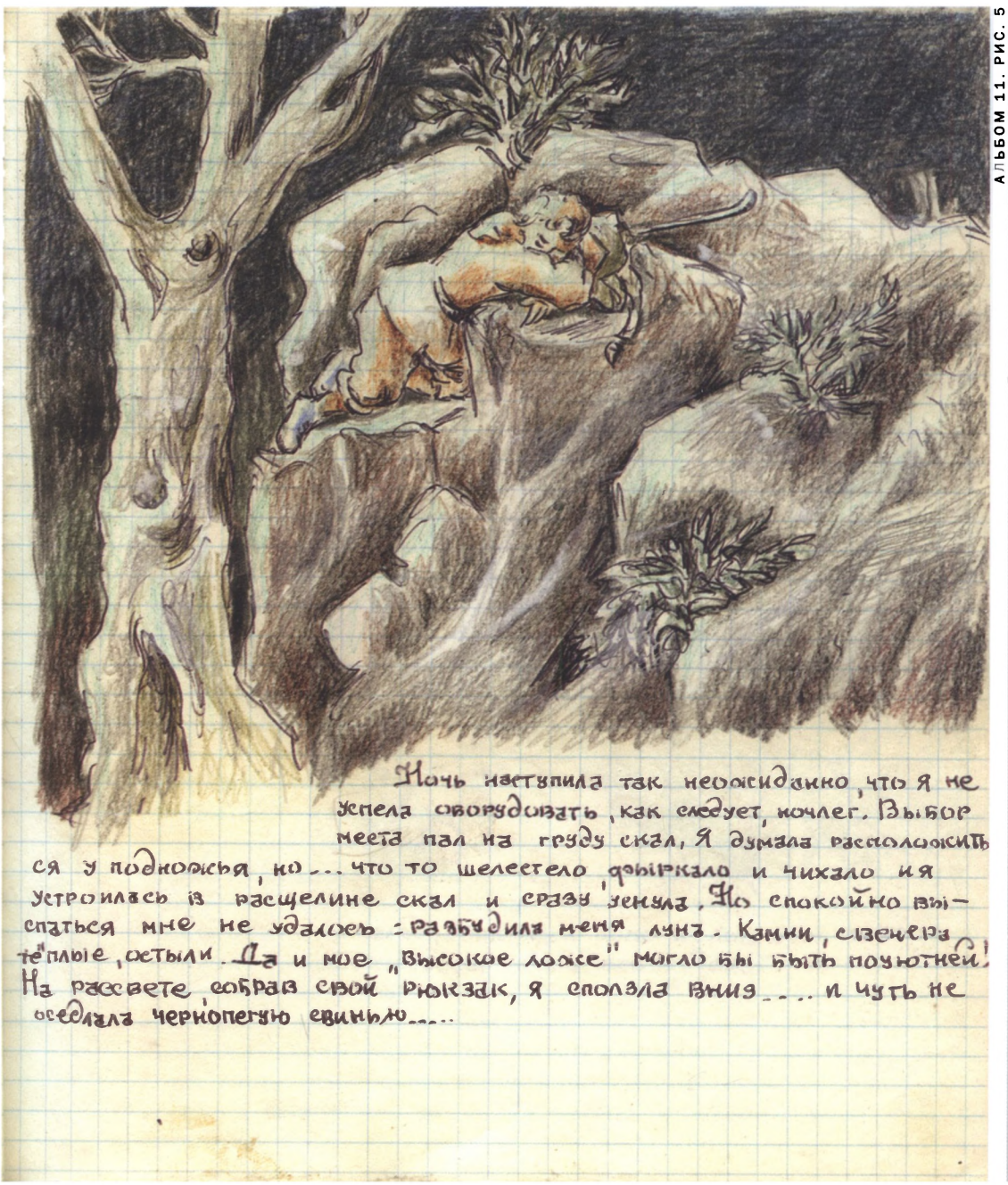
АЛЬБОМ 11. РИС. 3 (ФРАГМЕНТ) ▶

Солнце, Воздух и Вода... Что может быть лучше?! В полдень, в самую жару я решила отдохнуть. Идя на рокот воды, я спустилась в овраг. Я не ошиблась: там мчалась по камням горная речка (Агетёв, как впоследствии я узнала). Я облюбовала обломок скалы: поверхность его была плоской, а возле него — заводь, достаточно глубокая и тихая. Быстро раздевшись, я надела купальник и плюхнулась в эту купель. Вода меня буквально обожгла — до того была она ледяная! Я выскочила и растянулась на камне... и тут же вскочила: камень был раскален как сковорода! Так продолжалось и дальше: из ледяной воды на раскаленный камень и обратно. Немного напоминало сибирскую баню: из парилки — в прорубь. Но освежилась и отдохнула я замечательно.



ше?! В полдень, в "Солнце, Воздух и Вода"... Что может быть
кат воды, я спустилась в овраг. Я не ошиблась: там мчалась, по
чням, горная речка (Агетеиз, как я, впоследствии узнала). Я обло-
зала обломок скалы: поверхность его была плоской, а возле него-
золь, достаточно глубокая и тихая. Быстро раздевшись, я надела ку-
льник и плюхнулась в эту "купель". Вода меня, буквально, обожгла
о того была она ледяная! Я выскочила и растянулась на камне... и
же вскочила: камень был раскалён, как сковорода! Так мне
меваться и дальше: из ледяной воды на раскалённый камень
обратно. Немного напоминало сибирскую баню: из парилки —
прорубь. Но осилась и отдохнула я замечательно,

Ночь наступила так неожиданно, что я не успела оборудовать как следует ночлег. Выбор места пал на груду скал. Я думала расположиться у подножья, но что-то шелестело, фыркало и чихало, и я устроилась в расщелине скал и сразу уснула. Но спокойно выспаться мне не удалось: разбудила меня луна. Камни, с вечера теплые, остыли. Да и мое высокое ложе могло бы быть поуютней! На рассвете, собрав свой рюкзак, я сползла вниз... и чуть не оседлала черно-пегую свинью...



АЛЬБОМ 11. РИС. 5

Я отступила в сторону и с недоумением посмотрела на груду мешков, ящиков и всякой домашней утвари, увенчанную человеческой головой с армянским носом. Голова была обмотана платком и курила трубку. Все это двигалось на игрушечных ножках, снабженных крошечными копытцами, словно Конек-Горбунок из сказки!

Хоть мы и «рождены, чтоб сказку сделать былью», однако, присмотревшись, я поняла, что это — незаменимое в горных условиях грузотакси с длинными ушами, то есть обыкновенный ишак. Необыкновенной была лишь бессовестность седока, длинные ноги которого волочились бы по земле, если бы он их не поджимал.

Я долго смотрела вслед, удивляясь силе и ловкости этого «Конька-Горбунка» и бессердечью его седока.

Я вздрогнула и повернулась. За мной стоял Гаврош... в армянском издании. Он протягивал мне большую рыбу — должно быть, форель.

— Купы риба! Кароши риба! Свэжи...

В это время где-то затрещал мотор мотоцикла, и Гаврош исчез, как дым.

Проблема снабжения курортников Дилижана продуктами питания (по крайней мере рыбой) несколько прояснилась.

Боже мой! И это — армяне, знаменитые мастера — резчики по камню...
и вдруг создали такую безобразную «каменную бабу»!

Говорят, что эти земли весьма плодородны. Не спорю... Но, пожалуй, лучше всего они родят... камни. И еще всяких членистоногих: фаланг, пауков, тарантулов, скорпионов и пр., и пр. Они сидят под каждым камнем! С трудом я очистила место для ночлега. И то всю ночь что-то копошилось, и я ежеминутно просыпалась, зажигала спичку и горестно вздыхала. Нет! В Бессарабии лучше.

Говорят, что эти земли - весьма плодородны. Не спорю... Но, пожалуй, лучше всего они родят ....камни. И еще всяких членистоногих: фаланг, пауков, тарантулов, скорпионов и пр. и пр. Они сидят под каждым камнем! С трудом я очистила место для ночлега. И то, всю ночь, что то копошилось и я, ежеминутно, просыпалась, зажигала спичку и ....горестно вздыхала. Нет! В Бессарабии лучше.

Я бродила по вокзалу Кировакана, прижимая к груди арбузные корки, и не могла найти ни одного мусорного ящика, чтобы избавиться от них. За мной увязалась группа бездельников, пытавшихся мне помочь:
— Бросай сюда! Гуси начальника станции съедят!
— Бросай туда: у сторожа — свинья. Она их подберет...

Я не могла последовать их мудрому совету. Толпа росла, и когда я выбросила, наконец, эти корки где-то за семафором и возвращалась назад, то, проявив бдительность, они вызвали... милиционера, так как человек, не бросающий корки под ноги, по их мнению, должен был быть шпионом. Меня отвели в линейный пост и послали за начальником, который был где-то на свадьбе. Прибежал он в 21.45, а мой поезд отходил в 22 часа, так что я не успела ему высказать все, что было на душе. Но и того, что уложилось в 15 минут, было достаточно.

Я бродила по вокзалу Кировокана, прижимая к груди, арбузные корки и не могла найти ни одного мусорного ящика, чтобы избавиться от них. За мной увязалась группа бездельников, пытавшихся мне помочь: — „Бросай сюда! Гуси начальника станции съедят!" — „Бросай туда: у сторожа — свинья. Она их подберёт..." Я не могла последовать их мудрому совету. Толпа росла и, когда я выбросила, наконец, эти корки где-то за семафором и возвращалась назад, то, „проявив бдительность", они вызвали... милиционера, т.к. человек, не бросающий корки под ноги, по их мнению, должен был быть шпионом. Меня отвели в Линейный Пост и послали за начальником, который был где-то на свадьбе. Прибежал он в 21ч45м, а мой поезд отходил в 22ч, т.ч. я не успела ему высказать все, что было на душе. Но и того, что уложилось в 15м, было достаточно.

Вот это меня поразило! На перекрестке двух дорог — недалеко от Мцхеты, — откуда можно видеть остатки того монастыря, на слиянии Арагвы и Куры, там стояла... будка для продажи пива, соков и вод, и в этой маленькой будочке, в которой и одному-то тесно, стояли три продавца! Здоровые, молодые, сильные...

Впоследствии я убедилась, что в Грузии этому удивляться не приходится. Парикмахеры — мужчины, на вокзале эскимо продают мужчины и тут же рядом рельсы меняют... женщины! В горах обвал, перекрывший дорогу, разбирают, отгружают и бьют камень тоже женщины! А единственный мужчина... — учетчик: он ставит палочки, подсчитывая вывезенные тачки.

Вот это меня поразило! На перекрёстке двух дорог – недалеко от Мцхеты – откуда можно видеть остатки того монастыря, на слиянии Арагвы и Куры, там стояла... будка для продажи "пива, соков и вод", и в этой маленькой будочке, в которой и одному-то тесно... стояли три продавца! Здоровые, молодые, сильные... Впоследствии я убедилась, что в Грузии этому удивляться не приходится. Парикмахеры – мужчины; на вокзале эскимо продают мужчины и тут же рядом рельсы меняют... женщины! В горах обвал, перекрывший дорогу, разбирают, отгружают и бьют камень тоже женщины! А единственный мужчина... учётчик: он ставит "палочки", подсчитывая вывезенные тачки.

Правоверный дед-мусульманин совершает ритуальное омовение. Сперва лицо, руки, бороду. Затем принялся за одну ногу: снял с нее два носка, чувяк. Вымыл, вытер, обул и принялся за вторую. И на все это ему потребовалась... поллитровка воды! Ничего не скажешь: Магомет научил своих адептов экономно расходовать воду!

Правоверный дед-мусульманин совершает ритуальное омовение. Сперва лицо, руки, бороду. Затем принялся за одну ногу: снял с нея два носка, чувяк. Вымыл, вытер, обул и принялся за вторую. И на все это ему потребовалось ... поллитровка воды! Ничего не скажешь - Магомет научил своих адептов экономно расходовать воды!

Пасанаури — последняя остановка перед Крестовым перевалом, и наш водитель нервничал, снова и снова проверял свою машину, а пассажиры разбрелись, главным образом в пивнушку. А я... впитывала экзотику. Забрела я и в пекарню, где двое мужиков пекли лаваш — национальный грузинский хлеб. Поразил меня вид печки — своего рода глиняной бочки грушевидной формы. Тесто, раскатанное в виде лепешки, приклеивается к внутренней поверхности печки. Меня повсюду встречали враждебно. Как я ни просила, попробовать этого лаваша мне не удалось.

Пасанаури - последняя остановка перед Крестовым Перевалом и наш водитель нервничал, снова и снова проверял свою машину, а пассажиры разбрелись - главным образом в пивнушку. А я ..... впитывала экзотику". Забрела я и в пекарню, где двое мужиков "пекли „лаваш" - национальный грузинский хлеб. Поразил меня вид печки - своего рода глиняной бочки, грушевидной формы. Тесто, раскатанное в виде лепёшки приклеивается к внутренней поверхности печки. Меня повсюду встречали враждебно. Как я ни просила, попробовать этого лаваша мне не удалось

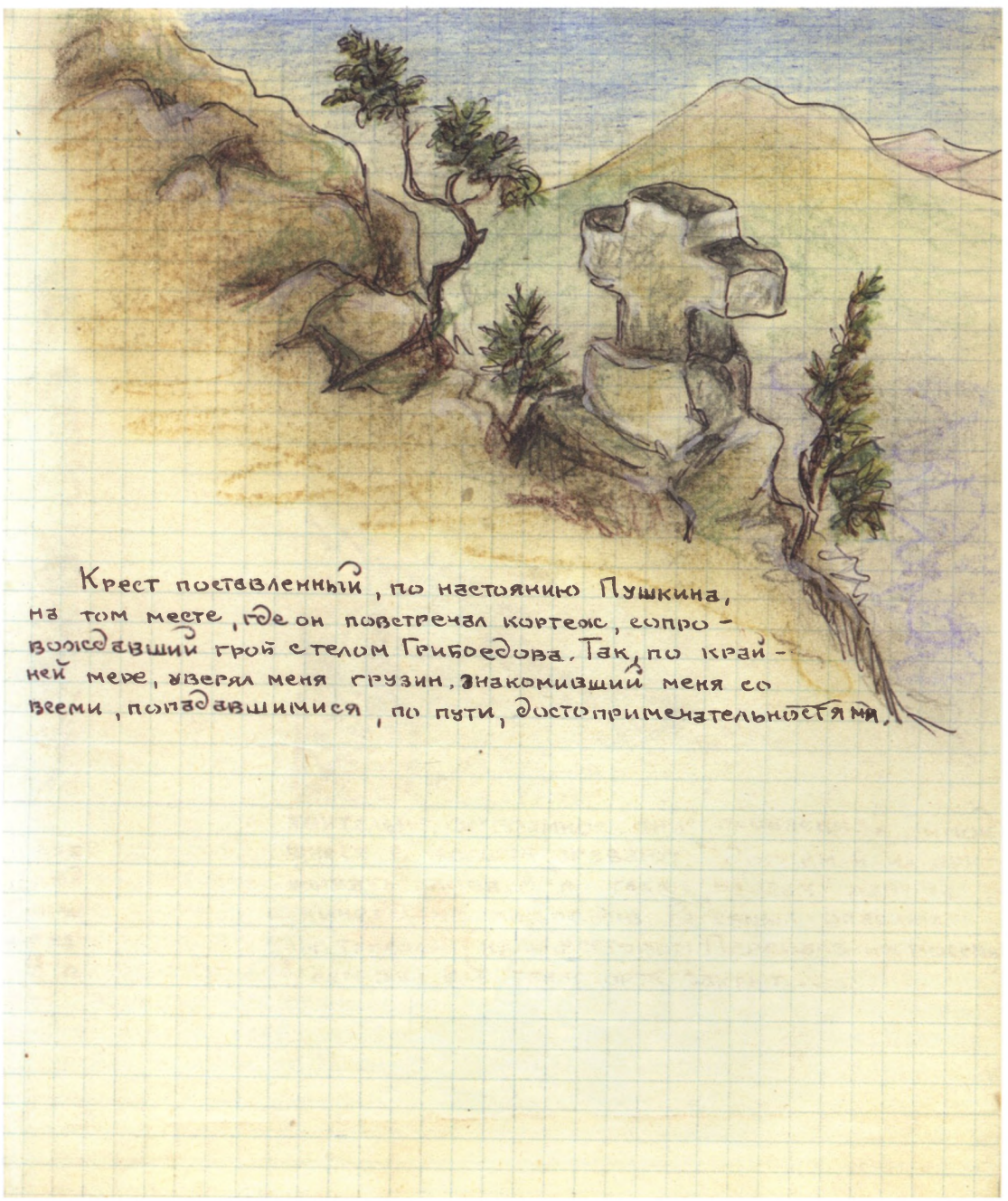
Отсюда пахну́ло стариной. Что это? Крепость? Замок? Церковь? Что-то очень старинное. Ведь Мцхета — старая столица Грузии...

Отсюда пахнуло стариной". Что это? Крепость? Замок? Церковь? Что-то очень старинное. Ведь Мцхета - старая столица Грузии...

Где только грузины не ухитряются вести торговлю!

На седьмом или восьмом витке серпантина на Крестовом перевале и то целыми днями сидят они, поджав ноги. Перед ними немного слив, груш, яблок, пара огурцов... Сколько за них они выручат? И сколько на это будет затрачено времени?

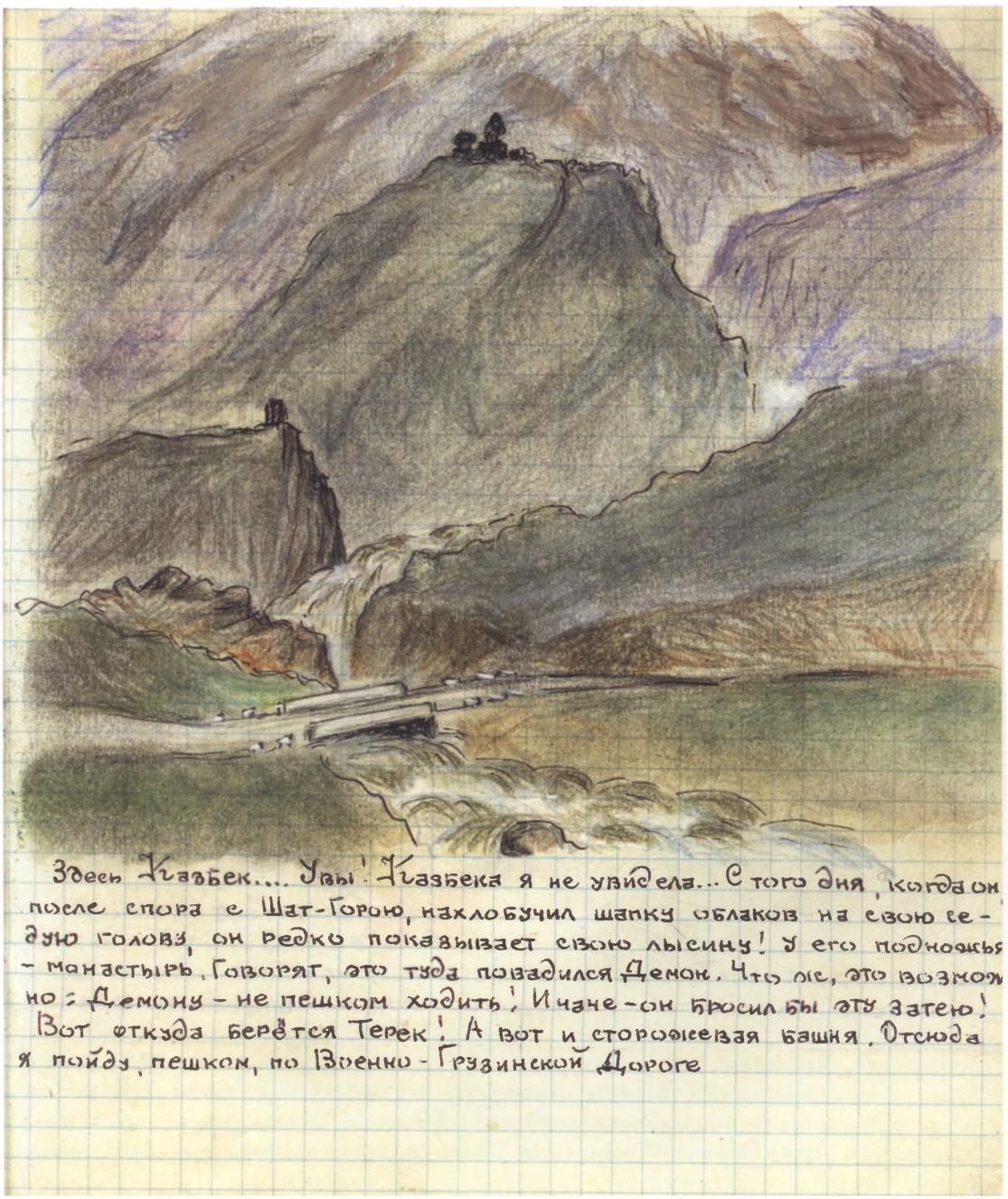
Крест, поставленный по настоянию Пушкина, на том месте, где он повстречал кортеж, сопровождавший гроб с телом Грибоедова. Так, по крайней мере, уверял грузин, знакомивший меня со всеми попадавшимися по пути достопримечательностями.



Сам перевал уже позади. Теперь — спуск к подножью Казбека, к долине Терека. Тут последняя остановка — проверка тормозов, а заодно можно попить очень вкусной минеральной воды.

Здесь Казбек... Увы! Казбека я не увидела... С того дня, когда он после спора с Шат-Горою нахлобучил шапку облаков на свою седую голову, он редко показывает свою лысину! У его подножья — монастырь. Говорят, это туда повадился Демон. Что ж, это возможно: Демону не пешком ходить! Иначе он бросил бы эту затею!

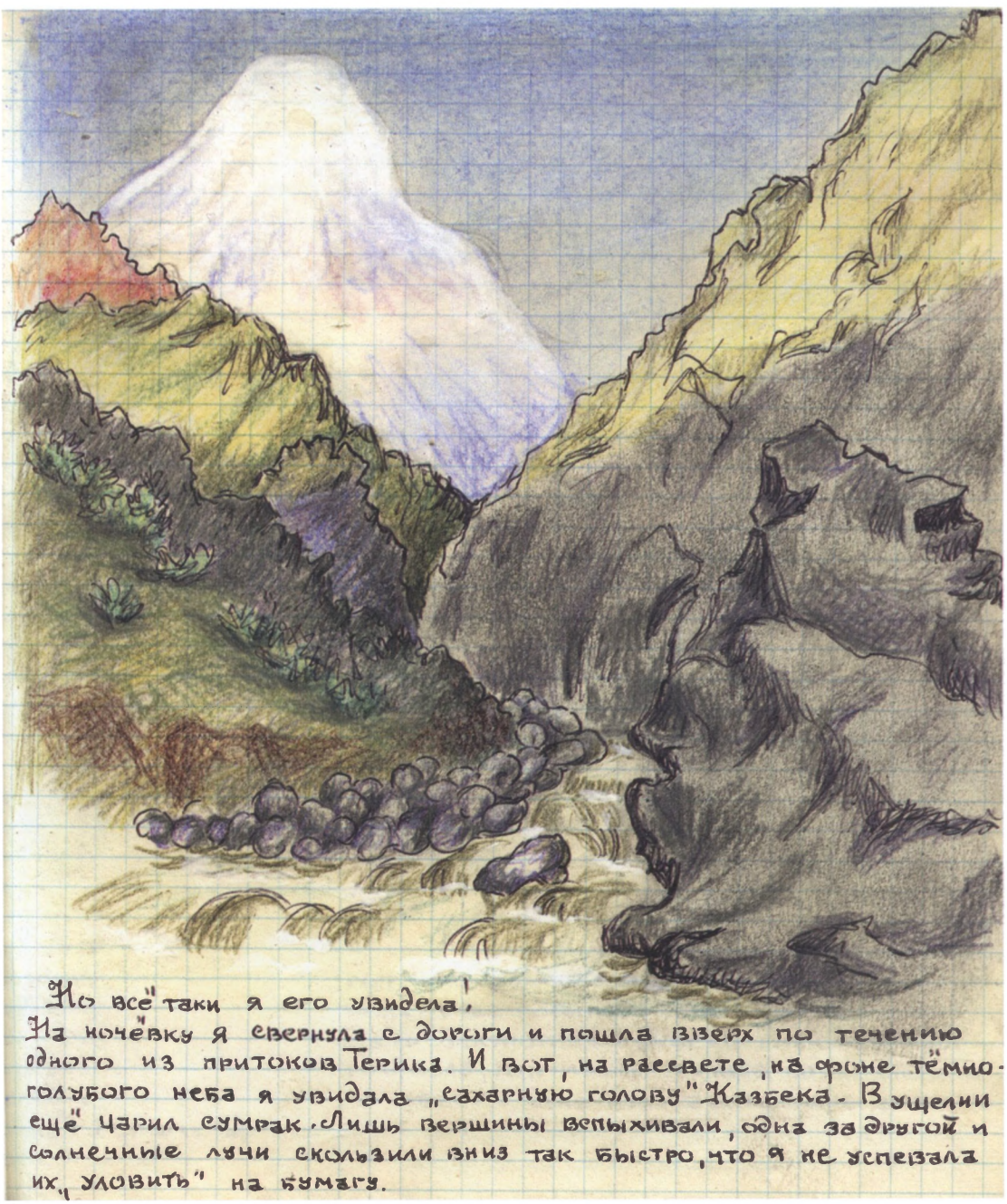
Вот откуда берется Терек! А вот и сторожевая башня. Отсюда я пойду пешком по Военно-Грузинской дороге.



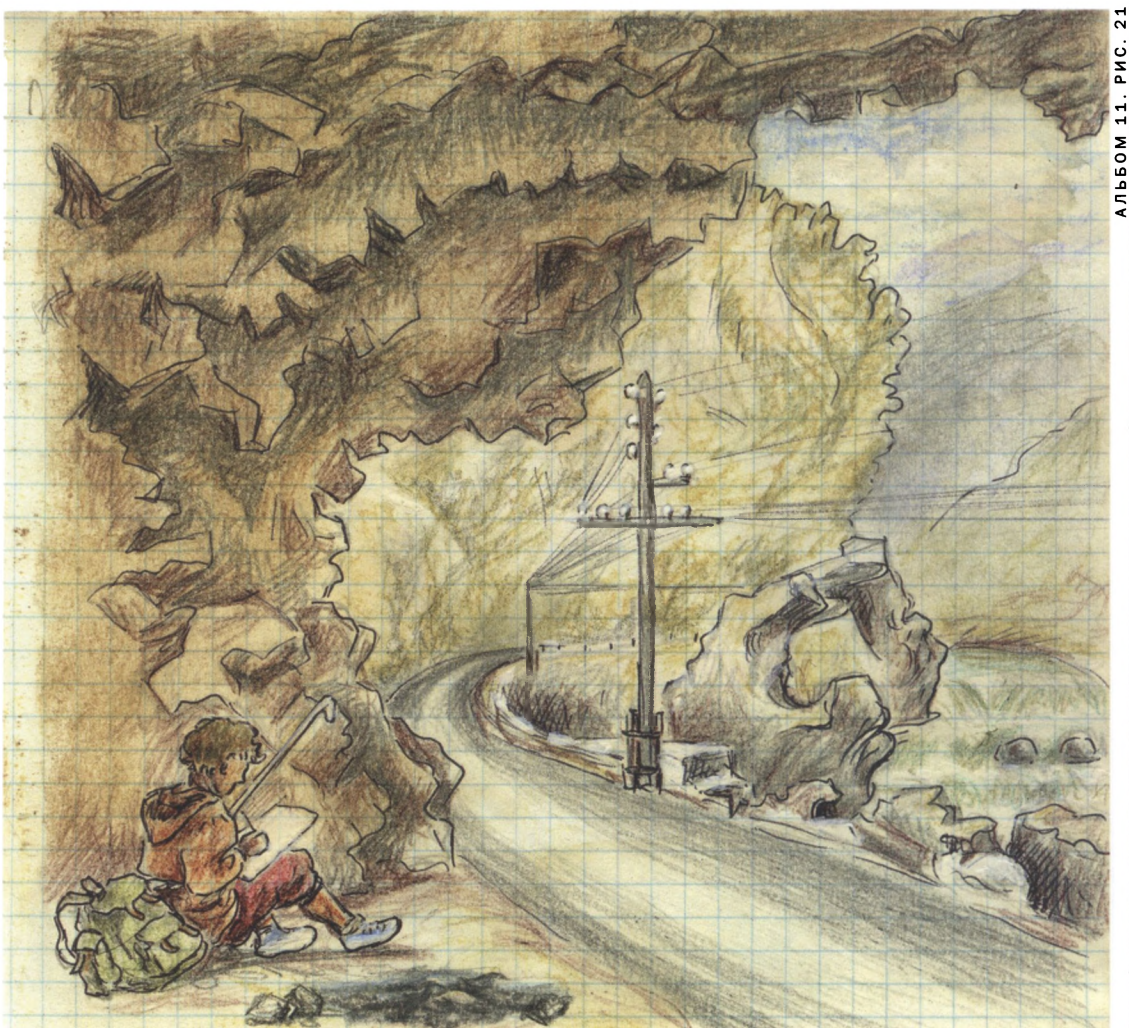
Скала «Пронеси, Господи!» — [такой она была] в 1956 году. Уже тогда она была далеко не та, что во времена Пушкина! И все же было жутковато проходить под ней. Однако жаль, что ее взорвали! Жаль, что вся Военно-Грузинская дорога стала безопасной и утратила свою романтику...

Но все-таки я его увидела!

На ночевку я свернула с дороги и пошла вверх по течению одного из притоков Терека. И вот на рассвете на фоне темно-голубого неба я увидела сахарную голову Казбека. В ущелии еще царил сумрак. Лишь вершины вспыхивали одна за другой, и солнечные лучи скользили вниз так быстро, что я не успевала их «уловить» на бумагу.

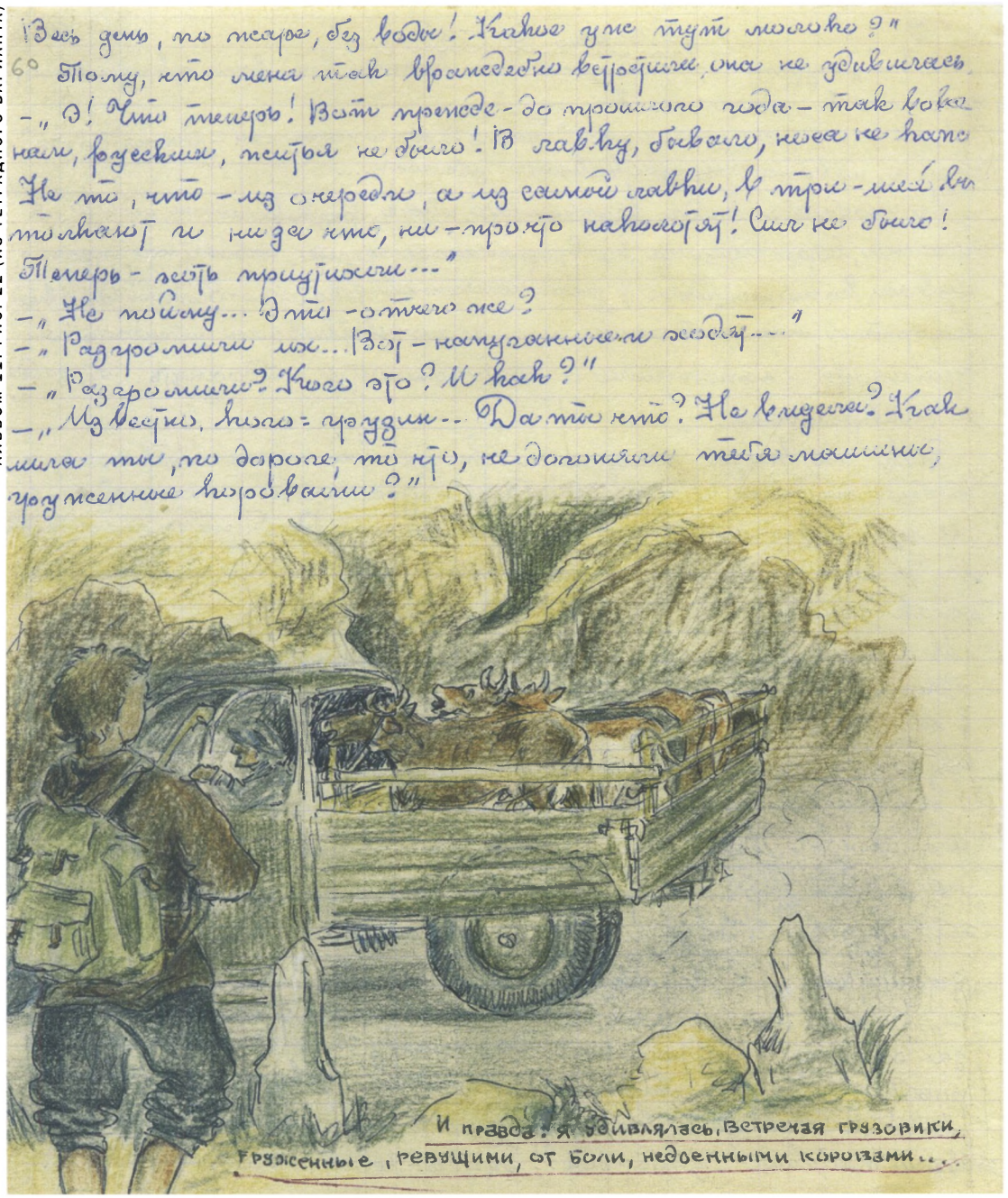


Горы, скалы, Терек... Из этих компонентов в разных сочетаниях получается целая вереница незабываемых картин! И неясно, для чего вдоль дороги созданы эти пещеры? Неужели это забота о путнике?! Вряд ли...

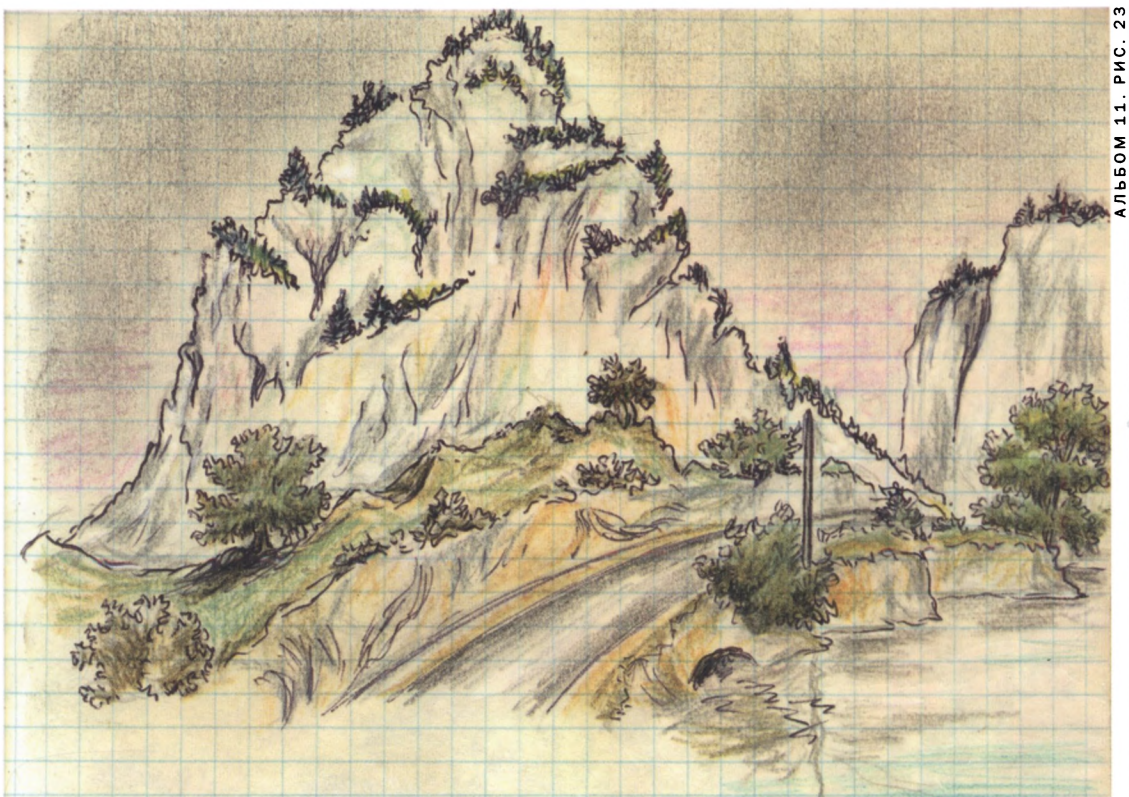


Меня то и дело обгоняли грузовики, груженные самыми разнообразными коровами: упитанными и худыми, яловыми, стельными или дойными, ревущими от боли, причиняемой распираемым молоком выменем. Уже тогда я задавала себе вопрос: «Что это за великое переселение коров?»*

* По рассказам, в 1955 году в Грузии были демонстрации, подавленные советскими танками, после этого у населения отбирали коров.



Здесь кончается Военно-Грузинская дорога. Терек уже не тот бешеный поток, от которого дрожат горы. Тут он — просто быстрая горная река.



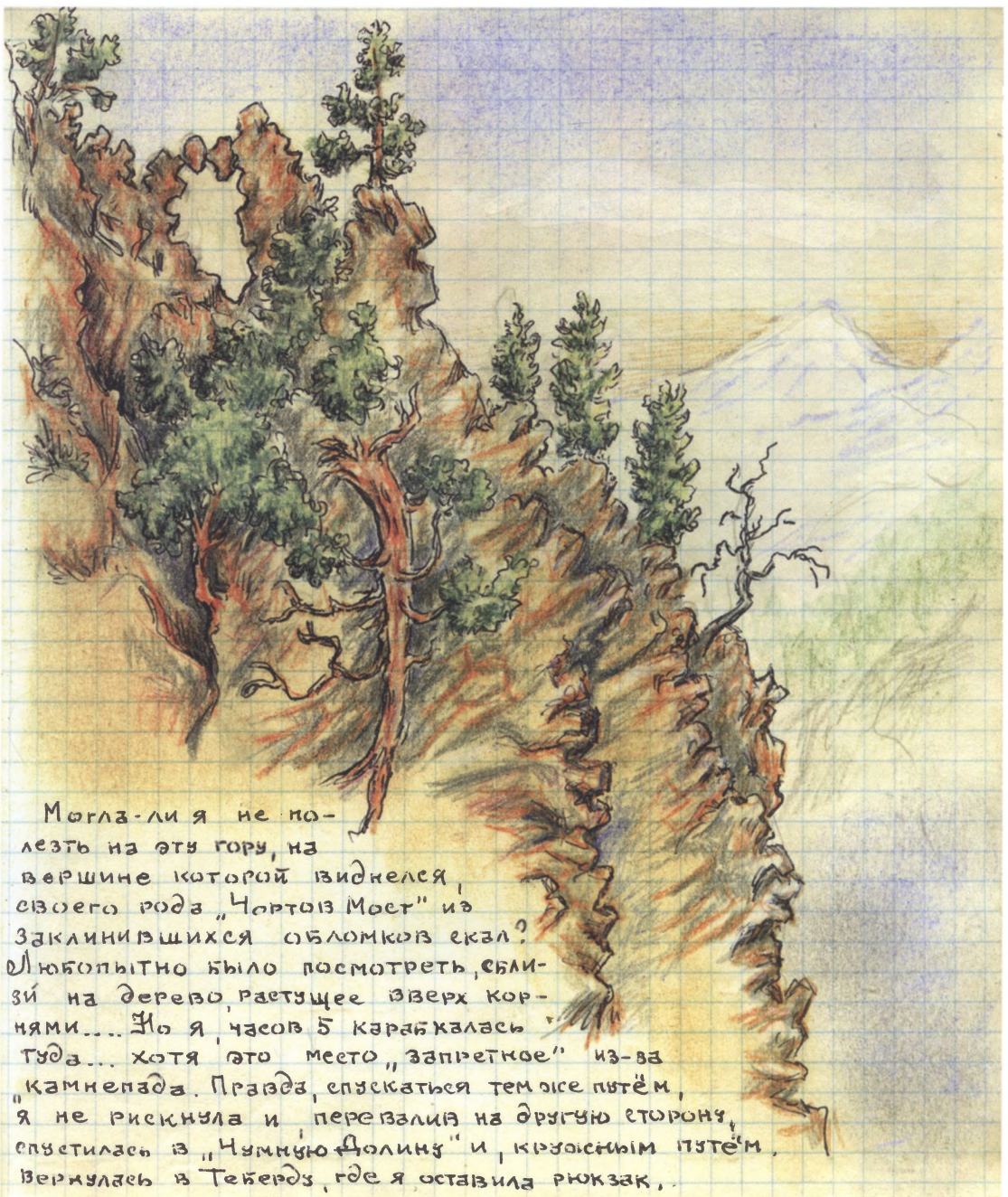
Здесь кончается Военно-Грузинская дорога. Терек уоке не тот бешенный поток, от которого дрожат горы. Тут он – просто быстрая горная река.

АЛЬБОМ 11. РИС. 23

С трудом я проскочила в Тебердинский заповедник и наконец впервые встретилась лицом к лицу с Большим Кавказом. Все было ново, неизвестно. Я не знала ни одного названия! Только — школьная карта для IX класса. Но я видела горы... Они меня заколдовали. И я знала, что пройду.

Могла ли я не полезть на эту гору, на вершине которой виднелся своего рода Чертов мост из заклинившихся обломков скал?

Любопытно было посмотреть вблизи на дерево, растущее вверх корнями... Но я часов пять карабкалась туда, хотя это место запретное из-за камнепада. Правда, спускаться тем же путем я не рискнула и, перевалив на другую сторону, спустилась в Чумную Долину и кружным путем вернулась в Теберду, где я оставила рюкзак.



Теперь тут цементный завод... Пыль... Но тогда, в 1956 году, это была сказка! Изумрудные папоротники, солнце, роса! Ни шоссе, ни моста. Но тогда — это было прекрасно!

АЛЬБОМ 11. РИС. 26

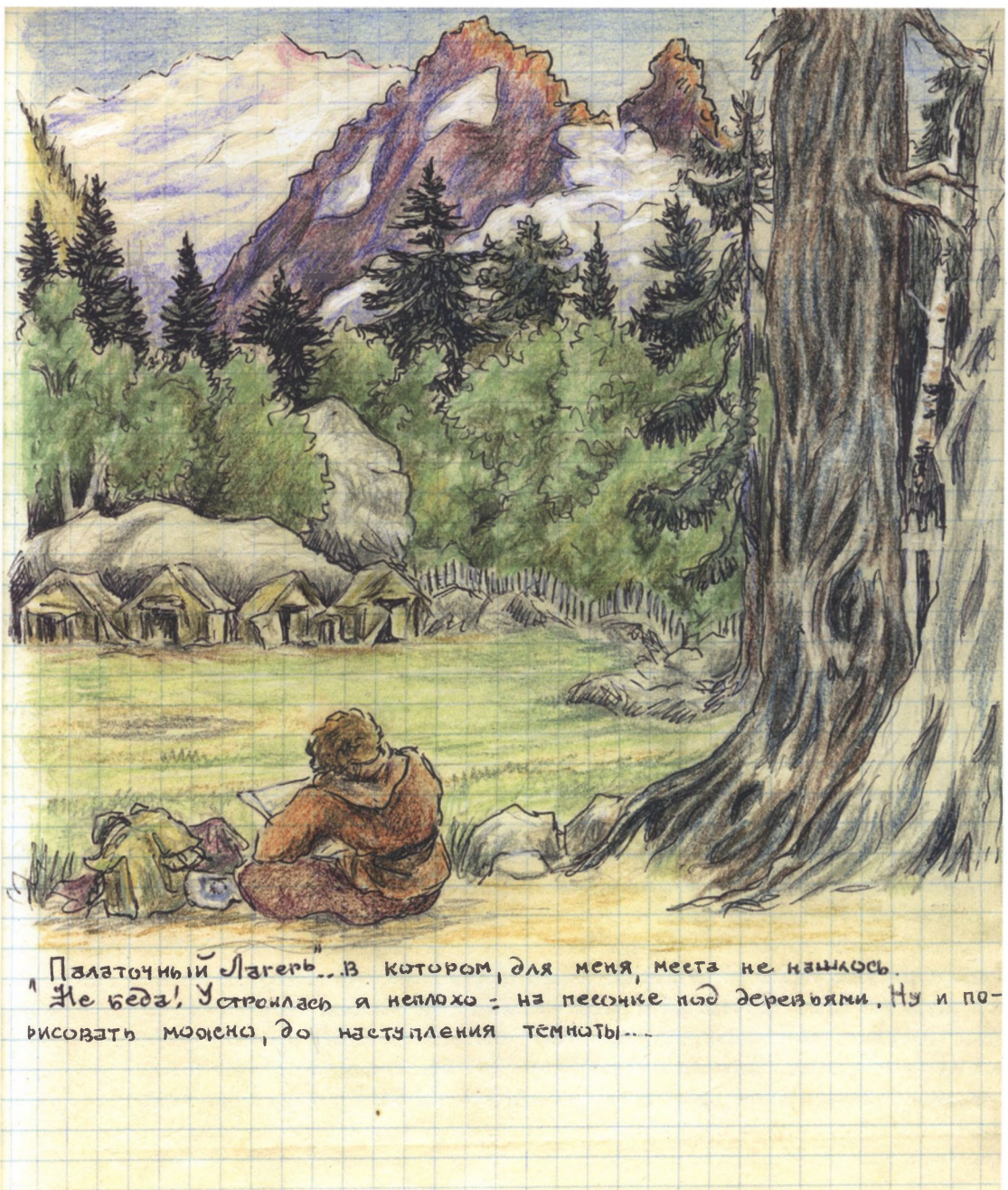
Домбайская Поляна... Знали монахи, когда выбирали место для монастыря, что это — действительно подножье Божьего Престола, что красивее и величественней места не найти! Одним взглядом можно окинуть все — от полной жизни цветущей долины до вечно мертвой, сверкающей своей беспощадно-суровой красотой цепи гор, покрытых вечными снегами.

Какое счастье, что я успела побывать там до того, как там построили шестиэтажную гостиницу и толпы туристов истоптали и загадили все, что только можно! Они уничтожили до последнего кустика заросли рододендронов, оставив взамен битые бутылки, консервные коробки, грязные бумаги и глупые надписи!

АЛЬБОМ 11. РИС. 27

Палаточный лагерь, в котором для меня места не нашлось.

Не беда! Устроилась я неплохо: на песочке под деревьями. Ну и порисовать можно до наступления темноты...



Дорога на Алибек. Я решила взобраться на Семенов-Баши, откуда большой кругозор.

От удивления я остановилась. И то сказать: было чему удивляться! На стволе сломанной ели были развешены на плечиках костюмы, пальто, а под ними сидел уже немолодой, лысый, плотный мужчина в одних трусах и читал толстенную книгу. В нескольких шагах на очаге из двух камней худенькая старушка что-то варила в закопченном ведерке.

Так состоялось мое знакомство с семьей Ольховских. Они — три поколенья — отец, бабушка и дочь — путешествовали по Кавказу. Дождь промочил их ночью, и теперь они сушились.

«Идти под конвоем? Опять под конвоем? Нет! Это меня не устраивает!» — подумала я.

Длинная вереница тянется в самую жару к перевалу. Впереди проводник с ружьем и лошадью; позади — милиционер с пистолетом. И ишак.

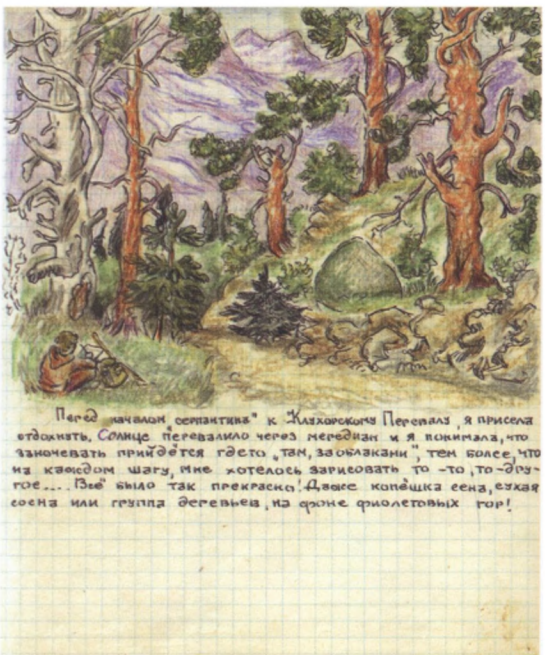
Нет, спасибо! Дорогу я и сама найду. Опасно? Ну — это как сказать! Зато никто не будет наступать мне на пятки. И буду смотреть на небо, на горы... на то, что захочу, а не на чью-то спину.

Заповедник!.. И вдруг такое безобразие: татарам-карачаям Хрущев разрешил для построек брать лес из заповедника. И вот как они делают дранку для крыш: свалят сорокаметровую пихту, распилят на чурки, отберут те, что без единого сучка, и расщепляют их топором и колотушкой. Из всей пихты выходит охапка дранки. Остальное — то есть почти все дерево целиком — сбрасывают в овраг.

Боже мой! И это в заповеднике! И это — распоряжение свыше...

Место для ночлега идеальное: сухо, мягкий песочек, родничок вкусной воды, обилье малины... Но... холодновато!

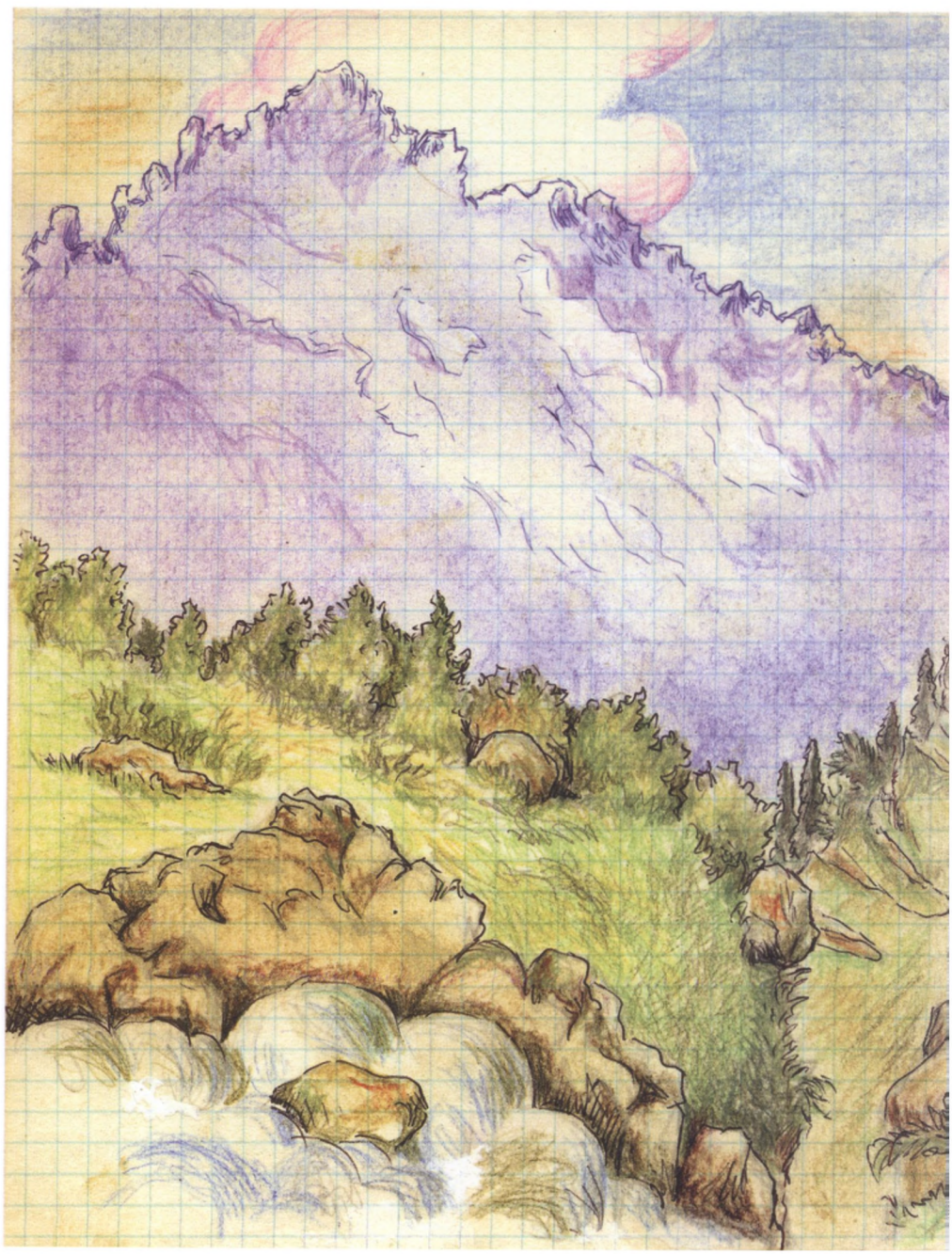
Перед началом серпантина к Клухорскому перевалу я присела отдохнуть. Солнце перевалило через меридиан, и я понимала, что заночевать придется где-то там, за облаками, тем более что на каждом шагу мне хотелось зарисовать то то, то другое... Все было так прекрасно! Даже копешка сена, сухая сосна или группа деревьев на фоне фиолетовых гор!

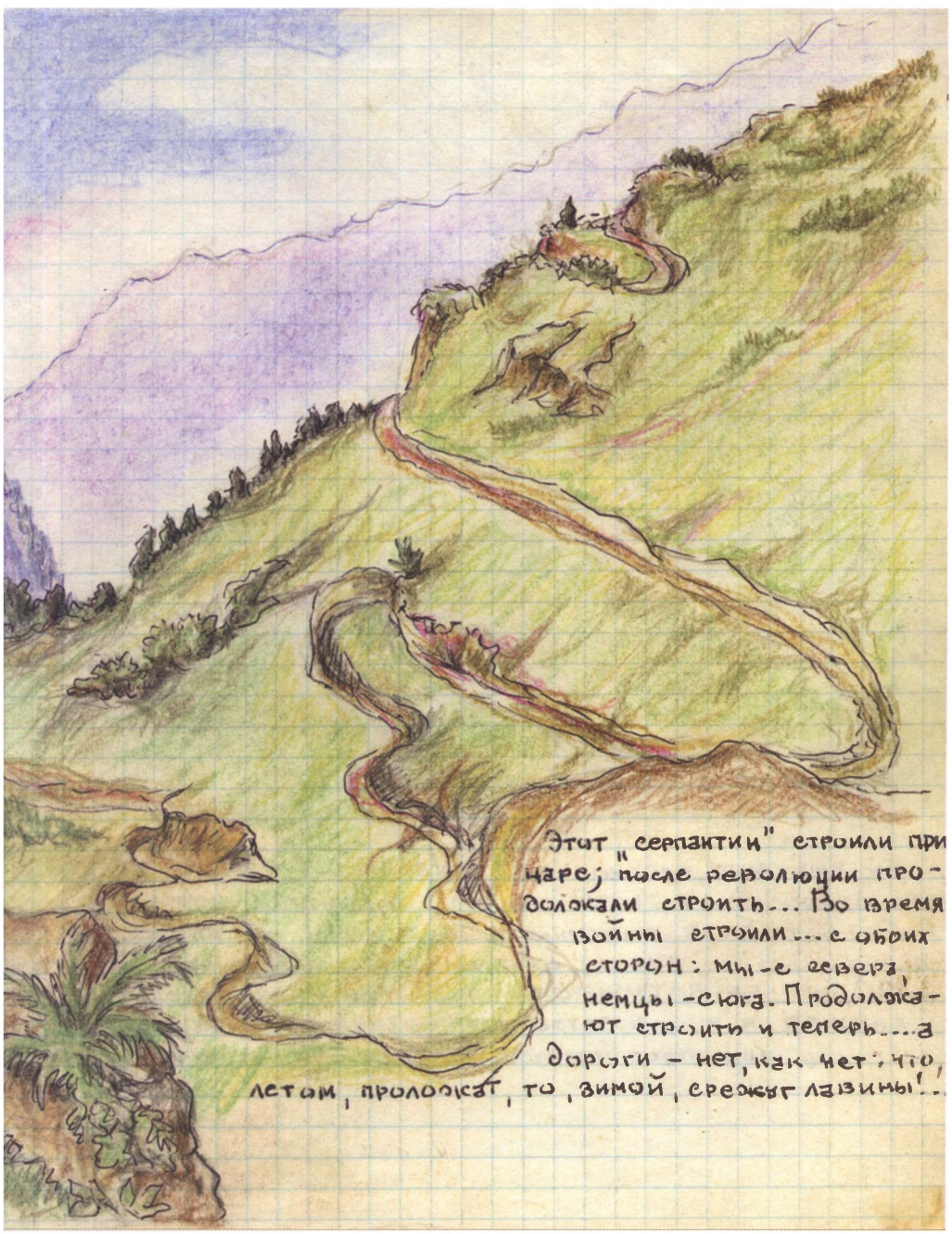


АЛЬБОМ 11. РИС. 34

АЛЬБОМ 11. РИС. 34 (ФРАГМЕНТ) ▼

Этот серпантин строили при царе; после революции продолжали строить... Во время войны строили... с обеих сторон: мы — с севера, немцы — с юга. Продолжают строить и теперь, а дороги нет как нет: что летом проложат, то зимой срежут лавины!




Этот „серпантин" строили при царе; после революции продолжали строить... Во время войны строили... с обоих сторон: мы - с севера, немцы - с юга. Продолжают строить и теперь.... А дороги - нет, как нет; что, летом, проложат, то, зимой, срежут лавины!..

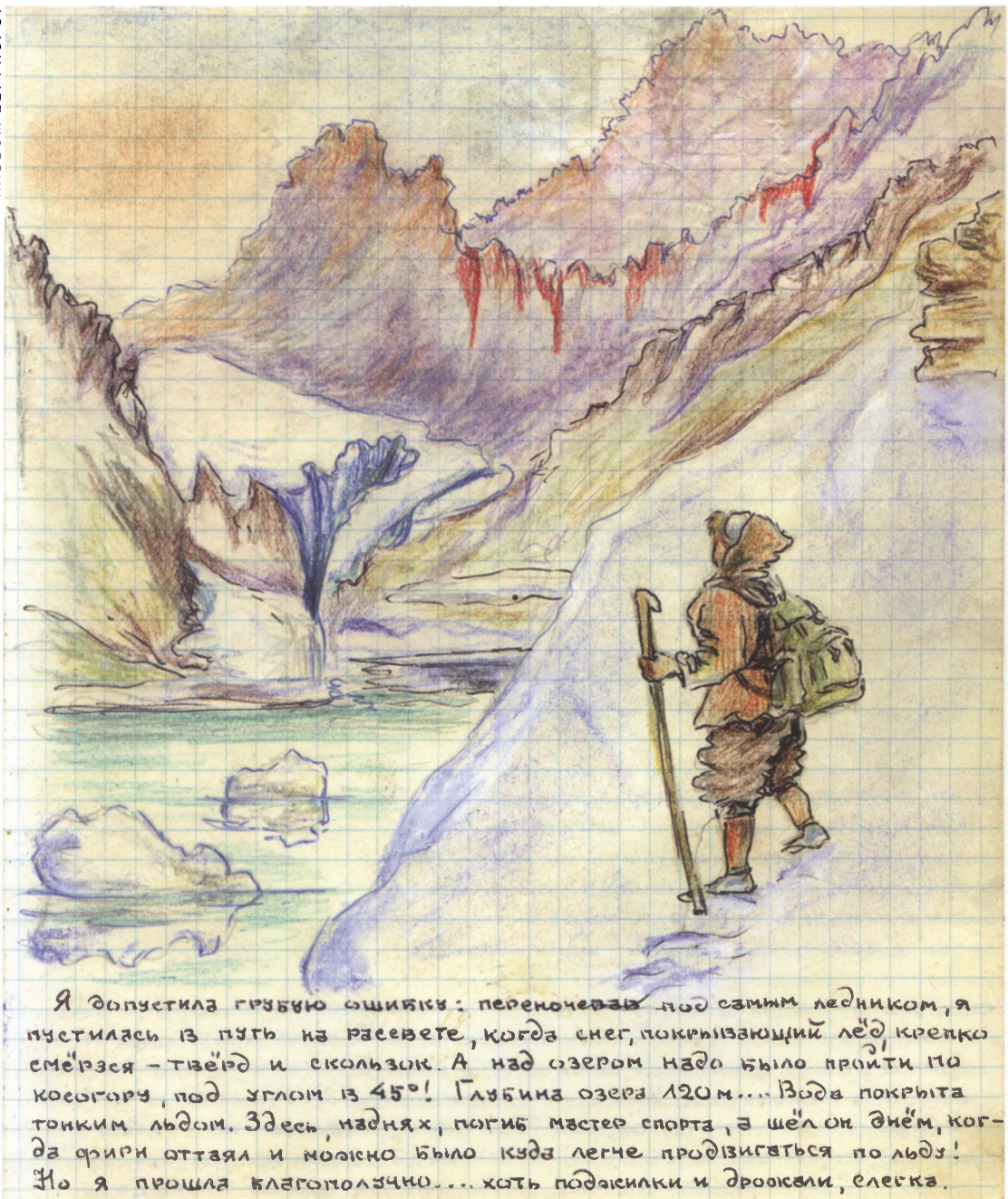
На рассвете мне послышалось что-то вроде цокота копыт. Что за чудеса? Тут, на голых скалах, коровы? Осторожно выползла я из расщелины, где я довольно уютно устроила свой ночлег, и... обомлела: какие-то призраки — не то коровы, не то козы — вырисовывались в густом предрассветном тумане... Я не успела и сообразить, что мне выпала редкая удача — увидеть на расстоянии всего нескольких метров туров, славящихся своей осторожностью. То ли зашуршал камень, то ли ветер донес опасный запах, но они с такой быстротой исчезли — будто провалились!

На рассвете, мне послышалось что то вроде цокота копыт. Что за чудеса? Тут, на голых скалах ... Коровы? Осторожно выползла я из расщелины, где я, довольно уютно устроила свой ночлег и ... обомлела: какие то призраки - не то - коровы, не то - козы вырисовывались в густом, предрассветном тумане ... Я не успела и сообразить, что мне выпала редкая удача - увидеть, на расстоянии всего нескольких метров, туров, славящихся своей осторожностью. То-ли зашуршал камень, то-ли ветер донёс опасный запах, но они с такой быстротой исчезли - будто провалились!

Я допустила грубую ошибку: переночевала под самым ледником, я пустилась в путь на рассвете, когда снег, покрывающий лед, крепко смерзся — тверд и скользок. А над озером надо было пройти по косогору под углом 45 градусов! Глубина озера 120 [метров]. Вода покрыта тонким льдом. Здесь на днях погиб мастер спорта, а шел он днем, когда фирн оттаял, и можно было куда легче продвигаться по льду!

Но я прошла благополучно, хоть поджилки и дрожали слегка.

АЛЬБОМ 11. РИС. 37



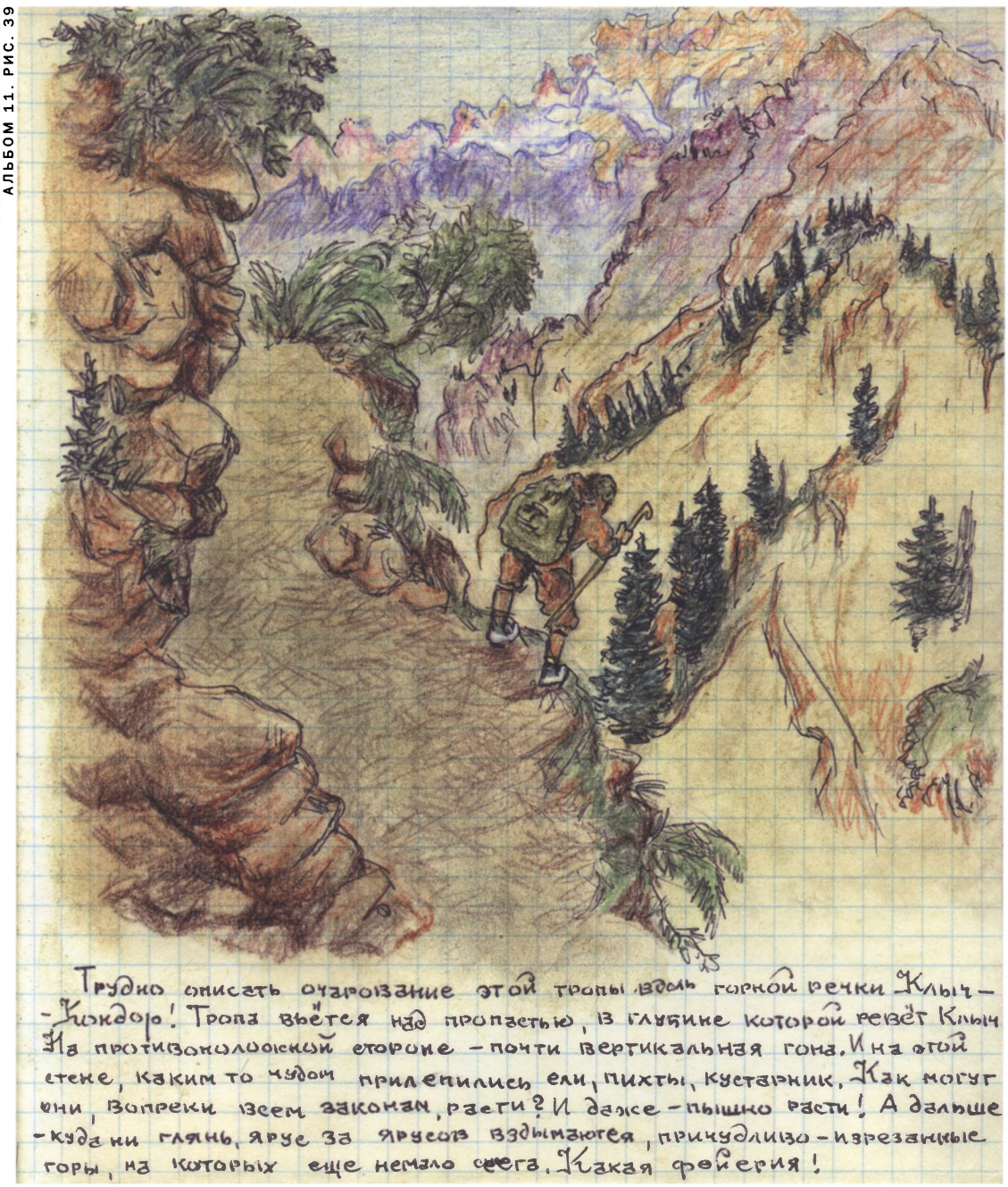
Спускаться было куда легче и быстрей, хотя, пожалуй, не так уж безопасно. В стороне виднелось что-то вроде тропы, которая вела со скалы на скалу — как по гигантской лестнице, но я слыхала, что многие едут на палке, как ведьма на помеле. Нужно только остерегаться валунов, но в детстве я лихо управляла санками. Почему бы не тряхнуть стариной? Вихрем пролетела я километра полтора.

Дальше пошли альпийские луга, пастбища, но снег сошел недавно, и травы было мало. Но в долине реки Клыч уже появились низкорослые деревья. Когда же долина повернула к югу, в лицо пахнуло теплом. Картина изменилась: все указывало на то, что перевал с его суровой, полярной физиономией остался позади. Удивительно, как это до Гумбольта люди не догадывались, что, спускаясь с вершины в долину, мы проходим климатические пояса.

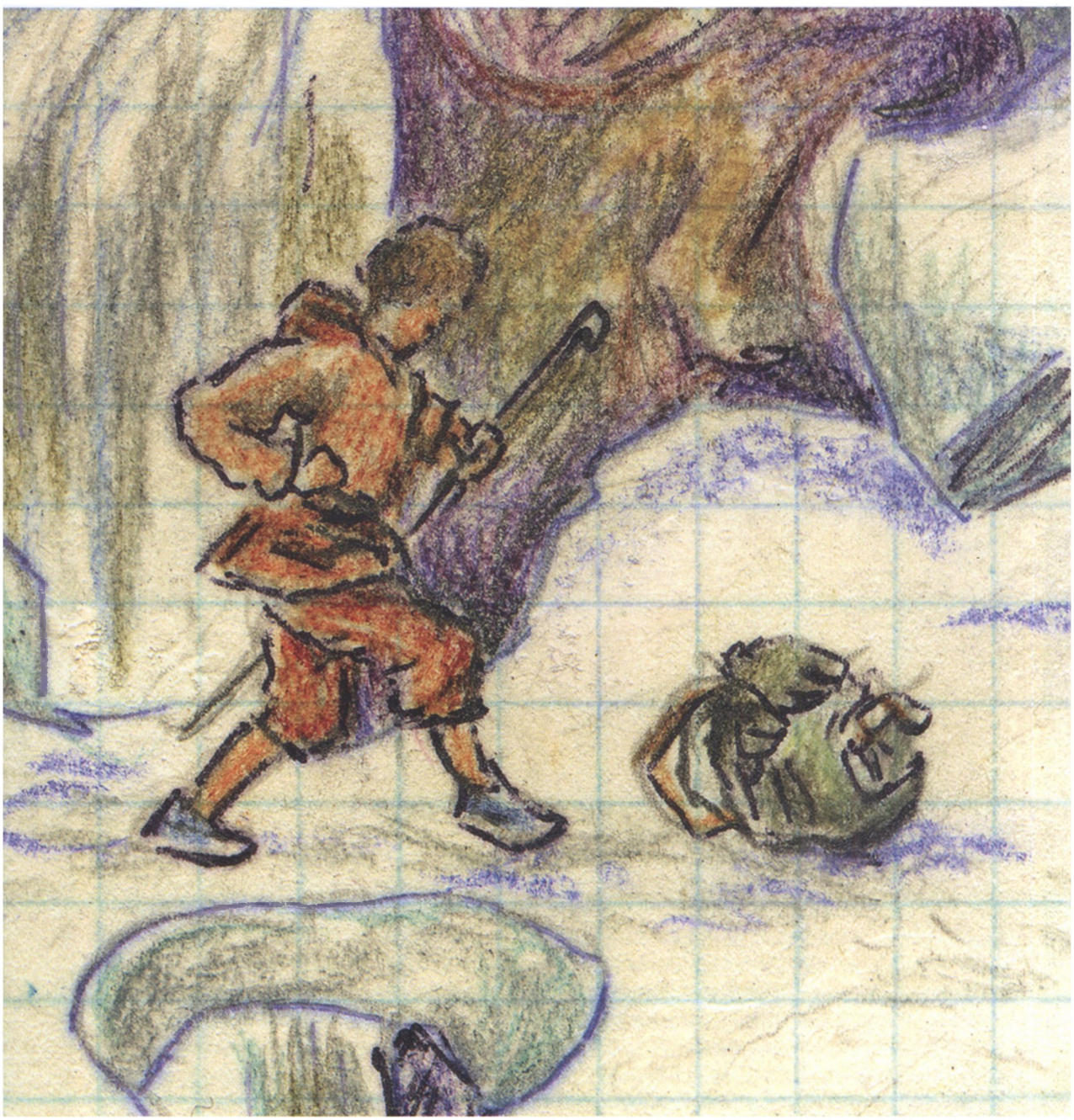
Спускаться было куда легче и быстрей, хотя, пожалуй, не так уж безопасно. В стороне виднелось что-то вроде тропы, которая вела со скалы на скалу — как по гигантской лестнице, но я слыхала, что многие едут на палке, как ведьма на помеле. Нужно только остерегаться валунов, но в детстве я лихо управляла санками. Почему бы не тряхнуть стариной? Вихрем пролетела я километра полтора.

Дальше пошли "альпийские луга", пастбища, но снег сошёл недавно и травы было мало. Но в долине реки Клыч уже появились низкорослые деревья. Когда же долина повернула к югу, в лицо пахнуло теплом. Картина изменилась: всё указывало на то, что перевал с его суровой, "полярной" физиономией остался позади. Удивительно, как это до Гумбольта люди не догадывались, что, спускаясь с вершины в долину, мы проходим "климатические пояса".

Трудно описать очарование этой тропы вдоль горной речки Клыч-Кондор! Тропа вьется над пропастью, в глубине которой ревет Клыч. На противоположной стороне — почти вертикальная гора. И на этой стене каким-то чудом прилепились ели, пихты, кустарник. Как могут они, вопреки всем законам, расти? И даже пышно расти! А дальше, куда ни глянь, ярус за ярусом вздымаются причудливо изрезанные горы, на которых еще немало снега. Какая феерия!



С непривычки страшновато переходить по снежному мосту, изрядно подмытому водой. Такие мостики — это остатки выброса, оставшегося от лавин, которые зимой делают эту тропу абсолютно непроходимой.



С непривычки страшновато переходить по снежному мосту, изрядно подмытому водой. Такие „мостики" – это остатки „выброса", оставшегося от лавин, которые, зимой, делают эту тропу, зимой, абсолютно непроходимой.

АЛЬБОМ 11. РИС. 40

АЛЬБОМ 11. РИС. 40 (ФРАГМЕНТ) ◀

Вот и Южный Приют! Лучшего места, даже в такой живописной местности, как на тропе вдоль реки Клыч, — трудно себе представить! Здесь располагался штаб тех «эдельвейсов»*, которые были сброшены в прошлую войну. И, разумеется, немцы все оборудовали: родник взяли в трубы, палатки поставили на помосты, устроили промывную уборную. Все это немцы бросили. Но теперь все пришло в первоначальное состояние: трубы ржавеют без дела, уборная... разумеется, это нужник, висящий над речкой, из которой берут питьевую воду, где моются и куда сбрасывают весь мусор. Но все равно — красивей места не найти.

Так было в 1956 году. В следующем году я тоже туда зашла и не узнала! Палатки стоят не под ветвями могучих буков, а на пустой поляне, на сухих, выжженных папоротниках.

* Германское командование намеревалось нанести несколько ударов, пройдя через перевалы Главного Кавказского хребта. Для этого в группу армий «А» был включен 49-й горнопехотный корпус, в состав которого входила, в частности, 1-я горностралковая дивизия «Эдельвейс».

Куда исчезли гиганты-буки? Где заросли рододендронов? Где цветущая свежесть райского уголка?

Увы! Назначили заведующим какого-то мингрельца, и тот велел уничтожить всю растительность в радиусе 200–300 метров, чтобы бандиты (?) не могли подкрасться...

Еще раз была я там в шестидесятые годы. Там не осталось и палаток. Южный Приют пришлось перенести, так как зимой — лавины, а летом — селевые потоки сметают все с этой поляны, лишенной своей защиты — вековых буков.

АЛЬБОМ 11. РИС. 41

Я еще не пришла в себя после потрясения, вызванного гибелью красавцев буков, как еще один акт вандализма возмутил меня до глубины души: на поляне — огромный костер из... цельных стволов бука! Очередная группа молодежи расположилась вокруг и под треньканье гитары орала песню, а двое парней катили еще и еще бревна. Я кинулась к ним:

— Что вы делаете? Если уж совершили одну дикость — погубили эти деревья, — то пусть хоть они пойдут на пользу, как дрова. Зачем же сразу все сжигать? Вы же комсомольцы!

Парни, катившие бревно, было остановились. Но из толпы распаленных юнцов послышалось:

— Катите, катите! Чего там слушать какую-то старуху? Мы, молодежь, здесь хозяева!

И правда! Здесь, как и всюду, где можно что-либо уничтожить, — хозяева именно они...

Я еще не пришла в себя после потрясения, вызванного гибелью прекрасных красавцев-буков, как еще один „акт вандализма" возмутил меня до глубины души: на поляне — огромный костёр из.... цельных стволов бука! Очередная группа молодёжи расположилась вокруг и, под треньканье гитары, орали песню, а двое парней катили ещё и еще брёвна. Я кинулась к ним:
— „Что вы делаете? Если уже совершили одну дикость — погубили эти деревья, то пусть хоть они пойдут на пользу, как дрова. Зачем же сразу всё сжигать? Вы же комсомольцы!"
Парни, катившие бревно, было, остановились. Но из толпы распалённых юнцов, послышалось: — Катите, катите! Чего там слушать какую то старуху? Мы, „молодежь, здесь хозяева!"
И правда! Здесь — как и всюду, где можно что либо уничтожить — хозяева именно они...

К костру собрались человек [семь-восемь] стариков проводников, и как-то само собой состоялась пресс-конференция, успеху которой способствовал... сахар, которым я угостила дедов (в 1956 году на Кавказе сахара не было). Я не ожидала встретить такой интерес к Сибири вообще и к Заполярью в частности. Что это, вечная мерзлота? И как это солнце зимой не всходит? Как на собаках ездят? И что там растет?

Чайник кипел, вопросы и чашки чая следовали одна за другой, но ночь... и мой запас сахара окончились раньше, чем я успела сообщить сванам — в популярной форме, конечно, — сведения по всем интересующим их вопросам. По-русски говорил лишь один или двое, и они переводили другим. Меня удивила их любознательность и напряженное внимание моей аудитории. Объяснялось это, скорее всего, тем, что в горах

К костру собрались человек 7-8 стариков-проводников и, как-то, само собой состоялась „пресс-конференция", успеху которого способствовал... сахар, которым я угостила дедов (в 56-ом году, на Кавказе, сахара не было) Я не ожидала встретить такой интерес к Сибири вообще и к Заполярью, в частности. Что это - „вечная мерзлота" и как это, солнце, зимой, не всходит? Как на собаках ездят? И что там растет?

Чайник кипел, вопросы и чашки чая следовали одна за другой, но ночь.... и мой запас сахара окончились раньше, чем я успела сообщить сванам — в популярной форме, конечно — сведения по всем, интересующим их вопросам. По-русски говорил лишь один или двое и они переводили другим. Меня удивила их любознательность и напряженное внимание моей аудитории. Объяснялось это, скорее всего, тем, что в горах скрывалось немало ссыльных, бежавших из ссылки — главным образом чеченцев, ингушей, кабардинцев....

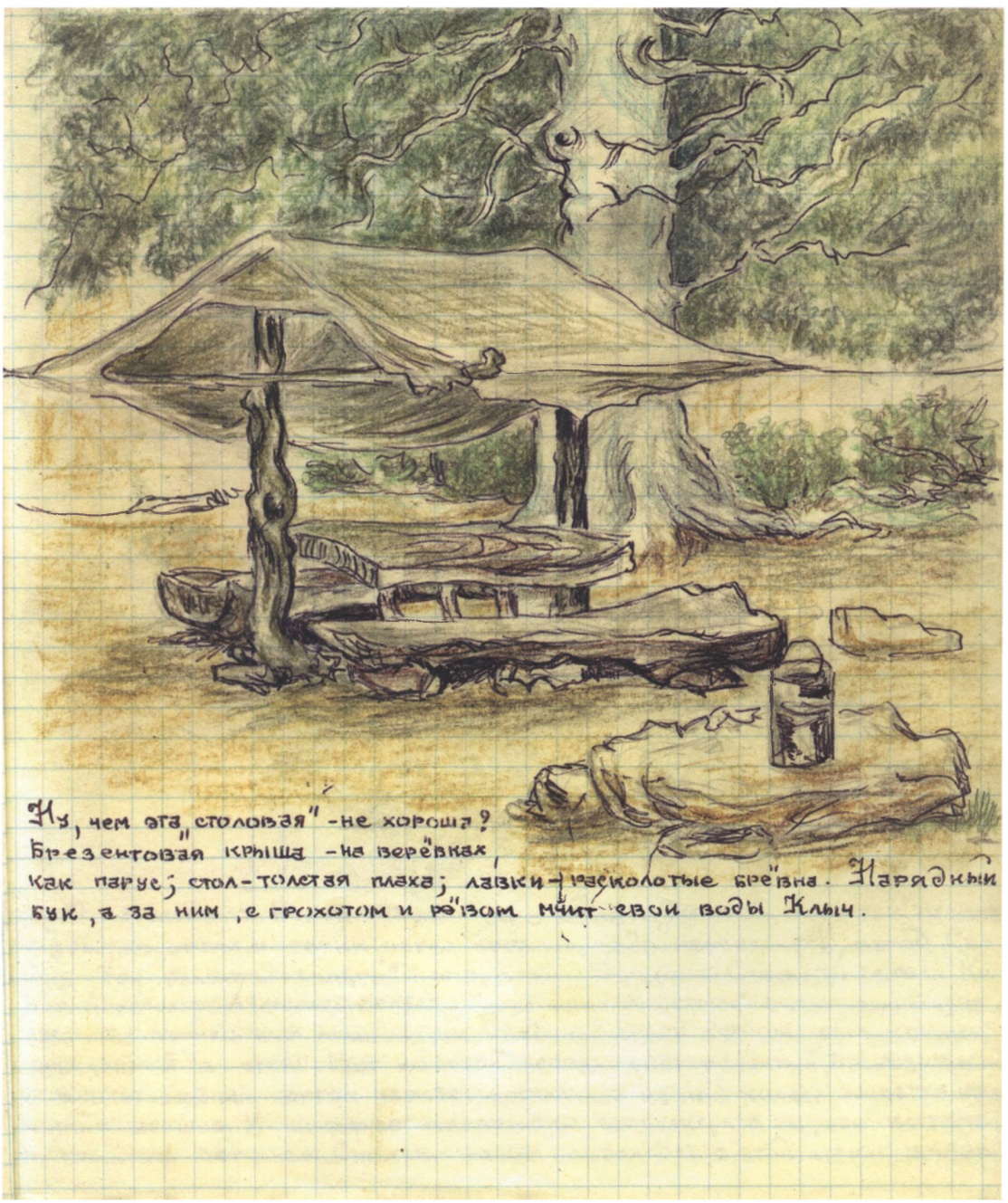
Спать, в ту ночь, мне таки не пришлось: с рассветом, один из дедов проводил меня до особо-опасного „снегосника" и дал много полезных советов. — „Ты и мы - кунаки! Ты нас, сахаром угощала."

скрывалось немало ссыльных, бежавших из ссылки, — главным образом чеченцев, ингушей, кабардинцев...

Спать в ту ночь мне так и не пришлось: с рассветом один из дедов проводил меня до особо опасного снежника и дал много полезных советов.

— Ты и мы кунаки! Ты нас сахаром угощала.

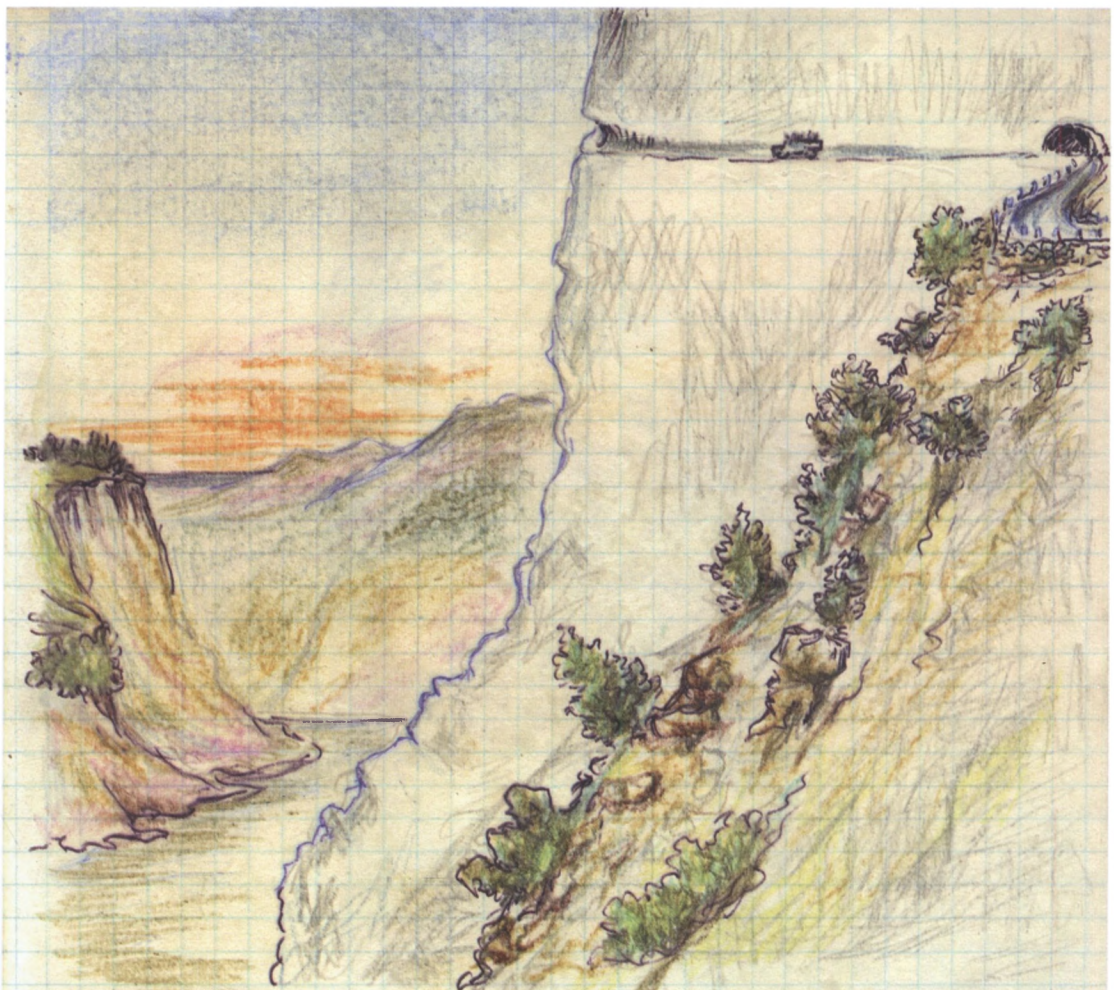
Ну чем эта столовая не хороша? Брезентовая крыша на веревках — как парус; стол — толстая плаха: лавки — расколотые бревна. Нарядный бук, а за ним с грохотом и ревом мчит свои воды Клыч.



АЛЬБОМ 11. РИС. 43 (ФРАГМЕНТ) ▲

АЛЬБОМ 11. РИС. 44

От местечка Квамо-Аджар уже была... дорога, если так назвать ухабы, косогоры и речки, через которые надо переезжать вброд. Самое дух захватывающее место — это Багатская Стенка, где река Кондор перерезает Абхазский хребет. Теперь через эту стенку пробит туннель; в 1956 году туннель был лишь начат и единственной дорогой был карниз, врубленный в стену. Вот по этой бровке едет разбитый, дребезжащий драндулет: одним бортом чиркает стенку, а из-под колеса сыпется каменная крошка. И шофер непрерывно сигналит, чтобы при встрече не пришлось пятиться. Сколько машин свалилось с этой стены в 400 метров!

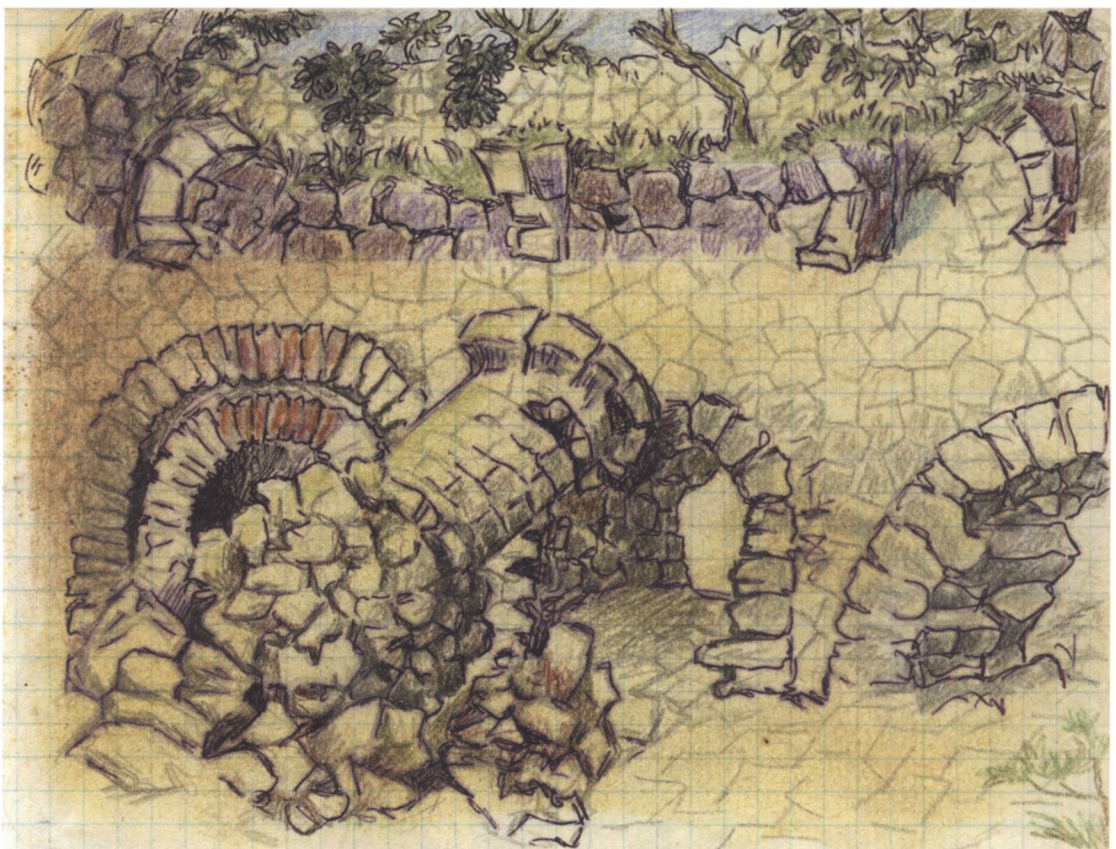


Новый Афон. Некогда — знаменитый монастырь (теперь превращенный в Дом отдыха) и старинный Иверский монастырь — некогда грузинская святыня (нынче превращенная в груду развалин)*. Это была крепость, в которой укрывалось, при нашествии язычников, все христианское население. Сама гора — трехгранная призма — с двух сторон неприступна. По третьей идет зигзагом дорога — тоже своего рода крепость. На каждом повороте стояли башни и подземные цистерны с водосборной площадкой.

* Возрождение Новоафонского монастыря началось в 1994 году, возобновились богослужения. В 2008 году при финансовой поддержке России дренажную систему восстановили. С 2011 года монастырь принадлежит Абхазской православной церкви.
На вершине Иверской (Анакопийской) горы есть часовня Иверской Богоматери.

Основан был монастырь в IX веке! А разрушили его дикари XX века: в 1932 году выгнали последних монахов, втащили на гору компрессор, забурили шпуры и... взорвали динамитом... Все напоминает об этом позоре: простреленные шпуры зияют в стенах. Или вот эта колонна: на нее опирались 10 арок, поддерживавших второй ярус башни. Взрыв вырвал из земли эту колонну с ее фундаментом. Она упала, но... не рассыпалась! Известь связала камни так, что они стали как бы монолитом.

Тысячи экскурсий подымаются на Иверскую гору. И камни кричат! Да, они кричат...



АЛЬБОМ 11. РИС. 47

Основан был монастырь в IX веке! А разрушили его дикари XX века: в 1932 году выгнали последних монахов, втащили на гору компрессор, забурили шпуры и... взорвали, динамитом.... Все напоминает об этом позоре: „простреляные" шпуры зияют в стенах. Или вот эта колонна: на нее опирались 10 арок, поддерживавших второй ярус башни взрыв вырвал, из земли, эту колонну, с ея фундаментом. Она упала, но... не рассыпалась! Известь связала камни так, что они стали, как бы, монолитом.

Тысячи экскурсий подымаются на Иверскую гору. И камни кричат! Да, они кричат....

Гид — молодой, но уже толстеющий грузин — разглагольствовал. Проходя мимо, я услышала:
—...меж тем как мы в Советском Союзе умеем строить быстро, крепко, дешево и красиво, монахи использовали самые примитивные виды строительства...

И это он говорит, когда за его спиной стоит башня, которую ни вражеские осады, ни столетия, ни ураганы не могли разрушить! И которую все же хоть не примитивными способами, а при помощи динамита взорвали, и то не совсем. Ни время, ни плющ, раскалывающий скалы, не одолели, а лишь тупая злоба. Ветер шуршал в кожистых листьях плюща, и мне показалось, что башня смеется.

Гид-молодой, но уже толстеющий грузин-разглагольствовал. Проходя мимо, я услышала:-....меж тем, как мы, в Советском Союзе, умеем строить быстро, крепко дёшево и красиво, монахи использовали самые примитивные виды строительства...." И это он говорит, когда, за его спиной стоит башня, которую ни вражеские осады, ни столетия, ни ураганы не могли разрушить! И которую, все же - хоть "не примитивными" способами, а при помощи динамита взорвали... и то не совсем. Ни время, ни плющ, раскалывающий скалы, не одолели, а лишь тупая злоба. Ветер шуршал в кожистых листьях плюща и мне показалось, что башня смеётся.

Когда шумная, галдящая толпа туристов спустилась вниз, я пересекла ограду и обошла всю территорию. Под огромными орехами, растущими у самого края скалы — диабазовой дайки, — я присела, чтобы еще до наступления полной темноты нарисовать этот уникальный уголок. Вдруг мое вниманье привлек странный звук — вроде звон бубенчиков, повторяющийся с равными интервалами. Я прислушалась. Птица, что ли? Нет! Звук — над самой землей. И как будто шаги? Переходя от дерева к дереву, я приблизилась к развалинам монастыря. Тут — кладбище. Здесь похоронены, должно быть, настоятели. Белеют каменные кресты. И звук бубенчиков исходит именно оттуда... Вдруг что-то качнулось и сдвинулось с места. Боже мой! Что это? Крест движется? У меня волосы зашевелились. Но тут белая тень... кашлянула. И тут я поняла, в чем дело. Мне сказали, что здесь есть сторож — из бывших монахов. Комок подкатил к горлу...

Днем этот «обломок прошлого» обязан впускать в ограду монастыря посетителей и поить их водой из цистерны, запертой на замок, а после того, как эта курящая и пьющая толпа осквернит святую землю, в которой похоронены люди праведной жизни, старик кадит ладаном, чтобы очистить их от скверны. Бряцанье кадила я и приняла за звон бубенчиков.

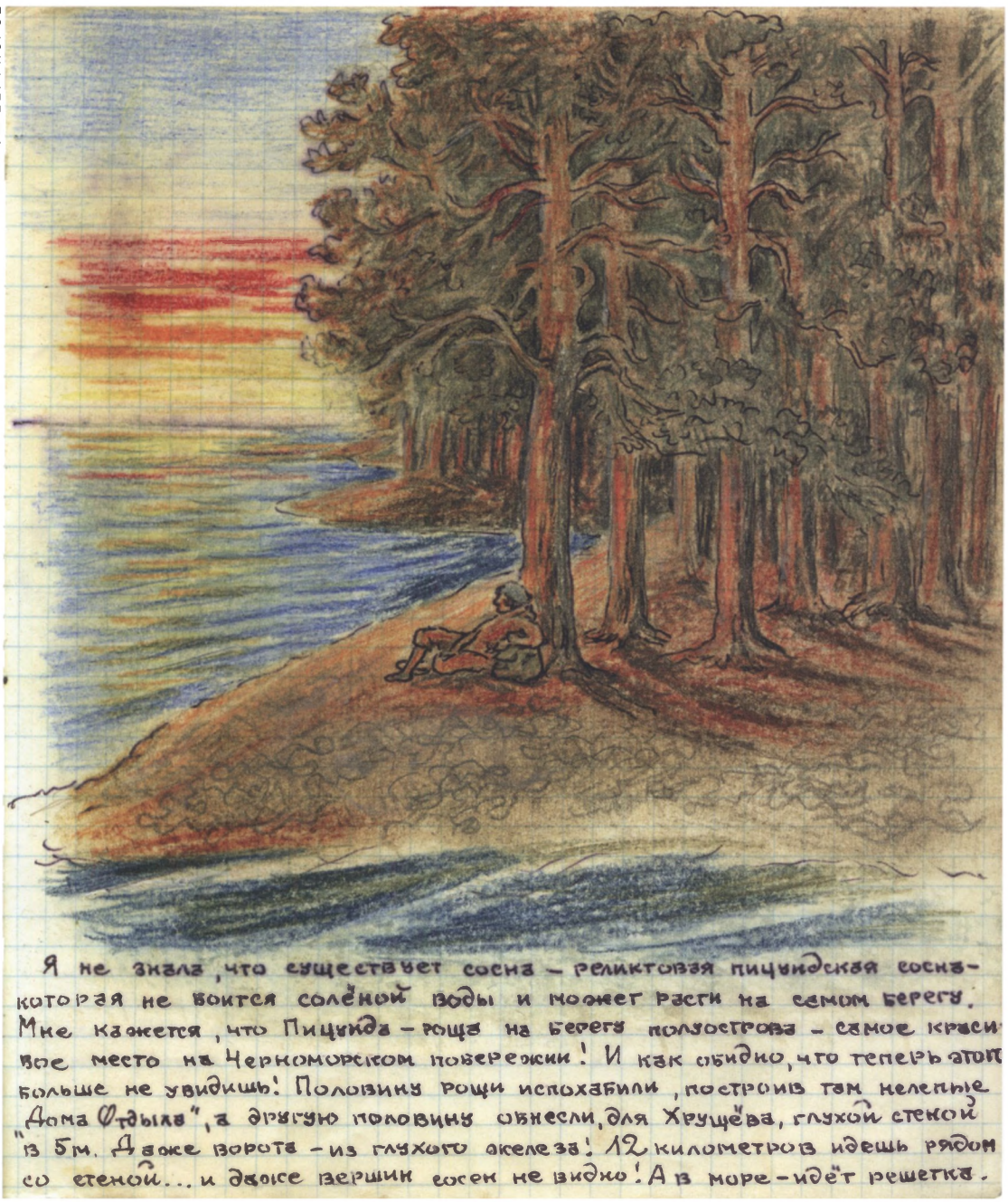
◄ АЛЬБОМ 11. РИС. 49 (ФРАГМЕНТ)

Когда шумная, галдящая толпа туристов спустилась вниз, я перескочила ограду и обошла всю территорию. Под огромными орехами, растущими у самого края скалы – „диабазовой дайки" – я присела, чтобы, еще до наступления полной темноты, нарисовать этот уникальный уголок. Вдруг мое внимание привлёк странный звук – вроде звон бубенчиков – повторяющийся с равными интервалами. Я прислушалась. Птица, что ли? Нет! Звук – над самой землёй. И, как будто шаги? Переходя от дерева к дереву я приближалась к развалинам монастыря. Тут – кладбище. Здесь похоронены, должно быть, настоятели. Белеют каменные кресты. И звук бубенчиков исходит именно оттуда... Вдруг что то белое качнулось и.. сдвинулось с места. Боже мой! Что это? Крест движется? У меня „волосы зашевелились. Но тут „белая тень"... кашлянула. И тут я поняла в чём дело. Мне сказали, что здесь есть сторож – из бывших монахов. „Комок" подкатил к горлу... Днём, этот „обломок прошлого" обязан впускать в ограду монастыря посетителей и поить их водой, из цистерны, запертой на замок, а после того, как эта – курящая и плюющая – толпа осквернит святую землю, в которой похоронены люди праведной жизни, старик кадит ладаном, что бы очистить их „от скверны". Бряцанье кадила я и приняла за звон бубенчиков.

АЛЬБОМ 11. РИС. 49

Нет! Не пристало мне, женщине, оставаться ночью на территории мужского монастыря! Я собрала свой рюкзак, перемахнула через ограду и очутилась в лесу. Я лесной житель, к лесу привыкла. Но этот лес был мне непривычен. Меня поразило и очаровало обилье светлячков! И не только обычных, скрывающихся у корней деревьев и в зарослях, а и светлячков летающих! Они вспархивают и мерцают тучами! Я вышла на поляну и обомлела от очарования лунной ночи на крутой горе, над морем. Я устала. Но сон не шел! Я впитывала в себя очарование южной ночи. И лишь перед рассветом заснула я, когда уже проснулись пичужки.

Я не знала, что существует сосна — реликтовая пицундская сосна, — которая не боится соленой воды и может расти на самом берегу. Мне кажется, что Пицунда — роща на берегу полуострова — самое красивое место на Черноморском побережье! И как обидно, что теперь этого больше не увидишь! Половину рощи испохабили, построив там нелепые дома отдыха, а другую половину обнесли для Хрущева глухой стеной в [пять метров]. Даже ворота — из глухого железа! 12 километров идешь рядом со стеной, и даже вершин сосен не видно! А в море — идет решетка.



Источник Сталина в 12 километрах от озера Рицы вверх по течению реки Юпшара.

Квинтэссенция грузинского пейзажа! Целебный источник, дикий курортный городок и... частная торговля, причем торговцы — исключительно мужчины, к тому же молодого или среднего возраста.

На душе было легко и радостно. День был солнечный, ясный, но не жаркий: в горах свежо и так легко и... чисто! И я с особой радостью рисовала вековой дуб на берегу ручья. И не знала, как группа туристов, идущая оттуда, куда я направлялась, испортит мне настроение. Они остановились позавтракать, и оказалось, что у них нет соли. У меня соль была, и я поделилась. Было что-либо плохое в том, что я спросила, что интересного на пройденном ими пути? В ответ... молчание. Я повторила вопрос, и один из студентов (да, это были студенты!) сказал с каким-то озлоблением:

— Мы не доверяем тем, кто рисует.

Другой добавил:

— Надо быть бдительными: тут могут быть шпионы...

— Один шпион нарисовал карту на своей ляжке, — сказал кто-то.

— Ты тоже идешь на Малку, девушка?

Я вздрогнула: меня догонял, ловко прыгая с камня на камень, старик — худощавый и проворный, как юноша.

— Нет! Мне на Драконовы озера.

— Тогда ты заблудилась! Идем! Я покажу, где надо свернуть.

Мы разговорились. Старик — гуртовщик. Он идет на пастбища, почти до Кисловодска, а оттуда гонит скот на мясокомбинат в Сухум. Туда — 70 [километров]; обратно — дальше. Откуда он так хорошо говорит по-русски? Он прожил 2 года во Владивостоке: в 1905 году в Порт-Артуре погиб его сын — старший. Он был женат на русской. И вот отец отправился за снохой и внуками — их было трое. А тут — революция... Ну и застрял до 1907 года. Там по-русски и выучился! Боже мой, да сколько ему лет? Выходит, не меньше ста?! И вот идет через горы за гуртом скота. В руке — кнут, в другой — узелок с харчами...

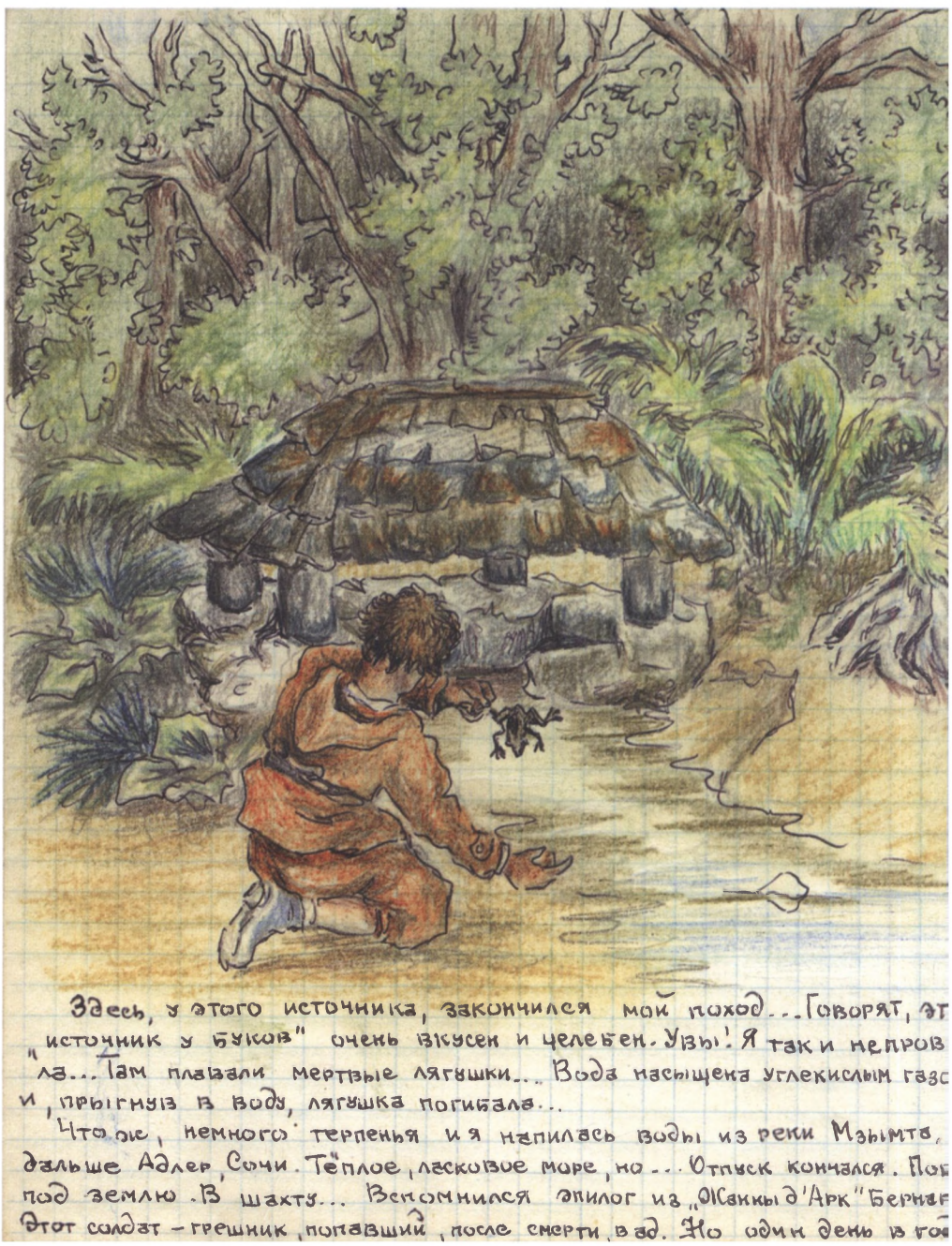
Ну и гроза это была! Ослепительная молния — как вспышка электросварки, а гром будто так и перекатывается с Гагрского хребта — да на Сванетский. Ух! Дух захватывает. А дождь — обрушился водопадом. Впрочем, я успела сделать что-то вроде шалаша из веток и папоротников. Однако — зря: туда набилось столько комаров, что мне пришлось вылезть — прямо под дождь!

Ну и гроза это была! Ослепительная молния – как вспышка электросварки, а гром – будто так и перекатывается с гагрского хребта – да на сванетский. Ух! Дух захватывает. А дождь – обрушился водопадом. Впрочем, я успела сделать что то вроде шалаша из веток папоротников. Однако – зря: туда набилось столько комаров... что мне пришлось вылезть – прямо под дождь!

Здесь, у этого источника, закончился мой поход... Говорят, этот источник у буков очень вкусен и целебен. Увы! Я так и не проверила... Там плавали мертвые лягушки... Вода насыщена углекислым газом, и, прыгнув в воду, лягушка погибала...

Что ж, немного терпения, и я напилась воды из реки Мзымта. А дальше Адлер, Сочи. Теплое ласковое море, но... Отпуск кончался. Пора под землю. В шахту... Вспомнился эпилог из «Жанны д'Арк» Бернарда Шоу*. Этот солдат — грешник, попавший после смерти в ад. Но один день в году он получает отпуск и возвращается на землю. Это награда за то, что, когда Жанну вели на казнь, он связал из двух палочек крест и подал ей. И вот уже 500 лет он раз в году гуляет по земле. Но вот пропел петух — и он возвращается в ад. Он не впадает в отчаяние! Нет! Он благодарен, что один день погулял на воле, а теперь... петух пропел. Все!

* Пьеса Б. Шоу «Святая Иоанна», в шести частях с эпилогом (написана в начале 1920-х годов.)



Нечто подобное испытывала и я, возвращаясь в Норильск. Был Кавказ. Была красота. Неправдоподобная! Но... Пропел петух. Все!

АЛЬБОМ 11. РИС. 56

Альбом 12
октябрь 1956 — май 1960

АЛЬБОМ 12. РИС. 46 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА) (ФРАГМЕНТ)

Евфросиния перешла на работу взрывника, не столь тяжелую, как бурение, но более опасную. Коллеги по взрывному цеху приняли ее настороженно, зная ее принципиальность, но она выручала всех, кто обращался за помощью, и отношение к ней изменилось.

Производственный цикл в шахте был один для всех цехов, но многие думали только о своей части этого цикла, а другие страдали от этого, но боялись сказать правду. Например, механический цех по причине нерентабельности отказывался изготавливать коронки для бурения отверстий, а просверленные сработанными коронками отверстия для патронов были меньше чем надо, из-за чего работа взрывников становилась крайне опасной. Они боялись сказать начальству правду, и только Евфросиния подняла этот вопрос на уровне Управления угольных шахт. Ей попало, но зато бурильщикам выдали новенькие коронки и взрывные работы стали менее рискованными.

Евфросиния добровольно взялась за особенно опасную работу — отпалку в целиках третьего пласта (целик — это уголь, что остается в бортах тех шахт, работы в которых закончены), за которую никто из взрывников не хотел браться. Они семейные, а она одинока, и ее смерть никому не принесет страдания — мотивировала она свое решение. Просто Евфросиния считала шахтеров своими товарищами по работе и все делала по законам товарищества: сам погибай, а товарища выручай.

Преимущество работы в целиках было в цикличности, это позволяло брать отпуск летом. В 1957 году в отпуск Евфросиния поехала вначале в Бессарабию с целью посетить могилу отца. Прилетев в Кишинев, на такси добралась до города Сороки, но не нашла давних знакомых. Вернувшиеся из ссылки сорочане сменили адреса, а то и уехали в другие города. В разговоре с попутчиком-сельчанином она узнала, что многие деревенские знакомые умерли от голода в 1947 году, когда они последнее имеющееся у них зерно посеяли, а весь урожай у них власти забрали.

Отцовский дом и сад в Цепилове были разорены, а огромные дубы взорваны, распилены и брошены. Евфросиния не могла смотреть на этот вандализм, взяла горсть земли с отцовской могилы и обратно пошла не по улице, а по тропинке и очутилась в саду, где старушка варила варенье из абрикосов. Это оказалась Смолинская, подруга ее матери. Она слышала 1954 году в радиопередаче «Международный розыск», как Александра Алексеевна Керсновская из Румынии разыскивала дочь, произнося свою просьбу на нескольких языках. Мать, которую Евфросиния считала умершей, была жива.

Евфросиния отправила письмо тому, кому до этого не писала: мужу маминой двоюродной сестры Теодору Фуксу, дирижеру оперы в Румынской республике. Для ответа она дала ессентукский адрес своих друзей Грязевых и, коротая время, сначала поехала в город своего детства Одессу, затем в Крым. Из Ялты морем на теплоходе через Новороссийск и Туапсе — в Сочи, переезжая морским трамваем от курорта к курорту до Поти, а оттуда в Кутаиси и вверх по реке Рион к ее истокам. Дальше — через Мамисонский перевал. Это Военно-Осетинская дорога.

Евфросиния не пошла, как полагалось «по маршруту», в Орджоникидзе (г. Владикавказ), а свернула в долину реки Цеи (Цеядон) и перебралась через нее, пользуясь «люлькой», привязанной тросами, подвешенными к двум колесикам, катящимся по тросу. После этого она поняла, что никак не может привыкнуть, что у нее есть мама, и она не имеет теперь права рисковать.

Увидев в живописном месте зону с заключенными, Евфросиния расхотела продолжать путь пешком и остановила попутный грузовик. Он оказался полон умиравших от жары и жажды телят, которых боялись не довезти до совхоза чабаны. Евфросиния предложила свою помощь. Телят в кузове пересортировали, совсем слабых поддерживали коленями и открывали им рты так, чтобы в них дул ветер, и телята были спасены.

Между Орджоникидзе и Нальчиком Евфросиния остановила попутку. Это была правительственная машина, в которой ехали союзный заместитель министра и министр земледелия Кабардино-Балкарской республики. Она, пользуясь такой редкой возможностью, рассказывала им о том, что замечала: как неумело транспортируют больных телят, как в засуху бросают единственный корм — солому — и как при нехватке техники и горючего в Крыму шестьдесят автомашин возят туфовый камень издалека, из Евпатории в Ялту, на строительство в горах дворца для Хрущева.

Евфросиния все больше узнавала об истории тех мест, и ей становились понятнее причины проблем в сельском хозяйстве, например, в Карачаево-Черкесии встреченные карачаи рассказали об их высылке в Караганду (1943–1957 годы) и что в результате овцы, согнанные в кубанские земледельческие колхозы, погибли, и карачаевская порода овец перестала существовать.

Добравшись автобусом из Нальчика в Ессентуки, Евфросиния не обнаружила долгожданной телеграммы из Румынии. Отчаяние подвигло ее пойти в горы и в одиночку преодолеть перевал Бечо в Приэльбрусье. Ее маршрут пролегал из поселка Тегенекли вверх по течению реки Юсенги через перевал Бечо, по леднику, мимо горы Учба (Ушба), по долине реки Долра в Сванетию, через город Местия в верховья реки Ингури — к Черному морю. Обратный путь был из Очамчиры автобусом до Сухуми; электричкой — в Адлер, самолетом — до Минвод, электричкой — в Ессентуки.

По возвращении в ту же ночь Евфросинии пришла срочная телеграмма от мамы. Евфросиния послала маме фото, чтобы та видела, какой она стала спустя семнадцать лет после расставания. Выслать ей деньги за границу запрещали советские законы. В Москве в Иностранной юридической коллегии сказали, что сделать это можно только после ходатайства ее шахты. В Норильске шахта разрешила Евфросинии ежемесячно высылать очень маленькую сумму денег маме, и она воспользовалась этим правом.

Евфросиния состояла с мамой в переписке, не зная, что письма из Румынии просматривались в норильском КГБ, их относил туда и клал обратно в почтовый ящик ее сосед по дому, в котором в начале 1958 года Евфросиния получила маленькую отдельную комнату.

Целый год добивалась она в различных инстанциях разрешения на встречу с мамой. Отпустили ее в отпуск в 1958 году вновь летом, как исключение, учитывая, что она едет на свидание с восьмидесятилетней матерью после разлуки. В Одессе они встретились в квартире Маруси Ольшевской, первой учительницы Евфросинии. Мать и дочь прекрасно отдохнули на Черном море. На теплоходе они доплыли до Сочи и передвигались на катерах от курорта к курорту, останавливаясь без особого комфорта на два-три дня в Хосте, Адлере, Гаграх, Пицунде, Новом Афоне, Сухуми и во время прогулок вспоминая прошлое. Поездом добрались они до Ессентуков, где жили месяц у Грязневых. В КГБ были недовольны, что гражданка Румынии свободно путешествовала по СССР.

В конце 1950-х годов в Норильске Евфросинию приняли в профсоюз, шахта сняла с нее судимость, ей выдали «чистый паспорт», без параграфа 39. Но ее огорчало, что все друзья из Норильска уехали. Маргарита Эмилиевна Ивченко — в Сумы на Украину, Мира Барская — в Москву, Грязневы — в Ленинград... Ей оставалось рисовать, что она и делала в своей комнате, читать книги и ходить на природу.

Она не догадывалась, что находится под наблюдением КГБ, хотя несколько случаев должны были насторожить ее. У знакомого шахтера Гаращенко КГБ устроил дома обыск, так как он захотел открыть церковь в Норильске в небольшом домике-балке. Медработника Маслова судил товарищеский суд за то, что он слушал зарубежные радиостанции. А ее саму вдруг распоряжением Управления угольных шахт в марте 1960 года вызвали на медкомиссию «померить давление», а на самом деле, как ей сказала знакомая медработница, — для беседы с врачами-психиатрами, которые должны были ее освидетельствовать и признать психически ненормальной, чтобы была причина для ее увольнения. Психиатры отказались дать такое заключение.

Евфросиния стала понимать, что шахта, где она честно и самоотверженно работала, не только не защитит ее от КГБ, но полностью подчинится его приказам.

Началась травля: ее не поблагодарил профком за создание в короткий срок красочных панно для украшения зала кинотеатра для шахтеров и рударей к новому, 1960-му, году; в Женский день 8 Марта ее фотографии не оказалось на доске почета лучших работниц шахты. В парткабинете шахты, куда ее вызвали, лейтенант КГБ ее ознакомил с фактами, которые на нее имелись, и она дала ответы на все вопросы. Во-первых, она разорвала навязанные ей на работе лотерейные билеты, так как против всякого рода азарта. Во-вторых, на боевом листке для шахты она на карикатуре пририсовала горному мастеру свастику и надпись «Геббельс», потому что он этого заслуживал. И в-третьих, в задержанном при перлюстрации письме к своей подруге Маргарите Эмильевне в Сумы она острила по поводу длинной и перенасыщенной статистическими данными речи Хрущева на XXI партийном съезде, потому что хотела шуткой поднять ей настроение.

Евфросинию вызвали на допрос в КГБ. Полковник Кошкин к выдвинутым обвинениям добавил еще одно: пренебрежительное, надменное и даже враждебное отношение к коллективу. Вскоре на шахте вывесили объявление о том, что «недостойное поведение т. Керсновской разберет товарищеский суд».

4 апреля 1960 года в клубе собралось много народу. Планировался показательный процесс, поэтому были приглашены представители прессы, суд снимался на кинокамеру. Евфросинию клеймили полковник КГБ, парторг и партийцы, комсорг, профорг, депутат и начальство шахты и ОТиЗ, работник газеты «Заполярная правда». За нее заступались и благодарили ее за помощь и душевную чуткость работницы шахты и простые рабочие. Евфросиния отказалась публично каяться и просить прощения у коллектива, несмотря на то, что от исхода собрания зависела ее дальнейшая судьба и судьба ее матери. Если бы коллектив осудил Евфросинию, то ее уволили бы без сохранения льготного стажа: семь с половиной лет работы на шахте Заполярья считались как 15 лет подземного стажа, что давало право на хорошую пенсию в 1200 рублей (теми деньгами). Лишь при этом достатке она имела право взять из заграницы на иждивение свою мать.

Людям понравилось то, как держалась Евфросиния, они почувствовали, что в своем лице она отстаивает достоинство каждого сидящего здесь честно работающего человека, и собрание коллектива постановило: вынести ей порицание, но оставить на прежнем месте мастера буровзрывных работ вплоть до выхода на пенсию.

Под давлением КГБ начальник шахты перевел Евфросинию в мотористки, это была самая легкая работа в шахте, но она предпочла сделать выбор сама и стала грузчиком-лесогоном, на эту тяжелую работу на поверхности обычно назначали провинившихся. В мае она уволилась и ждала получения пенсионного удостоверения. Так как товарищеский суд прошел не по запланированному КГБ сценарию, то Евфросинию решили опорочить в печати. В норильской газете «Заполярная правда» по заказу КГБ вышли клеветнические статьи, затрагивающие честь и достоинство Евфросинии и ее родителей (17 апреля и 11 мая). Она письменно обратилась к прокурору города, но он не призвал к ответственности полковника КГБ и дал понять Евфросинии, чтобы та была осторожнее.

Получив пенсию и уехав из Норильска, где она жила 16 лет, Евфросиния приобрела половину дома в Ессентуках. Из Румынии к ней приехала мама, отказавшись от румынского гражданства и пенсии, чтобы жить со своей дочерью. Она умерла у нее на руках в январе 1964 года. Об этом времени Евфросиния рассказала в Прологе.

Ох! Опять эти простреленные навылет забои, с выбитым креплением. Нет, теперь я — взрывник. И буду верна себе.

Реальное препятствие — это так называемые «Единые правила взрывных работ». Единые... Не может оно быть единым для всей страны! Пласты бывают мощные и тонкие, крутопадающие и горизонтальные, чистые, засоренные, мягкие, твердые, цельные и раздавленные. И в каждом отдельном случае бурить, а следовательно, и палить надо по-иному. Спрятаться за бумажную ширму правил и шантажировать? Это легче всего. Это снимает ответственность.

Нет! Это — не для меня! Я лицемерить не стану!

Ох! Опять эти простреленные „навылет" забои, с выбитым креплением. Нет, теперь я - взрывник. И я буду верна себе.

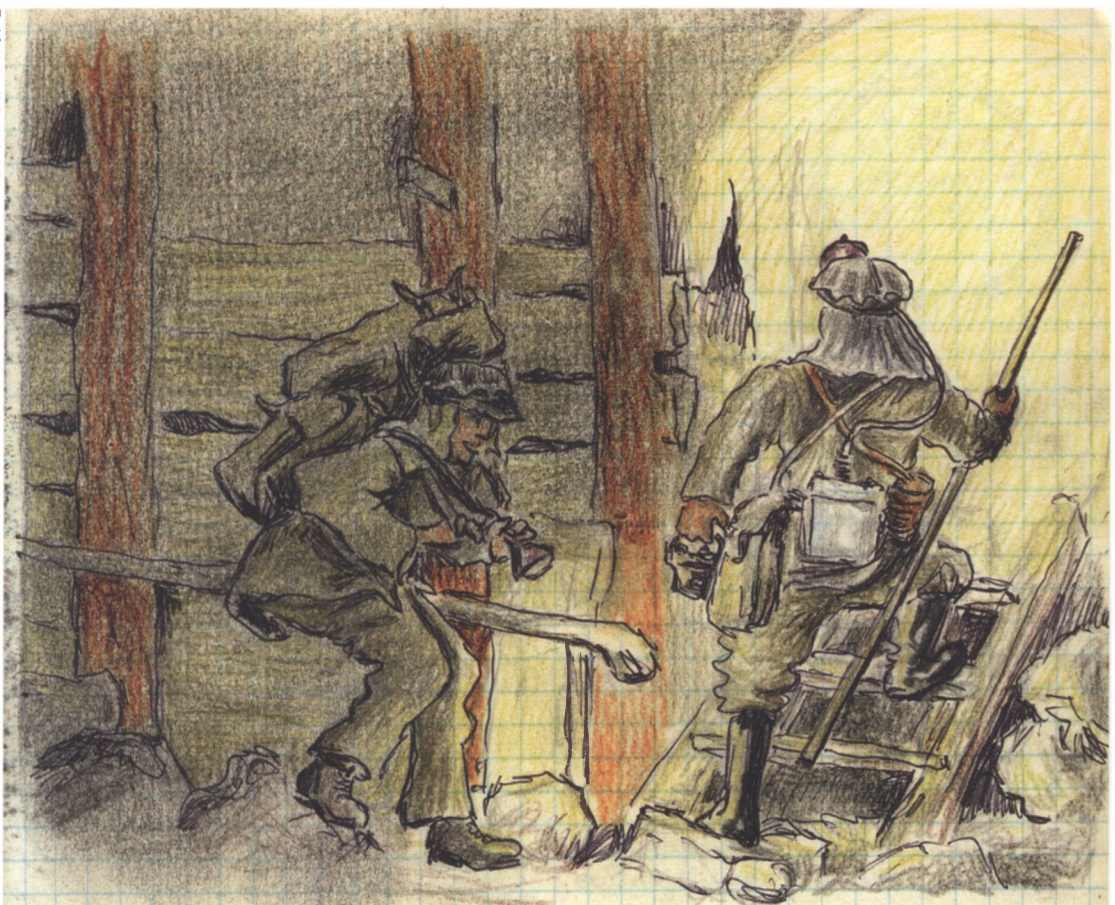
Реальное препятствие это т.н „Единые правила взрывных работ." Единое... Не может оно быть „единым" для всей страны! Пласты бывают мощные и тонкие, крутопадающие и горизонтальные, чистые, засорённые, мягкие, твёрдые, цельные и раздавленные. И в каждом отдельном случае бурить, а, следовательно и палить, надо по-иному. Спрятаться за бумажную ширму „правил" и шантажировать? Это - легче всего. Это - снимает ответственность. Нет! Это - не для меня! Я лицемерить не стану!

В 1956–1957 годах были ликвидированы большинство норильских лагерей, а обслуживавшую их «псарню» рассовали по производствам. И в нашу шахту попали кое-кто из тех подонков. Мне дали в качестве подносчика аммонита одного из дежурняков, специализировавшегося на шмонах. Да! Нелегко было ему тащить по 40 [килограммов] аммонита.

— Ты мстишь мне, Керсновская! — хныкал он.

— Мстить тебе? Слишком много чести!.. Просто пора тебе, пора привыкать к честному труду. Не все тебе на вахте бабам под юбку заглядывать! — отвечала я.

Но нет! Такие — к честному труду не тянутся. И этот вскоре с шахты сбежал.



В 1956/57 годах были ликвидированы большинство норильских лагерей, а обслуживавшую их „псарню" рассовали по „производствам". И в нашу шахту попали кое-кто из этих подонков. Мне дали, в качестве „подносника аммонита" одного из тех „дежурняков", специализировавшегося на „шмонах". Да! Нелегко было ему тащить по 40 кгр аммонита.

–„Ты мстишь мне, Керсновская!" хныкал он. –„Мстить тебе? Слишком много чести!... Просто пора тебе, пора привыкать к честному труду. Не все тебе, на вахте, бабам под юбку заглядывать!" отвечала я.

Но-нет! Такие – к честному труду не тянутся. И этот, вскоре, с шахты сбежал.

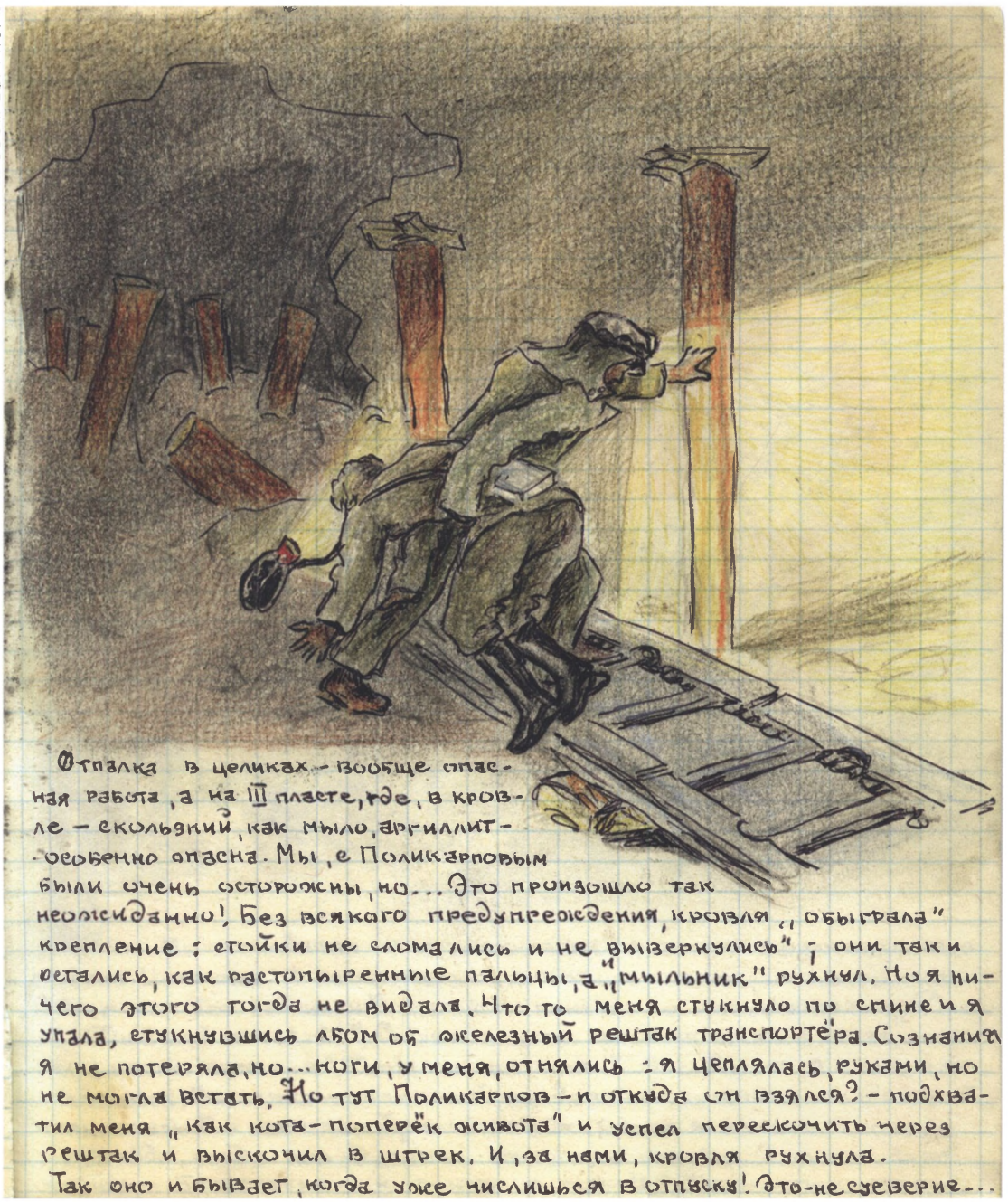
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А поэтому я приволокла всю свою аппаратуру: коронки — стертые и хорошие, патрон с детонатором, трамбовку и кувалду...
— Вас надо уволить за такое нарушение правил безопасности! — завопил начальник УУШ*.
— Да! Я нарушаю. И все нарушают. И вы это знаете! И знаете причину этих нарушений! Но я не лгу и не лицемерю! Теперь и вы не сможете притворяться, и вы будете вынуждены принять меры, чтобы нам выдали новые коронки!
Меня не уволили. И завтра нам выдали коронки — еще в вазелине.
— Молодец, Антоновна! Себя не пожалела и нас выручила, — говорили взрывники.

* УУШ – Управление угольных шахт.

Отпалка в целиках* — вообще опасная работа, а на III пласте, где в кровле скользкий, как мыло, аргиллит, особенно опасна. Мы с Поликарповым были очень осторожны, но... Это произошло так неожиданно! Без всякого предупреждения кровля обыграла крепление: стойки не сломались и не вывернулись; они так и остались, как растопыренные пальцы, а мыльник рухнул. Но я ничего этого тогда не видела. Что-то меня стукнуло по спине, и я упала, стукнувшись лбом о железный рештак транспортера. Сознания я не потеряла, но ноги у меня отнялись: я цеплялась руками, но не могла встать. Но тут Поликарпов — и откуда он взялся? — подхватил меня «как кота — поперек живота» и успел перескочить через рештак и выскочил в штрек. И за нами кровля рухнула.

Так оно и бывает, когда уже числишься в отпуску! Это — не суеверие...

* Целик – уголь, что остается в бортах тех шахт, работы в которых закончены.



Делаем вынужденную посадку на подмосковное картофельное поле.

Пассажиры будут ждать машину. А я... Я рада пройтись босиком по размокшей земле. Пахнет травами и дождем. Дождь теплый... особенно после Норильска.

АЛЬБОМ 12. РИС. 5 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА)

В Сороках я отпустила такси.

Погруженная в воспоминания, я быстро шагала по шоссе в сторону Цепилова. Я не обращала внимания на тех, кого обгоняла. Вдруг какой-то седенький старичок ринулся ко мне с воплем: «Duducă! Duducă noastră!»* Старик ухватил меня за руку и плача повторял: «Наша барышня». Тогда он назвался: Тодос Ротарь, а с ним его племянник Василика, типичный молдаванин-красавец — кудрявый, черноглазый, — настоящий флакэу**. От Тодоса я узнала о голоде 1947 года, когда полдеревни умерли от голода. Это так дико звучало: Бессарабия... и смерть от голода? Нелепость какая-то!

* «Дудука, дудука ноастра!» («Барышня, наша барышня!») (*молд.*).

** Флакэу – парень (*молд.*).

АЛЬБОМ 12. РИС. 6

Каким-то чудом крест на папиной могиле уцелел, хотя самой могилы было не видать. И вообще кругом была пустыня: ни красавцев дубов, ни сада, ни дома... Вместо виноградника — овраг. Ничто не напоминало Цепилова — родного Цепилова! Пустыня...

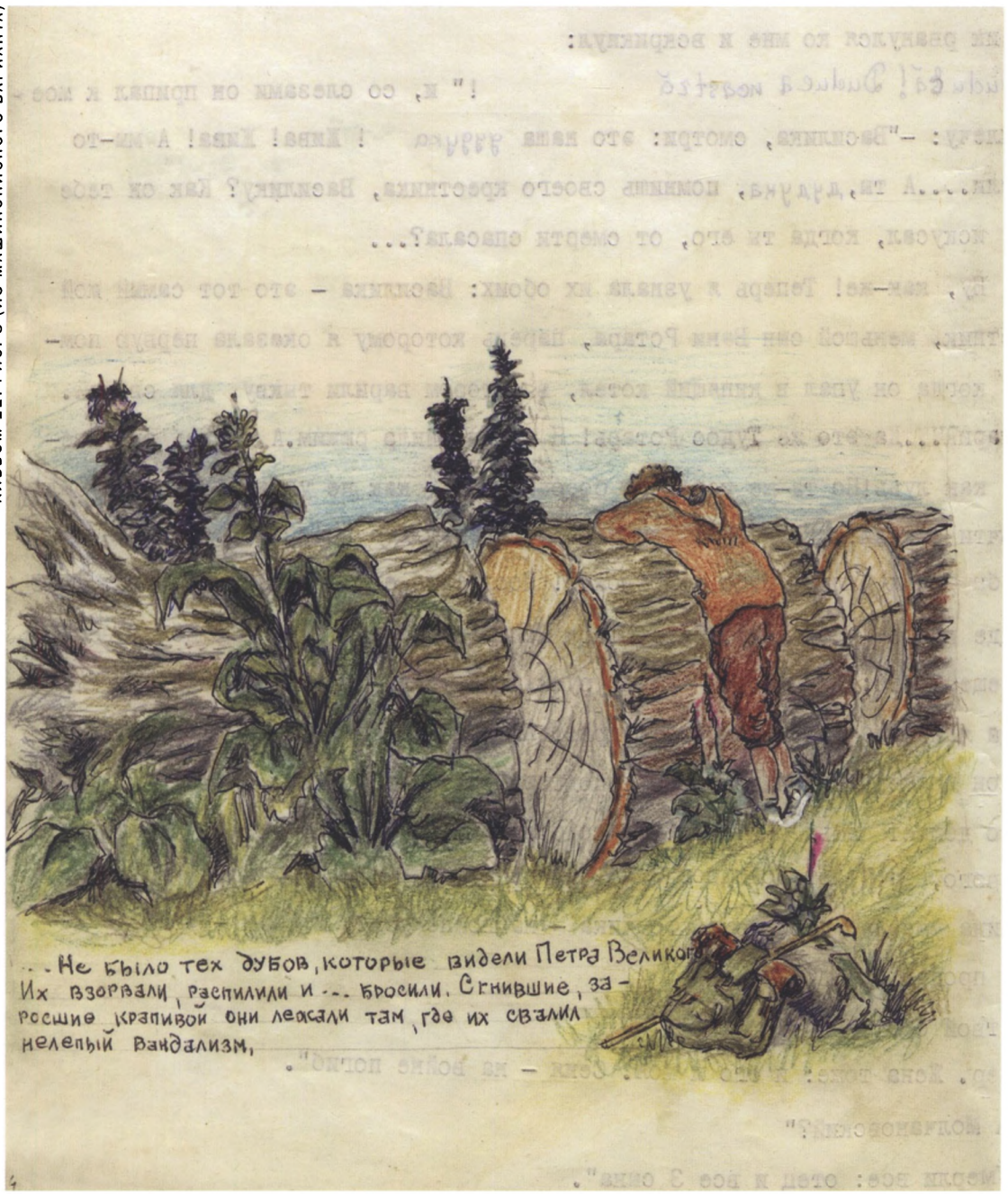
Закроешь глаза, и в памяти встает все то, что было; посмотришь — и сердце от боли сжимается... Затем, собрав в платочек горсть земли для ладанки и прихватив пучок душистого чабреца, я поцеловала крест и, не оглядываясь, пошла прочь. Я не думала, что родная земля может быть до того чужой! И долго преследовало меня что-то вроде фотографии, когда на том же негативе сделаны два снимка: сквозь отпечаток этой пустыни, с ямами от выкорчеванных деревьев, просвечивали силуэты могучих дубов и ряды фруктовых деревьев, кустов смородины...

Каким-то чудом, крест на папиной могиле уцелел, хоть самой могилы было не видать. И вообще, кругом была пустыня: ни красавцев-дубов, ни сада, ни дома... Вместо виноградника-овраг. Ничто не напоминало Цепилова-родного Цепилова! Пустыня.....

Закроешь глаза и в памяти встаёт всё то, что было; посмотришь... и сердце, от боли, сжимается..... Затем собрав в платочек горсть земли для ладанки и прихватив пучок душистого чабреца, я поцеловала крест и, не оглядываясь, пошла прочь. Я не думала, что родная земля может быть до того чужой! И долго преследовало меня что-то вроде фотографии, когда на том же негативе сделаны два снимка: сквозь отпечаток этой пустыни, с ямами от выкорчеванных деревьев, просвечивали силуэты могучих дубов и ряды фруктовых деревьев, кустов смородины....

На месте моего дома в Цепилове...

Не было тех дубов, которые видели Петра Великого. Их взорвали, распилили и... бросили. Сгнившие, заросшие крапивой, они лежали там, где их свалил нелепый вандализм.



Сумерки сгущались, когда я попала во двор, где на треноге старушка — маленькая, седенькая — варила абрикосовое варенье. Я подошла к ней. Старушка подняла голову и вдруг, взмахнув шумовкой, воскликнула:
— Ах! Фросенька! Как Александра Алексеевна обрадуется, когда узнает, что вы живы!

Все вихрем закружилось в глазах у меня... Старушка, таз с вареньем, таганок... Да это — Смолинская, подруга моей мамы! Абрикосы выскользнули из моих рук и покатились по траве. На траве очутилась и я...
— Мама? Мама — жива? Где она?..

Но на этот вопрос Елена Георгиевна не могла ответить: три года тому назад она слышала, как по радио моя мама просила сообщить ей, если кто-либо знает, где ее дочь Евфросиния Антоновна Керсновская.

АЛЬБОМ 12. РИС. 9 (ФРАГМЕНТ)

В 1954 году она была в Румынии. Боже мой! Жива ли она теперь? Ей уже 79 лет... Всю ночь сидела я у Смолинских и писала письма в Румынию. Адреса Смолинская не запомнила, и я писала наугад — «на деревню дедушке».

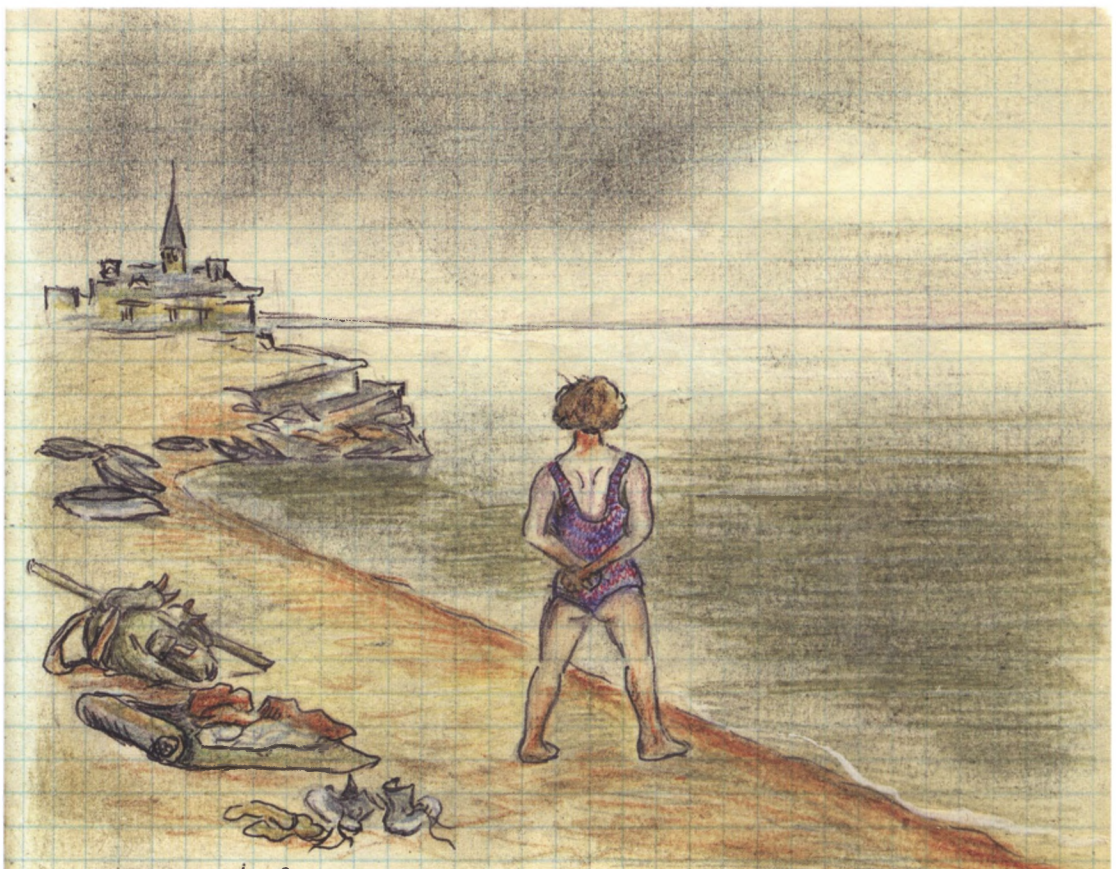
Сумерки сгущались, когда я попала во двор, где на треноге старушка — маленькая, седенькая — варила абрикосовое варенье. Я подошла к ней. Старушка подняла голову и вдруг, взмахнув шумовкой, воскликнула: — „Ах! Фросенька! Как Александра Алексеевна обрадуется, когда узнает, что вы живы!" Всё вихрем закружилась в глазах у меня... Старушка, таз с вареньем, таганок... Да это — Смолинская, подруга моей мамы! Абрикосы выскользнули из моих рук и покатились по траве. На траве очутилась и я.... „Мама? Мама — жива? Где она?"... Но на этот вопрос Елена Георгиевна не могла ответить: три года тому назад, она слышала, как по радио, моя мама просила сообщить ей, если кто-либо знает, где ея дочь Ефросиния Антоновна Керсновская. В 54-ом году она была жива. И была она в Румынии. Более мой! Жива ли она теперь? Ей уже 79 лет... Всю ночь сидела я у Смолинских и писала письма в Румынию. Адреса Смолинская не запомнила, и я писала наугад — „на деревню, дедушке".

Ланжерон! С ним связано так много — и хорошего и тяжелого — в моем детстве!

Всю ночь шел дождь. Я промокла и не выспалась. Был серый, туманный рассвет. Но побывать летом в Одессе, пойти на Ланжерон, где я почти 40 лет не была, и не искупаться в море моего детства?! Нет! Невозможно! Побывать в Риме — и не увидеть папы Римского и побывать в Одессе — и не выкупаться? Глупо!

Правда, после холодной лужи, в которой я спала, вода в море показалась не столь уж холодной! И, плавая, я согрелась.

Затем, пройдя через город, я спустилась в порт и сумела устроиться на маленькое суденышко «Орион», идущее в Херсон. Затем, поездом — в Симферополь, а оттуда — в Крымский заповедник.



Ланжерон! С ним связано так много — и хорошего и тяжелого — в моём детстве!

Всю ночь шёл дождь. Я промокла и не выспалась. Был серый, туманный рассвет. Но побывать, летом в Одессе, пойти на Ланжерон... где я, где я, почти 40 лет не была .... и не искупаться в море моего детства?! Нет! Невозможно! Побывать в Риме — и не увидать папы Римского и побывать в Одессе — и не выкупаться? Глупо!

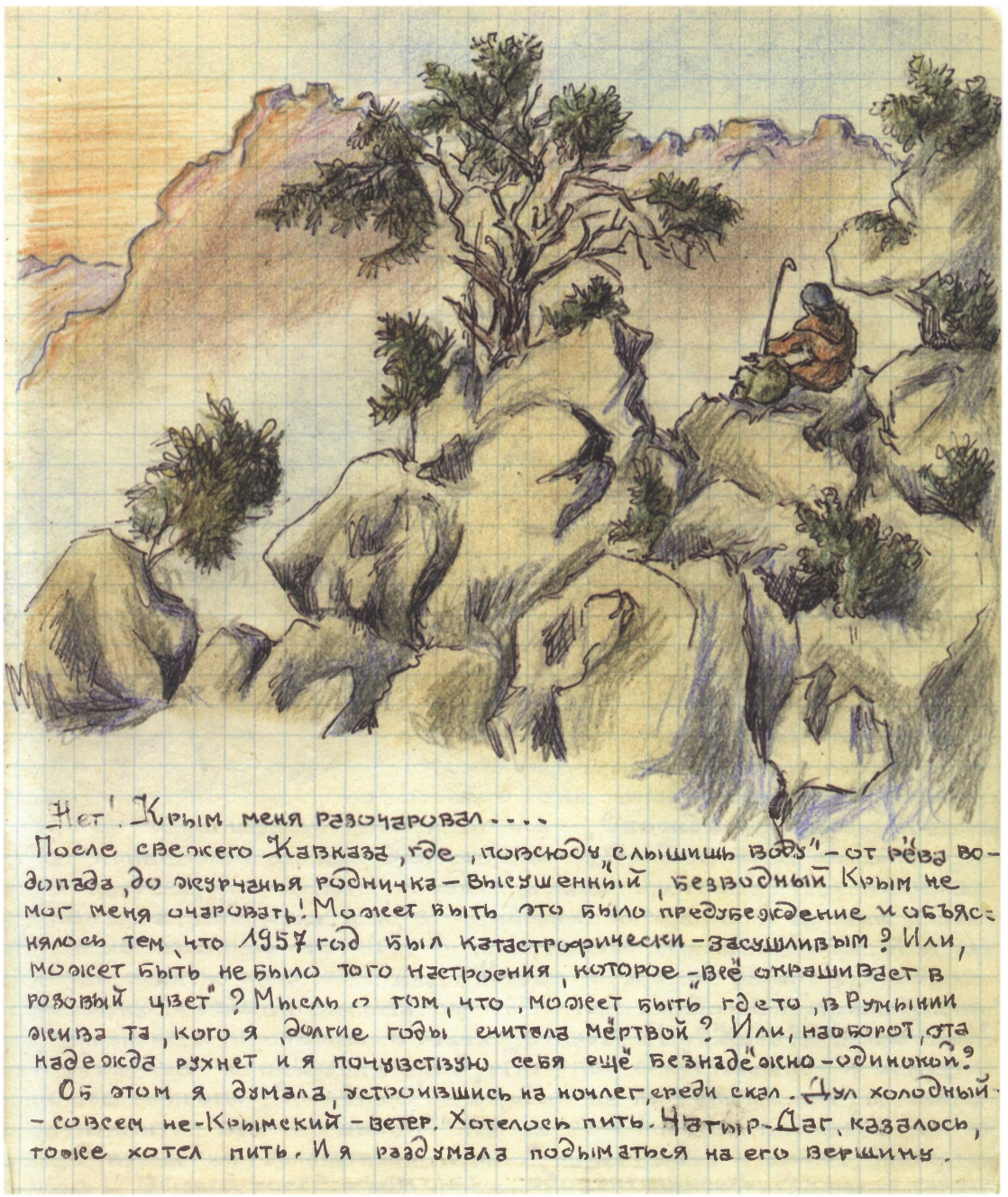
Правда, после холодной лужи, в которой я спала, вода в море показалась не столь уже холодной! И, плавая, я согрелась.

Затем, пройдя через город, я спустилась в порт и сумела устроиться на маленькое суденышко — „Орион", идущее в Херсон. Затем, поездом — в Симферополь, а оттуда — в Крымский заповедник.

Нет! Крым меня разочаровал...

После свежего Кавказа, где повсюду слышишь воду — от рева водопада до журчанья родничка, — высушенный, безводный Крым не мог меня очаровать! Может быть, это было предубеждение и объяснялось тем, что 1957 год был катастрофически засушливым? Или, может быть, не было того настроения, которое все окрашивает в розовый цвет? Мысль о том, что, может быть, где-то в Румынии жива та, кого я долгие годы считала мертвой? Или, наоборот, эта надежда рухнет и я почувствую себя еще безнадежно одинокой?

Об этом я думала, устроившись на ночлег среди скал. Дул холодный — совсем не крымский — ветер. Хотелось пить. Чатыр-Даг, казалось, тоже хотел пить. И я раздумала подыматься на его вершину.



В кузове каждого грузовика — странный груз: что-то похожее на буханки белого хлеба, а сверху — железный бак литров на сто…

Шофер оказался разговорчивым…

— Мы возим из Евпатории строительный туф высшего качества для постройки в заповеднике — там, где он подходит к Ялте, чуть выше ущелья, — дворца для Хрущева…

В Ялте я попала на теплоход и отправилась морем, через Новороссийск и Туапсе, в Сочи, где я предпочла сойти и пройтись не спеша по побережью.

Жара была невыносимая. В селенье Пицунда я пришла в самое пекло, жажда меня мучила, и я зашла в какой-то дом и попросила воды напиться.

— Обождите минутку, тетенька, — приветливо сказала девчушка лет двенадцати, дома была она одна. — Я из погреба молока вам холодненького принесу!

«Вот хорошая девчушка!» — подумала я и в ожидании обещанного молока присела на каменную лестницу. В тени камень был прохладным. Я устала, и так приятно было отдохнуть! Кажется, я уже засыпала, когда

меня вернул к действительности грубый толчок: передо мной стояли два пограничника с винтовками в руках.

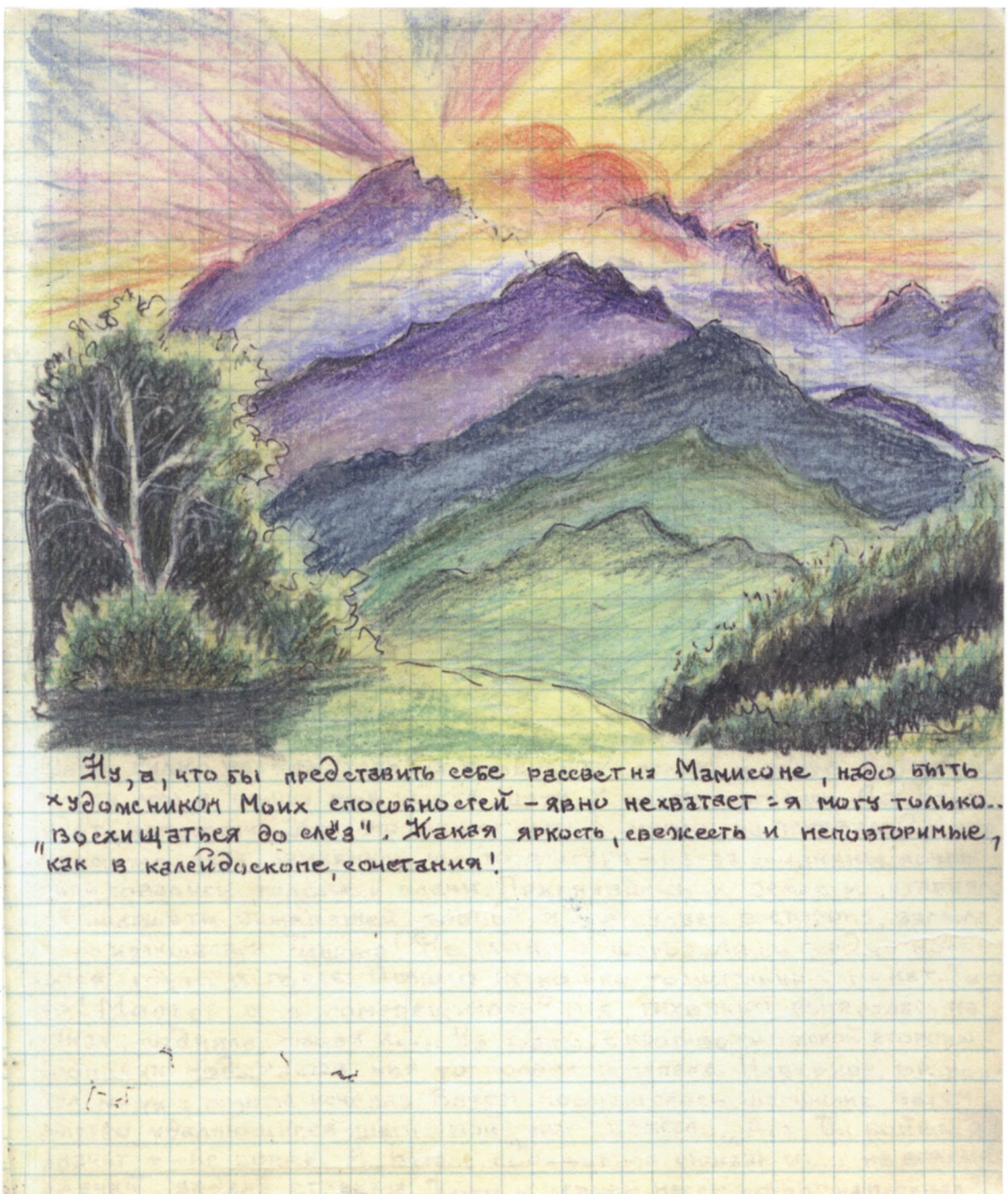
— Откуда? Кто? Куда? Документы!

Я удивилась, но показала свое отпускное свидетельство и ответила на все вопросы.

— Порядок, — сказал один из пограничников. — Можешь ее напоить: это не шпион!

Из-за угла дома выглядывала девчонка. Отвращение захлестнуло меня. Я повернулась и ушла. Бдительность! Вместо гостеприимства — подозрительность. Фу, какая гадость.

Ну, а чтобы представить себе рассвет на Мамисоне, надо быть художником. Моих способностей явно не хватает: я могу только... восхищаться до слез. Какая яркость, свежесть и неповторимые, как в калейдоскопе, сочетания!



АЛЬБОМ 12. РИС. 13 (ФРАГМЕНТ) ◀

АЛЬБОМ 12. РИС. 14

Холод выгнал меня из-под валуна, где я устроилась на ночлег, и я решила идти дальше к перевалу: тропинка белела на фоне низкой травы альпийского луга, да и звезды были яркие-яркие! Шаги гулко раздавались на замерзшей земле, и вдруг... Мне показалось, что я слышу еще чьи-то шаги. Я насторожилась. Да! Кто-то идет навстречу. Кто это может быть? Ночью, на перевале? И вот на фоне неба замаячила чья-то фигура — из-за кривизны почвы обрисовались голова и плечи. Пригнувшись к земле и стараясь не шуршать замерзшей травой, я метнулась в сторону, залегла и прислушалась. Тишина! Не слышно шагов. Лишь сердце колотится где-то в горле. Прошло несколько томительных минут. Тихо! Может, мне померещилось? И я тихонько вытянулась на руках, подняла голову и... Из травы с противоположной стороны тропинки подымается чья-то голова в папахе. Наверное, он увидел меня: голова исчезла. Затем послыша-

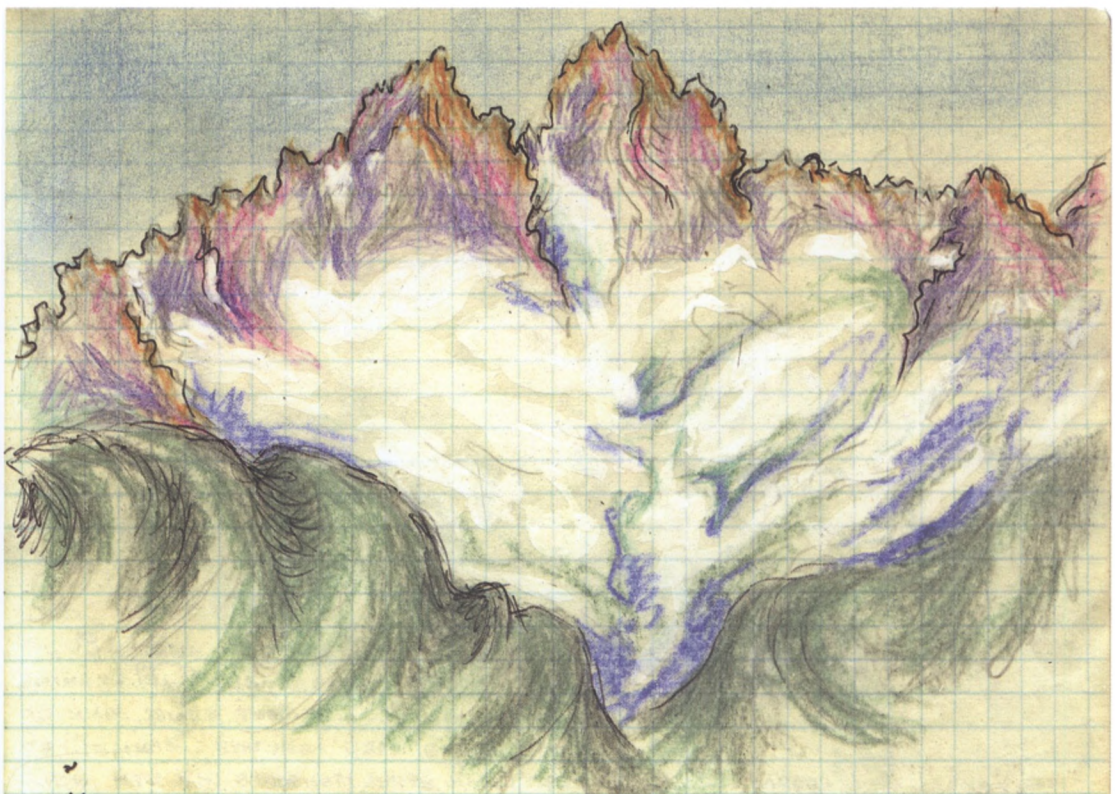
лось шуршание, затем быстро удаляющиеся шаги: мой враг бежал... Ага! Ты боишься? Значит, я не боюсь. Встала, подхватила рюкзак и на всякий случай задала стрекача. Кого, к чертям, несет ночью на перевал?!

АЛЬБОМ 12. РИС. 15 (ФРАГМЕНТ) ◀

Холод выгнал меня из под палатки, где я устроилась на ночлег и я решила идти дальше, к перевалу: тропинка вилась на фоне низкой травы альпийского луга – да и звёзды были ярче-ярче! Шаги гулко раздавались из замёрзшей земле и вдруг.... Мне показалось, что я слышу еще чьи-то шаги. Я насторожилась. Да! Кто-то идёт, навстречу. Кто это может быть? Ночью, на перевале? И вот, на фоне неба замаячила чья то фигура – из-за кризиза почвы, обрисовались голова и плечи. Пригнувшись к земле и, стараясь, не шуршать замёрзшей травой, я метнулась в сторону, залегла и прислушалась. Тишина! Не слышно шагов. Лишь сердце колотится где-то в горле. Прошло несколько томительных минут. Тихо! Может мне померещилось? И я, тихонько вытянулась, на руках, подняла голову и.... Из травы, с противоположной стороны тропинки поднимается чья то голова, в папахе. Наверное, он увидел меня: голова исчезла. Затем послышалось шуршание, затем, быстро удаляющиеся шаги: мой враг бежал... Ага! Ты боишься? Значит, я – не боюсь. Я встала, подхватила рюкзак и .... на всякий случай, задала стрекача. Кого, к чертям, несёт, ночью, на перевал?!

АЛЬБОМ 12. РИС. 15

На рассвете я была на траверзе мощного ледника, откуда берет начало самая большая река Кавказа, впадающая в Черное море, — Рион. Я всю ночь шагала в гору — устала и озябла. И еще предстоял небольшой, но крутой подъем, после которого начнется спуск в долину Цеи, текущей в Каспий, но я задержалась, чтобы нарисовать ледник, как бы лежащий в объятиях зубчатой горы. Слева цирки, оставшиеся от прежнего мощного ледника. Справа — подъем к перевалу.



На рассвете я была на траверзе мощного ледника, откуда берёт начало самая большая река Кавказа, впадающая в Чёрное Море — Рион. Я всю ночь шагала в гору - устала и озябла. И еще предстоял небольшой, но крутой подъём, после которого начнётся спуск в долину Цеи, текущей в Каспий, но я задержалась, чтобы нарисовать ледник, как бы лежащий в объятиях зубчатой горы. Слева "цирки", оставшиеся от прежнего, мощного ледника. Справа - подъём к перевалу.

— Видишь долину? Это была богатая долина. Видишь прямые линии? Там — арыки, по ним вода текла... В прошлом веке, когда Шамиль бунтовал, царь велел все леса вырубить, чтобы абрекам негде было прятаться. Нет леса — и все ручьи высохли. Бывало, снега на пять метров выпадет зимой, а весной долго-долго тает, вода под землей собирается и все лето вытекает родничками, ручьями, речками. И все цвело, все родило. Кони табунами ходили, овцы как тучи. Но нет лесов! И жизнь без воды умерла. От аулов лишь кладбища остались, башни да следы арыков. А лес уже никогда не вырастет: горы теперь — голый камень. Снег разом тает. Паводок — бурный, неукротимый — всю землю сорвал. А что вы удивляетесь, что я по-русски говорю? Так я у Юденича в армии служил, в 1916 году, Карс брал. Ох! Без воды — беда! Как-то турки нас в безводных горах окружили. Жара! Пора летняя. С ума сходили. Умирали! А тут

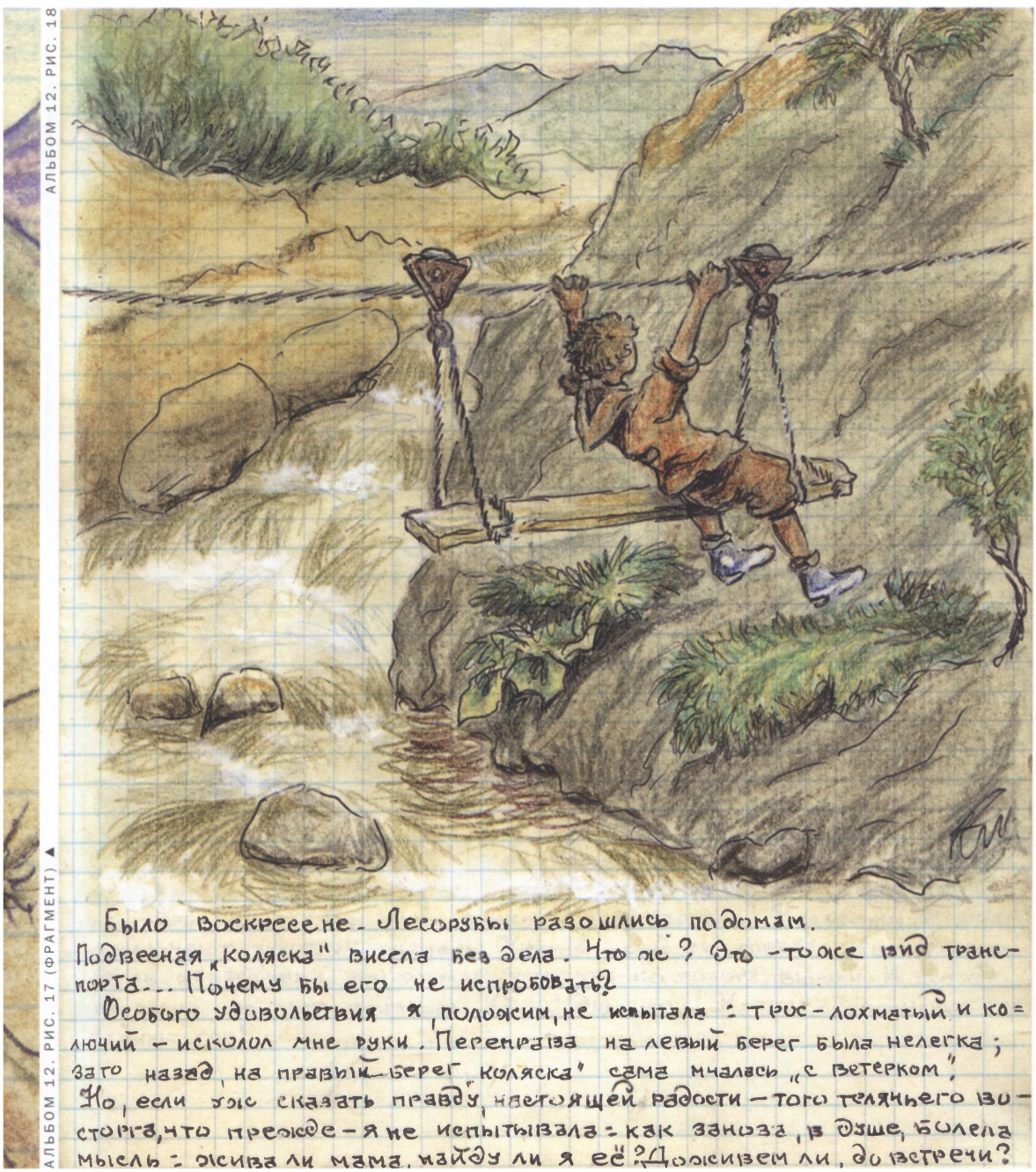
— Видишь долину? Это была богатая долина. Видишь прямые линии? Там — арыки, по ним вода текла... В прошлом веке, когда Шамиль бунтовал, царь велел все леса вырубить, чтобы абрекам негде было прятаться. Нет леса — и все ручьи высохли. Бывало, снега на 5 м. выпадет зимой, а весной долго-долго тает, вода, под землей собирается и все лето вытекает родничками, ручьями, речками. И все цвело, все родило. Кони — табунами ходили, овцы — как тучи. Но — нет лесов! И жизнь, без воды, умерла. От аулов — лишь кладбища остались, башни, да — следы арыков. А лес уже никогда не вырастет: горы теперь — голый камень. Снег — разом тает. Паводок — бурный, неукротимый — всю землю сорвал. А что вы удивляетесь, что я по-русски говорю? Так я, у Юденича, в армии служил, в 16-ом году Карс брал. Ох! Без воды — беда! Как-то турки нас в безводных горах окружили. Жара! Пора летняя. С ума сходили. Умирали! А тут, вдруг, нашли большую лужу воды. А посредине — мёртвый ишак — распухший, смрад — невыносимый!.. Что делать? Это турки нарочно ишака убили, что бы мы воду не пили,... Но — смерть от жажды... Мука адова... И мы пили. Плакали от отвращения — но пили. Вот уже больше пол-века прошло, а вспомню — желудок к горлу подкатывается. И теперь лихотит... А ведь пили! Вот, что значит: без воды — беда! Нет воды — нет жизни" — объяснял мне старик-осетин.

вдруг нашли большую лужу воды. А посередине — мертвый ишак — распухший, смрад — невыносимый!.. Что делать? Это турки нарочно ишака убили, чтобы мы воду не пили... Но смерть от жажды... Мука адова... И мы пили. Плакали от отвращения, но пили. Вот уже больше полвека прошло, а вспомню — желудок к горлу подкатывается. И теперь лихотит... А ведь пили! Вот, значит: без воды — беда! Нет воды — нет жизни, — объяснял мне старик осетин.

Было воскресенье. Лесорубы разошлись по домам. Подвесная коляска висела без дела. Что ж? Это тоже вид транспорта... Почему бы его не испробовать?

Особого удовольствия я, положим, не испытала: трос — лохматый и колючий — исколол мне руки. Переправа на левый берег была нелегка; зато назад, на правый берег коляска сама мчалась с ветерком.

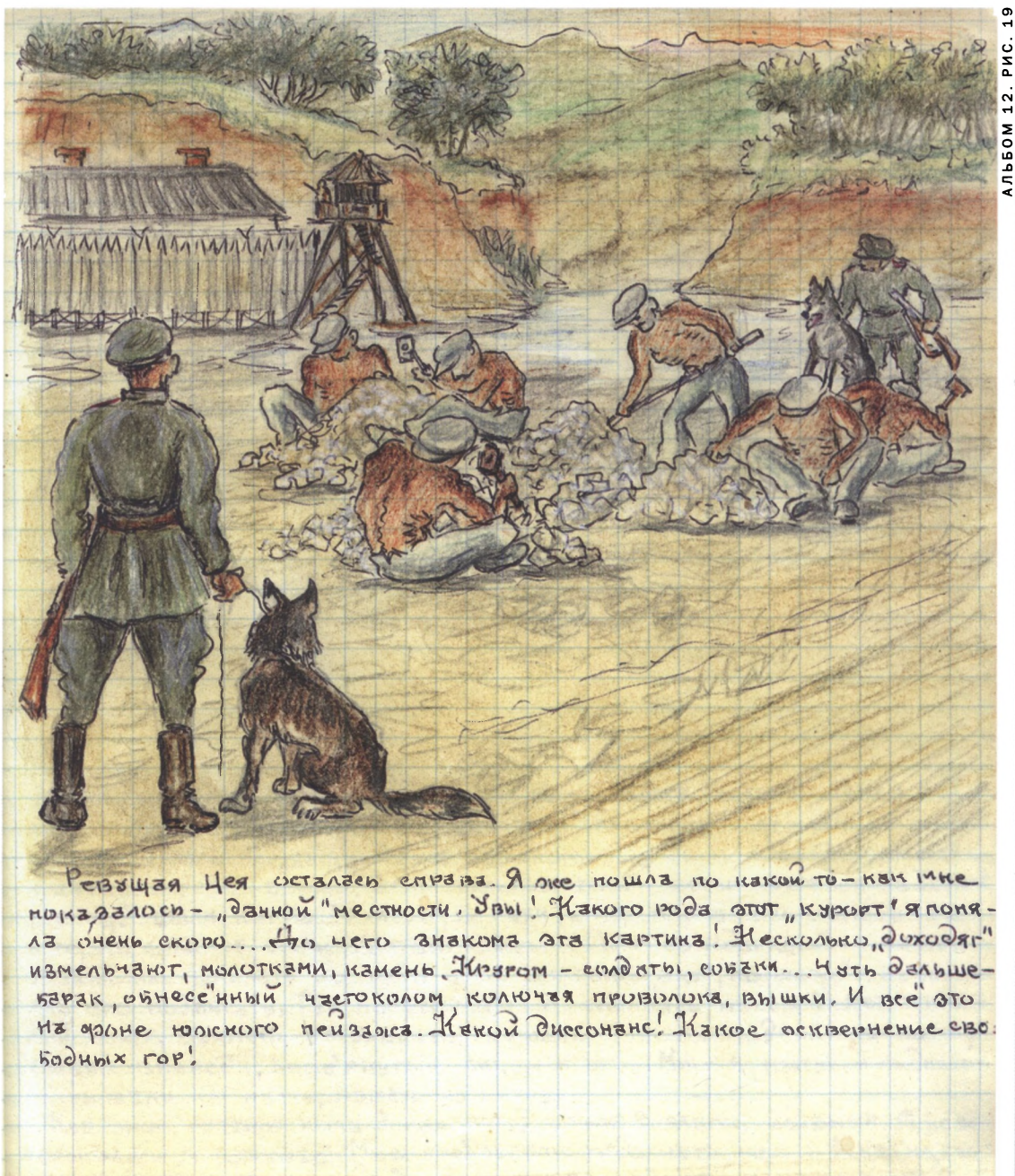
Но, если уж сказать правду, настоящей радости — того телячьего восторга, что прежде, — я не испытывала: как заноза, в душе болела мысль: жива ли мама, найду ли я ее? Доживем ли до встречи?



АЛЬБОМ 12. РИС. 17 (ФРАГМЕНТ) ◀

АЛЬБОМ 12. РИС. 18

Ревущая Цея осталась справа. Я же пошла по какой-то, как мне показалось, дачной местности. Увы! Какого рода этот курорт, я поняла очень скоро... До чего знакома эта картина! Несколько доходяг измельчают молотками камень. Кругом солдаты, собаки... Чуть дальше — барак, обнесенный частоколом, колючая проволока, вышки. И все это на фоне южного пейзажа. Какой диссонанс! Какое осквернение свободных гор!



Это была дикая картина: в облаках пыли мчится грузовик. В нем — 18 подыхающих телят, у которых «книжки»* засорены... землей. От засухи выгорели все пастбища, даже высокогорные, и скот поедал вместе с остатками трав — землю. Этих больных телят везли в совхоз на Тереке, где еще были корма. Телятам в пути стало плохо: они попадали, и те, что сильнее, стали топтать слабых. Сопровождающий их пастух решил их зарезать, но надо было составить акт, но шофер не пожелал его подписать. Тут подоспела я и, ссылаясь на свой ветеринарный опыт, взялась их довезти живыми. Мы их подняли на ноги, слабых впереди, повернув лицом к ветру. Мы: я, пастух и подпасок, — открывали им пасть навстречу ветру.

Наверное, картина была дикая, но телята доехали живыми. Я не задержалась в совхозе. Мне предлагали отдохнуть, но... Мне не терпелось добраться скорей до Ессентуков: а вдруг от мамы вести?..**

* «Книжка» у коров располагается в правом подреберье, между сеткой и сычугом.

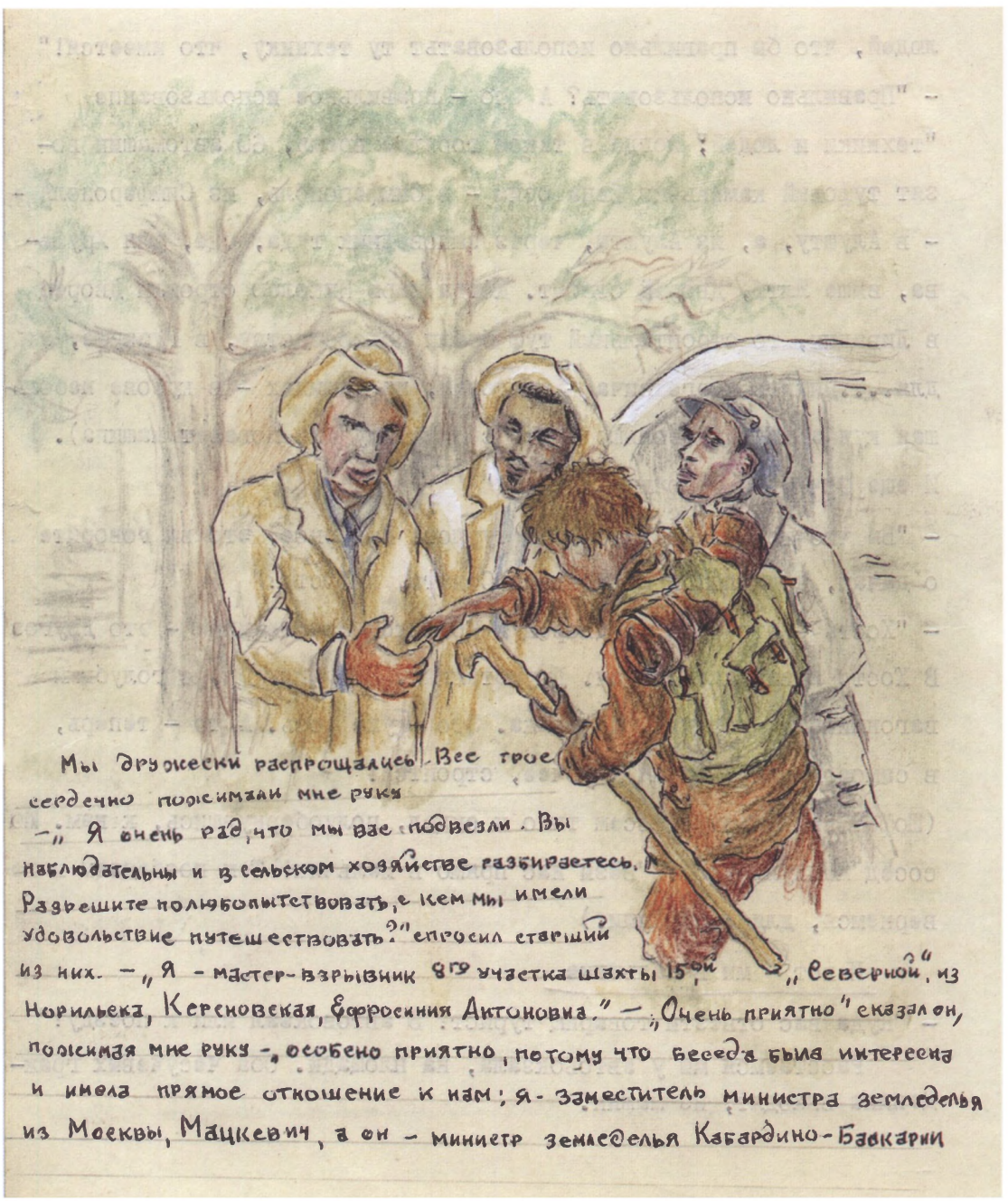
** Рисунок в альбоме не закончен, поэтому был выбран тетрадный вариант, а подпись взята из альбома.

Жара была невыносимая. Ноги приклеиваются к асфальту. Я спешила... И ни одна из машин не останавливалась, чтобы подобрать меня! Автобусы проезжают, не останавливаясь у специальных остановок. Вот еще машина — белая, шикарная... и опять мимо! Я даже кулаком им погрозила. И вдруг машина стала, и, когда я подошла, предложили сесть до поворота. В Нальчик они не едут. Я села в шикарную машину, не подозревая, что еду с министрами.

Беседа завязалась оживленная. Началась с моих башмаков, запачканных телятами, перекинулась на катастрофическую засуху и еще более плачевную бесхозяйственность и закончилась... дворцом, который строят для Хрущева, вместо того чтобы копнить солому. Так они довезли меня до Нальчика и очень благодарили.

Жара была невыносимая. Ноги приклеивались к асфальту. Я спешила .... И ни одна из машин не останавливалась, чтобы подобрать меня! Автобусы проезжают, не останавливаясь у специальных остановок. Вот еще машина — белая, шикарная .... и опять мимо! Я даже кулаком им погрозила. И вдруг... машина стала и, когда я подошла, предложили сесть ...до поворота. В Нальчик они не едут... Я села в шикарную машину .... не подозревая, что я еду с министрами. Беседа завязалась оживлённая. Началось... с моих башмаков, запачканных телятами, перекинулась на катастрофическую засуху и еще более плачевной бесхозяйственностью и закончился... дворцом, который строю для Хрущёва, вместо того, что бы копнить солому. Так они довезли меня до Нальчика ... и очень благодарили меня ....

Мы дружески распрощались. Все трое сердечно пожимали мне руку.
— Я очень рад, что мы Вас подвезли. Вы наблюдательны и в сельском хозяйстве разбираетесь. Разрешите полюбопытствовать, с кем мы имели удовольствие путешествовать? — спросил старший из них.
— Я мастер-взрывник 8-го участка шахты 15-й «Северной» из Норильска, Керсновская Евфросиния Антоновна.
— Очень приятно, — сказал он, пожимая мне руку, — особенно приятно, потому что беседа была интересна и имела отношение к нам: я заместитель министра земледелия из Москвы Мацкевич, а он — министр земледелия Кабардино-Балкарии.

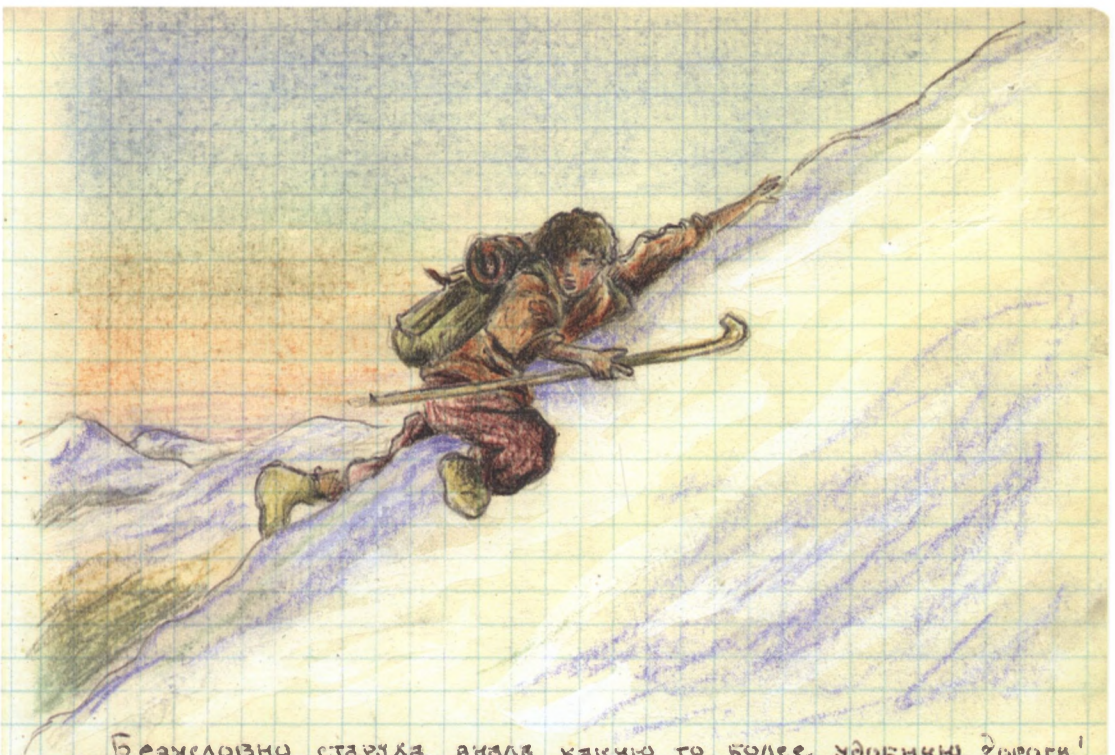


АЛЬБОМ 12. РИС. 22 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА)

Тут я поняла, почему альпинист меня спросил, не страдаю ли я головокружением? Пройти по шаткому бревну над бурной Юсенги — это не для всех приятно! Впрочем, мне голова никогда не мешала...

Безусловно, старуха знала какую-то более удобную дорогу!* Подъем становился все круче, и я уже не смогла стоять на ногах. Тогда я натянула поверх кед шерстяные носки, оседлала ребро ледника, так называемую куриную грудку, и дальше продолжала восхождение... ползком. Как долго это длилось? Мне показалось — годы... Назад пути не было, и я продолжала, выбиваясь из сил, продвигаться вперед. Но вот подъем стал более пологим, слева показались скалы, а справа — площадка, усеянная камнями. Как я была рада, почувствовав под ногами хоть и не землю, но все же не лед!

* Навстречу Евфросинии прошла местная старушка с корзиной слив, и это убедило ее, что через ледник пройти можно.



Безусловно, старуха знала какую-то, более удобную, дорогу! Подъём становился всё круче и я уже не смогла стоять на ногах Тогда я натянула, поверх кед шерстяные носки, оседлала ребро ледника – т.н. „куриную грудку" и дальше продолжала „восхождение... ползком. Как долго это длилось? Мне показалось – годы... Назад – пути не было и я продолжала, выбиваясь из сил, продвигаться вперёд. Но вот подъём стал более пологим, слева показались скалы, а справа – площадка, усеянная камнями. Как я была рада, почувствовав под ногами ... хоть и не землю, но, всё же не лёд!

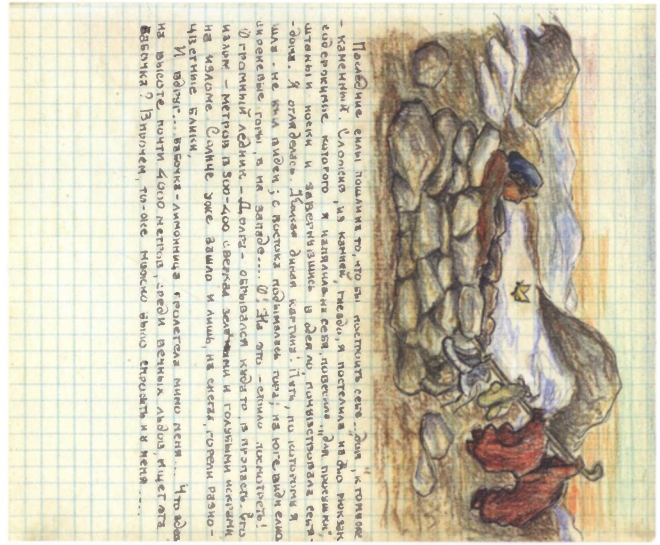
Последние силы пошли на то, чтобы построить себе... дом, к тому же каменный. Сложив из камней гнездо, я постелила на дно рюкзак, содержимое которого я напялила на себя, повесила для просушки штаны и носки и, завернувшись в одеяло, почувствовала себя дома. Я огляделась. Какая дикая картина! Путь, по которому я шла, не был виден, с востока подымалась гора, на юге виднелись сиреневые горы, а на западе... О! На это стоило посмотреть!

Огромный ледник — Долра — обрывался куда-то в пропасть. Его излом — метров в 300–400 — сверкал зелеными и голубыми искрами. Солнце уже зашло, и лишь на снегах горели разноцветные блики.

И вдруг бабочка лимонница пролетела мимо меня... Что здесь, на высоте 4000 метров, среди вечных льдов, ищет эта бабочка? Впрочем, то же можно было спросить и у меня...

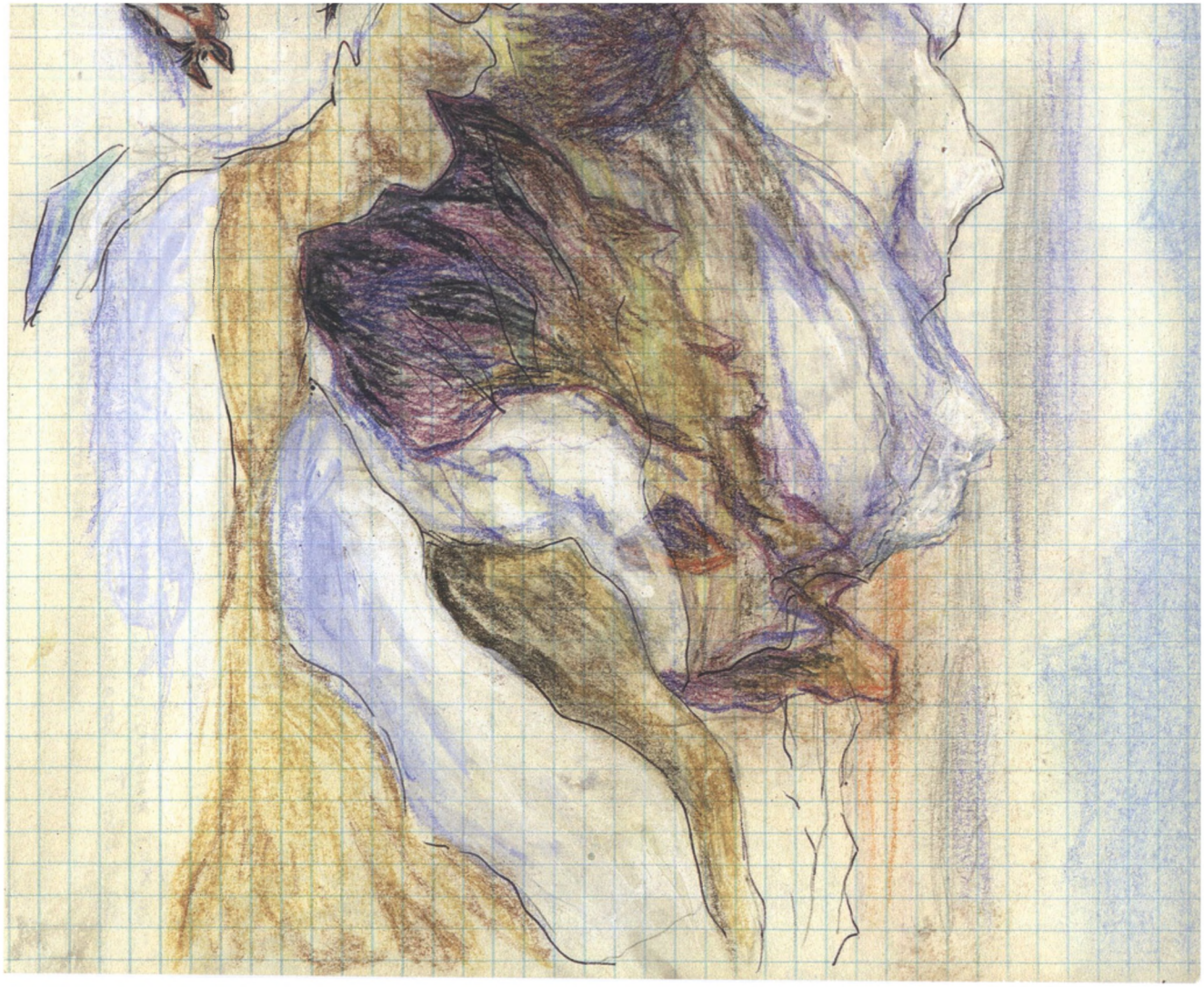
АЛЬБОМ 12. РИС. 25 (ФРАГМЕНТ) ▲

АЛЬБОМ 12. РИС. 25



У самого начала Южного ледника я наткнулась на своего рода memento mori* — мертвую лошадь... Не всем, видно, удается благополучно преодолеть коварный ледник! С другой стороны, это указывало на то, что я — на верном пути.

* Memento mori – помни о смерти (*лат.*).



АЛЬБОМ 12. РИС. 26

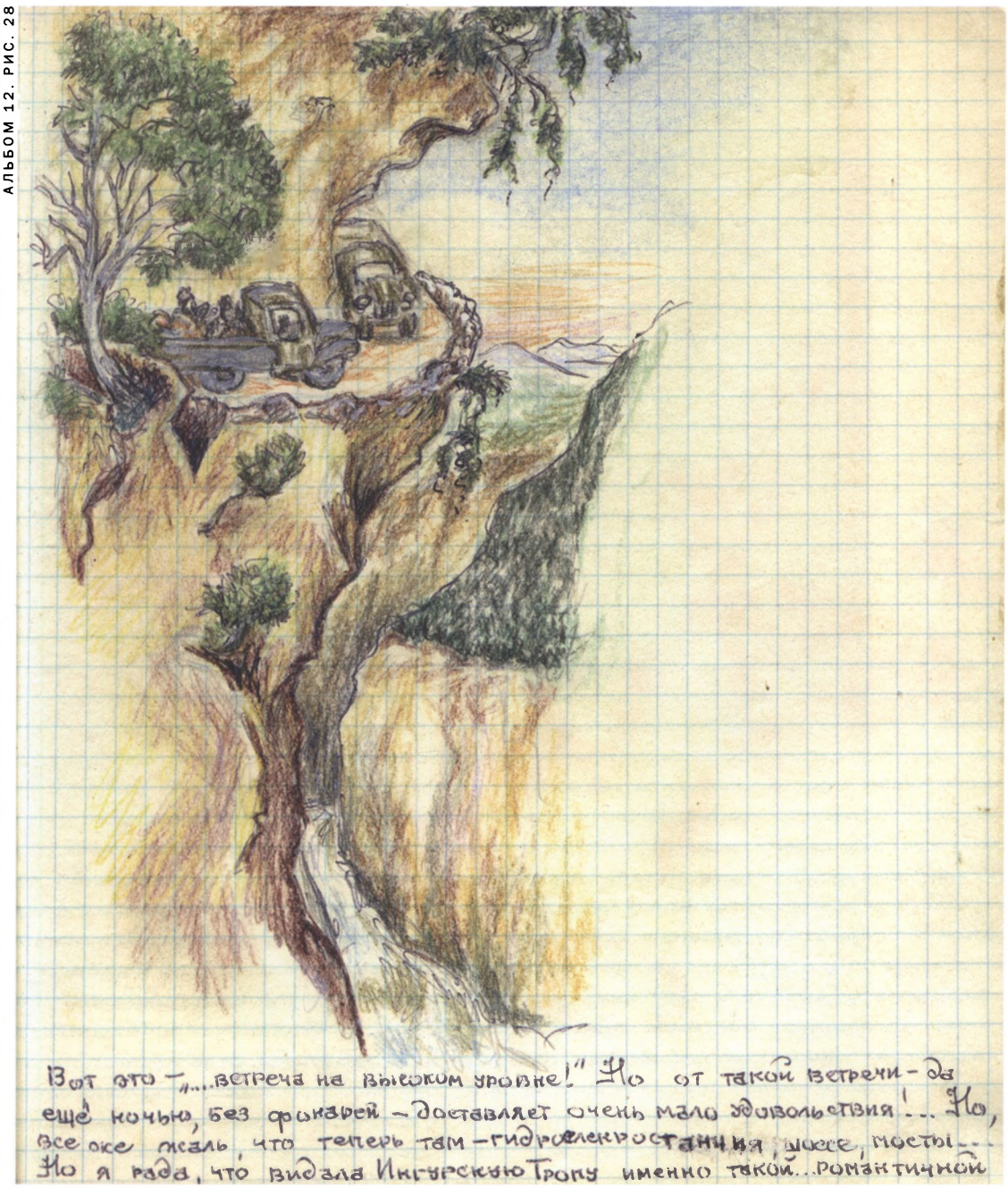
Лесоповал, а вернее, просто уничтожение леса, у меня всегда вызывает грусть.

Сверху бревна своим ходом спускаются покотом с горы. На сани (да, на сани и летом: сани — единственный вид транспорта) грузят лишь те, что на дороге, и доставляют к реке Ингур, где их сплавляют мулем*, где на камнях их разбивает в щепу, которой покрыт залив Поти до самого горизонта.

* Мулем – сплав леса отдельными бревнами, не связанными в плот.

Вот это — ...встреча на высоком уровне! Но от такой встречи, да еще ночью, без фонарей, очень мало удовольствия!.. Но все же жаль, что теперь там — гидроэлектростанция, шоссе, мосты... Но я рада, что видела Ингурскую Тропу именно такой, романтичной.

Подобные рейсы разрешаются автоинспекцией, только если водитель — шофер первого класса, имеет большой опыт вождения машин по горному бездорожью. Он может перевозить не более четырех центнеров груза или не более шести пассажиров. Ну и само собой, у водителя и у пассажиров нервы должны быть стальные.



В Очамчире я села в автобус до Сухуми; из Сухуми электричкой — в Адлер. Там самолетом — до Минвод. Опять электричка — и я в Ессентуках.

Лай собак, стук калитки разбудили всех: на пороге показалась Алевтина Ивановна в ночной рубашке, за нею Ариша и, протискиваясь вперед и протирая кулаками глаза, заспанный толстяк Сашка: «Где реактивный самолет?»

Но я ничего не видела и не слышала: я читала и перечитывала невероятно безграмотно перевранную международную телеграмму: «...благословляю, целую, обнимаю...», и опять «...благословляю...». А сердце пело на все лады: «Жива! Жива моя старушка! Родная, единственная!» И я боялась расплескать то счастье, которое не могло вместиться в моем сердце...

АЛЬБОМ 12. РИС. 29

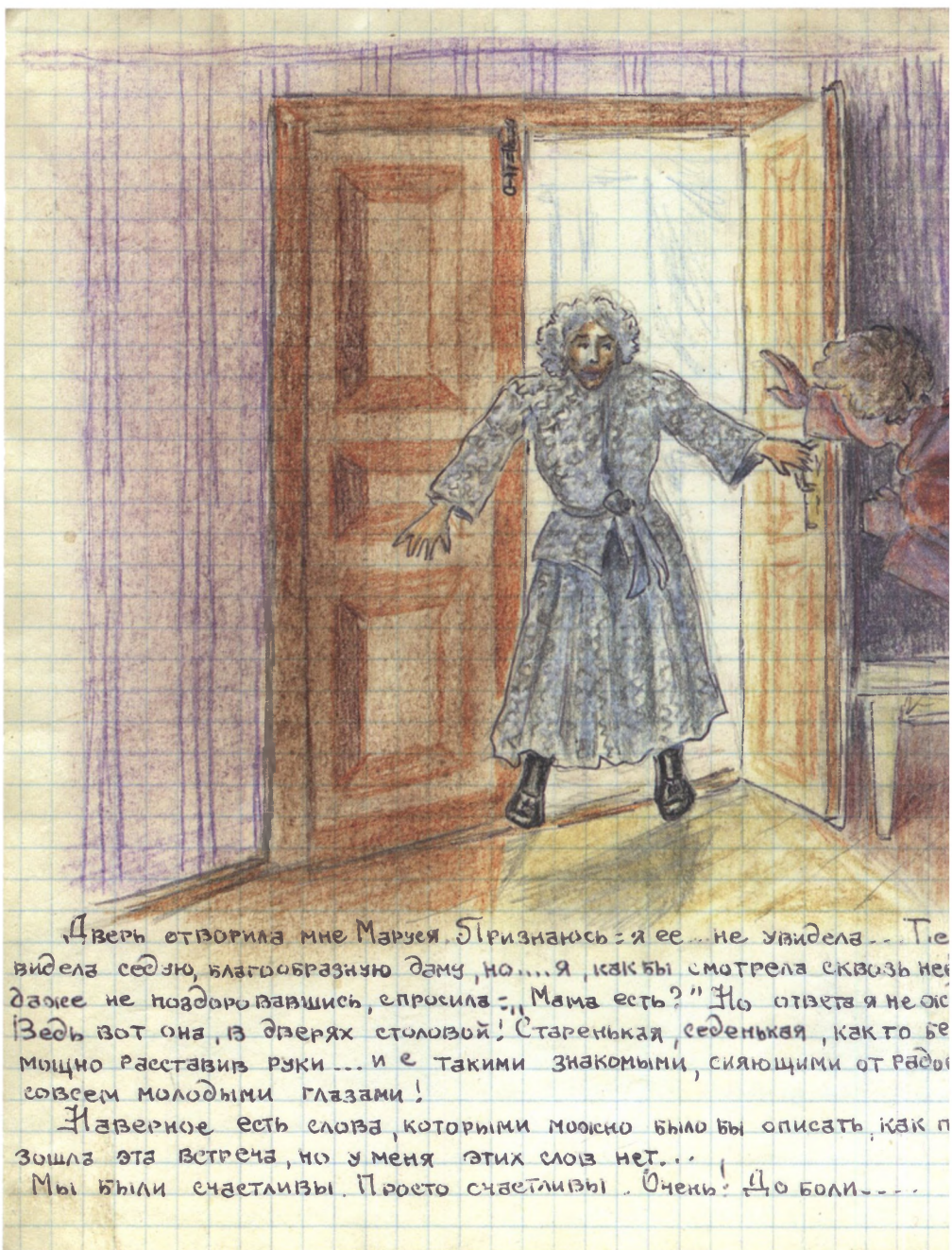
Год пролетел. Все справки о том, что Kersnowsky — это и есть Керсновская, моя мать, получены. Получено и разрешение на отпуск. Я могу ехать в Одессу, где мама уже будет меня ожидать.

Дверь отворила мне Маруся*. Признаюсь: я ее... не увидела... То есть я видела седую благообразную даму, но... Я как бы смотрела сквозь нее и, даже не поздоровавшись, спросила: «Мама есть?» Но ответа я не ждала. Ведь вот она, в дверях столовой! Старенькая, седенькая, как-то беспомощно расставив руки... и с таким знакомыми, сияющими от радости, совсем молодыми глазами!

Наверное, есть слова, которыми можно было бы описать, как произошла эта встреча, но у меня этих слов нет...

Мы были счастливы. Просто счастливы. Очень! До боли...

* М. Ольшевская.



АЛЬБОМ 12. РИС. 30

Это был своего рода медовый месяц. Идиллия началась на палубе теплохода «Украина». Тихая, теплая ночь, море как зеркало. Мама на шикарной постели из складного кресла, чемодана, подушки и моего походного одеяла; я у ее ног. Нам надо было так много сказать друг другу, что мы молчали...

Это был, своего рода, „Медовый Месяц". Идилия началась на палубе теплохода „Украина". Тихая, тёплая ночь, море — как зеркало. Мама на „шикарной" постели, из складного кресла, чемодана, подушки и моего „походного" одеяла; я — у ея ног. Нам надо было так много сказать друг другу... что мы молчали...

Идиллия продолжалась и дальше: в Сочи, Хосте, Адлере, Пицунде, Новом Афоне... Переезжали мы с места на место морскими трамваями, то есть маленькими катерами. Погода была замечательная, ночи теплые, и мы располагались где под чинарой, где под виноградной лозой или реликтовой сосной. Что может быть лучше? Летающие искры — светлячки — и пение цикад, висевшее сплошным звоном серебряных колокольчиков... и рядом любящая и любимая, потерянная и вновь обретенная моя ласковая старушка.

Идилия продолжалась и дальше: в Сочи, Хосте, Адлере, Пицунде, Новом Афоне... Переезжали мы с места на место „морскими трамваями", т.е. маленькими катерами. Погода была замечательная, ночи тёплые и мы располагались где-под чинарой, где-под виноградной лозой или „реликтовой" сосной. Что может быть лучше? Летающие искры - светлячки и „пенье" цикад, висевшее сплошным звоном серебряных колокольчиков..... и, рядом, любящая и любимая, потерянная и вновь обретённая моя ласковая старушка.

Мама была скандализована моим бесстыдным купальником. Сама она купалась, надев одну на другую две ночных рубахи с длинными рукавами. И что же? Мой костюм не привлек к себе внимания, зато на всем пляже не было ни одного купальщика, независимо от пола и возраста, кто не обратил бы внимания на купальщицу столь почтенного возраста в рубахах до пят.

Мама была скандализована моим „бесстыдным" купальником. Сама она купалась ... надев одна на другую, две ночных рубахи, с длинными рукавами. И что же? Мой костюм не привлёк к себе внимания; зато, на всём пляже, не было ни одного купальщика — независимо от пола и возраста — кто не обратил бы внимания на купальщицу, столь почтенного возраста, в рубахах до пят.

Разумеется, я повезла маму на озеро Рица. Восторгу ее не было предела! И я так радовалась, наблюдая ее поистине молодой восторг, что завела ее слишком далеко, а когда хватилась, то увидела, что мы опаздываем к отходу автомашины! Надо было за полчаса отмахать свыше четырех километров! И мы помчались... Вот это была картина! Я бежала впереди, а мама за мной, уцепившись за мой пояс одной рукой и крючком от зонтика, который был у нее в другой руке. Чтобы придать бодрости, я ей говорила, что мы уже почти у цели: лишь до поворота! — «Jusqu'au tournant!» Вот это «до поворота» она мне долго, смеясь, поминала!

Как быстро промелькнул наш «медовый месяц» на Черноморском побережье Кавказа! И еще месяц мирной жизни в семье друзей. И вот я в Минводах, на старом аэродроме. Трап уже откатили. В последний раз мелькнуло в иллюминаторе дорогое мне лицо моей старушки. Я перекрестила ее... И вот я опять одна...

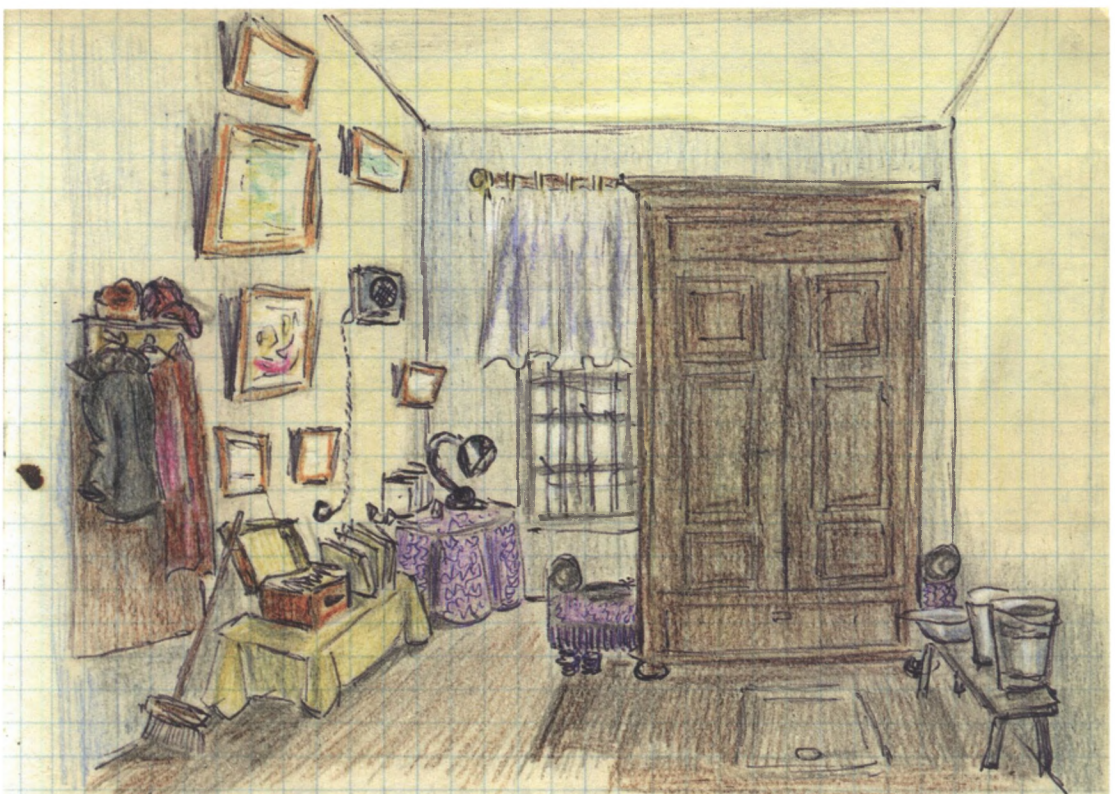
— Не грусти! Старушка вернется, — сказал, проходя мимо, один из рабочих аэродрома.

Вернется. Легко так говорить... Нам предстоит разлука на два года или... навсегда? У нее — возраст, у меня — шахта... Доживем ли? И странное дело! Мне стало как бы легче на душе. Как будто бы сочувствие совершенно незнакомого мне человека является своего рода ручательством, что она действительно вернется...

Через два дня улетела и я. На Север. В шахту.

Как быстро промелькнул наш „медовый месяц" на Черноморском побережье Кавказа! И еще месяц мирной жизни в семье друзей. И вот я в Минводах, на старом аэродроме. Трап уже откатили. В последний раз мелькнуло в иллюминаторе дорогое мне лицо моей старушки. Я перекрестила её"... И вот я — опять одна ---
— „Не грусти! Старушка вернётся —" сказал, проходя мимо, один из рабочих аэродрома.
„Вернётся"! Легко так говорить... Нам предстоит разлука на два года или... навсегда? У нея — возраст, у меня — шахта... Доживем ли? И — странное дело! Мне стало как бы легче на душе. Как будто бы сочувствие совершенно незнакомого мне человека, является, своего рода, ручательством, что она, действительно, вернётся ---.
Через 2 дня улетела и я. На Север, В шахту.

Стоит ли говорить о своей квартире... даже если она всего пять квадратных метров? К тому же, со всеми неудобствами? Но дело в том, что за последние 20 лет я впервые могу остаться одна и могу отдыхать. Хоть последний мой год в Норильске я знала, что никто не наступит на голову! Воду надо было носить чуть не за полкилометра, а клозет (верней, отвратительный нужник) на втором квартале. Соседи мои были, мягко выражаясь, незавидные: через коридор, дверь в дверь, жил составитель поездов с женой. Затрудняюсь решить, кто из них чаще бывал пьян [...].



Стоит ли говорить о своей квартире"... даже если она – всего 5м²? К тому же – со всеми..."неудобствами"? Но дело в том, что за последние 20 лет я, впервые, могу остаться одна и могу отдыхать. Хоть последний мой год в Норильске я знала, что никто не наступит на голову! Воду надо было носить чуть не за пол-километра, а клозет (верней – отвратительный нужник) на втором квартале. Соседи мои были, мягко выражаясь, незавидные: через коридор – дверь в дверь – жил составитель поездов с женой. Затрудняюсь решить, кто из них чаще бывал пьян? Рядом – пьяницы.

Большое удобство — это близость к шахте. Дом был на самом Нолевом пикете, то есть до шахты рукой подать…

Сколько раз, торопясь на работу, я шагала напрямик по шанхайчикам — балка́м, занесенным снегом, переступая через антенны радио и внимательно присматриваясь, чтоб не угодить ногой в трубу!

Сколько раз, торопясь на работу, я шагала, напрямик, по шанхайчикам" — балка́м, занесенным снегом, переступая через антенны радио и внимательно приематриваясь, что б не угодить, ногой, в трубу!

Открытие шахтерского кинотеатра должно было состояться на Новый год, а чтобы зал был нарядным, профорг шахты попросил меня нарисовать панно на сказочные темы. Я охотно согласилась, но с одним условием: это будет мой подарок шахте и рисовать я буду после работы. Только чтобы холсты на подрамниках и краски были предоставлены заблаговременно. Разумеется, все вышло не так: лишь в середине декабря в фойе театра принесли 15 подрамников размером от двух до пяти метров, а красок вообще, кроме мела, синьки и столярного клея, не дали.

И я принялась за дело... В ход пошли все мои запасы — целый чемодан. Были у меня и акварель, и темпера, и гуашь... и черный кофе, чтобы выдержать без сна и отдыха две недели. В шахте я работала ночью, а днем рисовала. Питалась тем, что было в шахтерском буфете — черствыми пирожками, кислыми котлетами и киселем. И пила кофе... И творила...

„Открытие" шахтёрского кинотеатра должно было состояться на Новый Год, а чтобы зал был „нарядным". профорг шахты попросил меня нарисовать „панно" на сказочные темы. Я охотно согласилась, но с одним условием": это будет мой подарок шахте и рисовать я буду после работы. Только, что бы холсты на подрамниках и краски были предоставлены заблаговременно. Разумеется, все вышло не так: лишь в середине декабря, в фойе театра принесли 15 подрамников, размером от 2^х до 5^ти м, а красок. Вообще, кроме мела, синьки и столярного клея - не дали.

И я принялась за дело... В ход пошли все мои запасы - целый чемодан. Были, у меня и акварель и темпера и гуашь... и чёрный кофе, что бы выдержать, без сна и отдыха, две недели. В шахте я работала ночью, а днём рисовала. Питалась тем, что было в шахтёрском буфете - чёрствыми пирожками, кислыми котлетами и киселём. И пила кофе... И - „творила"... Последнюю картину" я закончила, когда уже собирались „гости". И - свалилась", без сил. 1^ое и 2^ое января я спала, как убитая

Последнюю картину я закончила, когда уже собирались гости. И — свалилась без сил. 1-е и 2-е января я спала как убитая.

К женскому дню 8 Марта всех женщин нашей шахты сфотографировали для стенда.

— Всем — благодарность! Всех отметили, даже Ленку Глухову, что нас газировкой поит! А нашу Антоновну — единственную женщину-шахтера — и забыли! — разглагольствовал Антоша Пуртов, взрывник.

Я пробегала мимо, спешила к Главному — подписать путевку на производство взрывных работ. Бросив беглый взгляд на стенд, я рассмеялась.

— Поместить меня среди наших девчат — все равно, что поставить трактор в один ряд со швейными машинами!

Я была так же далека от подозрений, как князь Канут из баллады Алексея Толстого...

АЛЬБОМ 12. РИС. 38 (ФРАГМЕНТ) ▲

АЛЬБОМ 12. РИС. 39

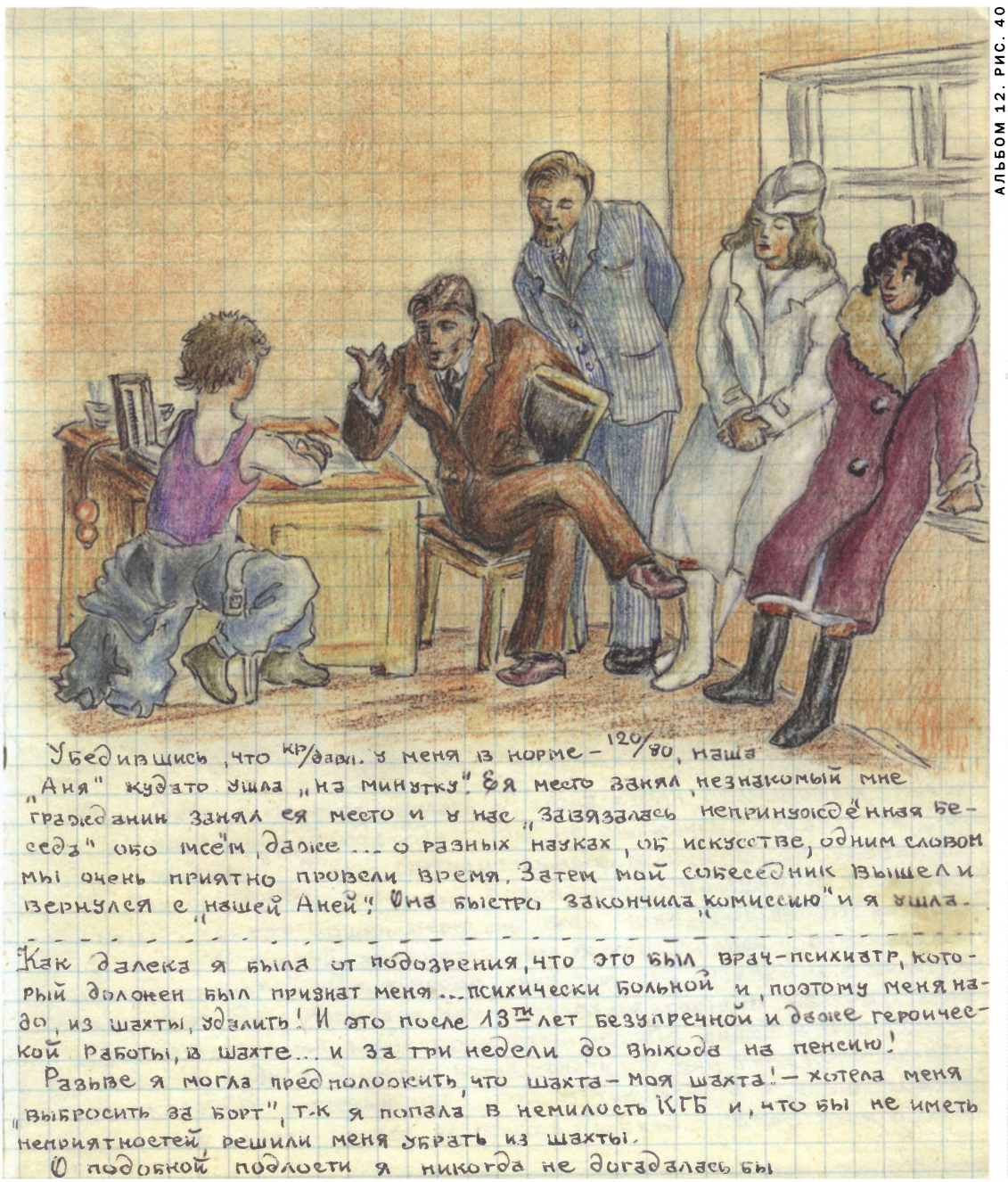
К женскому дню" - 8 Марта всех женщин нашей шахты, сфотографировали для стенда. — "Всем - благодарность! Всех отметили - даже Ленку Глухову, что нас газировкой поит! А нашу Антоновну - единственную женщину-шахтёра - и забыли!" разглагольствовал Антоша Пуртов, взрывник. Я пробегала мимо - спешила к "Главному" - подписать путёвку", на производство взрывных работ. Бросив беглый взгляд на стенд, я рассмеялась — "Поместить меня среди наших девчат - всё равно, что поставить трактор в один ряд со швейными машинами!" Я была так же далека от подозрений, как... Князь Канут, из баллады Алексея Толстого....

Убедившись, что кровяное давление у меня в норме — 120/80, наша Аня куда-то ушла на минутку. Ее место занял незнакомый мне гражданин, и у нас завязалась непринужденная беседа обо всем, даже о разных науках, об искусстве, одним словом, мы очень приятно провели время. Затем мой собеседник вышел и вернулся с нашей Аней. Она быстро закончила комиссию, и я ушла.

Как далека я была от подозрения, что это был врач-психиатр, который должен был признать меня психически больной, и поэтому меня из шахты надо было удалить! И это после 13 лет безупречной и даже героической работы в шахте... и за три недели до выхода на пенсию!

Разве я могла предположить, что шахта — моя шахта! — хотела меня выбросить за борт, так как я попала в немилость КГБ и, чтобы не иметь неприятностей, решили меня убрать из шахты.

О подобной подлости я никогда не догадалась бы.



АЛЬБОМ 12. РИС. 40

Я с удивлением остановилась. У стола стоял незнакомый мне человек в полувоенной одежде.

— Вы не ошиблись! — сказал он. — Это я вас вызвал.

После вступительных расспросов он сказал:

— В органы Государственной безопасности поступили тревожные сигналы...

И тут пошел перечень всех моих проступков за последние годы. Я скорей удивилась, чем встревожилась, и отвечала с предельной прямотой. Да, я недовольна тем, что лотерейные билеты нам навязывают; да, я написала карикатуру на горного мастера Матлаха; да, я писала письма моей приятельнице. Не вижу в этом ничего плохого. А ведь я должна была знать, что для того, кого захватила зубчатка КГБ, — спасенья нет! Но... я так верила в свою шахту! Шахта меня знает, шахта заступится, шахта не даст меня в обиду!

Я, с удивлением, остановилась. У стола стоял, незнакомый мне человек в полувоенной одежде. — „Вы не ошиблись!" сказал он, „это я вас вызвал." После вступительных вопросов, он сказал: — „В Органы Государственной Безопасности поступили тревожные сигналы..." и тут пошел перечень всех моих „проступков" за последние годы. Я скорей удивилась, чем встревожилась и отвечала с предельной прямотой. Да, я недовольна тем, что лотерейные билеты нам навязывают; да, я написала карикатуру на горного мастера, Матлаха; Да, я писала письма моей приятельнице. Не вижу в этом ничего плохого. А ведь я должна была знать, что для того, кого захватила „зубчатка" КГБ - спасенья нет! Но... я так верила в „свою" шахту! Шахта меня знает, шахта заступится, шахта - не даст меня в обиду!

«Где эта улица, где этот дом?
Где тот участок, где все кверху дном?
Кайла — без ручек, нет и лопат...
Нету шуровок, в узлах весь канат!»

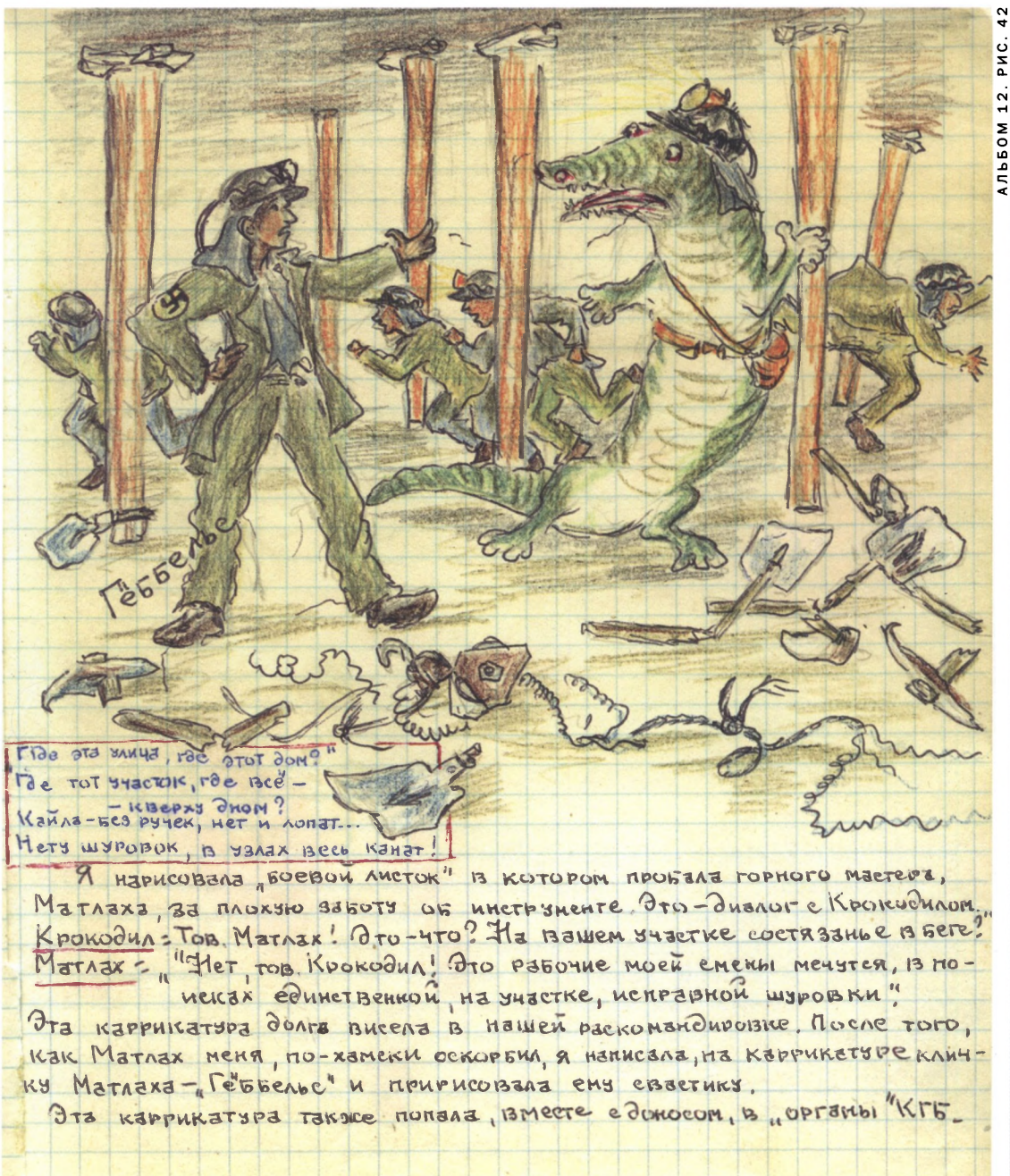
Я нарисовала боевой листок, в котором пробрала горного мастера Матлаха за плохую заботу об инструменте. Это — диалог с Крокодилом:

Крокодил: Тов. Матлах! Это — что? На вашем участке состязанье в беге?

Матлах: Нет, тов. Крокодил! Это рабочие моей смены мечутся в поисках единственной на участке исправной шуровки.

Эта карикатура долго висела в нашей раскомандировке. После того, как Матлах меня по-хамски оскорбил, я написала на карикатуре кличку Матлаха — «Геббельс» и пририсовала ему свастику.

Эта карикатура также попала вместе с доносом в органы КГБ.



Я нарисовала „боевой листок" в котором пробала горного мастера, Матлаха, за плохую заботу об инструменте. Это – диалог с Крокодилом.
Крокодил: Тов. Матлах! Это-что? На вашем участке состязанье в беге?"
Матлах: „Нет, тов. Крокодил! Это рабочие моей смены мечутся, в поисках единственной, на участке, исправной шуровки".
Эта карикатура долго висела в нашей раскомандировке. После того, как Матлах меня, по-хамски оскорбил, я написала, на карикатуре кличку Матлаха – „Геббельс" и пририсовала ему свастику.
Эта карикатура также попала, вместе с доносом, в „органы" КГБ.

...Я проскочила через раскомандировку и уже на пороге бессознательно, боковым зрением увидела нечто знакомое, очень знакомое. Я не ошиблась: большими черными буквами: ...КЕРСНОВСКАЯ...

Да, Керсновская... Недостойное поведение Керсновской... собрание... Товарищеский суд... Дальше я ничего не прочла... Или — не поняла? Или — не запомнила?.. Слово «недостойное поведение» в сочетании с моей фамилией?! Да это — небывалый гротеск! И кто наносит мне этот удар? Шахта! Моя шахта!!! Нет! Это — дурной сон.

Что значит сила убеждения. Полковник госбезопасности. Мне он знаком... по книжкам, по кино... Это немолодой уже человек — седой, с больным сердцем, но ясным умом. Он много видел. У него огромный жизненный опыт... Это — мудрость и доброжелательность. Этот поймет! И я вошла в большой кабинет полковника. Но раньше самого полковника я увидела в головах длинного стола огромный портрет Дзержинского — почему-то с кавалерийской саблей. На другом конце стола сидел сам полковник, чем-то похожий на своего vis-a-vis Дзержинского.

Я смело подошла к нему, поклонилась и сказала:

— Товарищ полковник! Я вынуждена обратиться к вам с жалобой! Мне обидно, что товарищ майор...

Полковник так и дернулся:

— Смотрите! Ей, оказывается, обидно, — скрипучим голосом,

пофыркивая, как разъяренная кошка, прервал меня полковник. — Это ей-то может еще быть обидно?

Я остановилась, как говорится, на всем скаку. С моих глаз будто пелена спала, и я увидела совсем иного полковника — не мудрого, доброго — из кинокартины. Передо мной сидел злобный старикашка с мутными глазами снулой рыбы и желтушным цветом лица. [...]

У меня было странное ощущение: что-то вроде тоски и отчаяния, щемящая боль от сознания, что я, может быть, нанесу смертельный удар моей старушке, которая с гордостью и доверьем ждет, что я на днях с честью закончу свою шахтерскую карьеру...

Да что там! Как бы ни скребли на душе моей кошки, я знала, что забрало у меня поднято, а карманы — полны бисера.

Могу ли я изменить тебе теперь — о Рыцарь Печального Образа?!

Что значит - сила убеждения". Полковник Госбезопасности Мне он знаком... по книжкам, по кино.... Это - немолодой уже человек - седой, с больным сердцем, но ясным умом. Он много видел. У него - огромный жизненный опыт... Это - мудрость и доброжелательность. Этот поймёт! И я вошла в большой кабинет полковника. Но раньше самого полковника, я увидела, в головах длинного стола огромный портрет Дзержинского - почему-то с кавалерийской саблей

На другом конце стола сидел сам полковник, немного похожий на своего vis-à-vis, Дзержинского

Я смело подошла к нему, поклонилась и сказала: - „Товарищ полковник! Я вынуждена обратиться к вам с жалобой! Мне обидно, что товарищ майор...."

Полковник таки дёрнулся - „Смотрите! Ей, оказывается, „обидно", скрипучим голосом, пофыркивая, как разъяренная кошка, прервал меня полковник - „Это ей-то может еще быть обидно?"

Я остановилась, что говорится „на всем скаку". С моих глаз - будто пелена спала с глаз и я увидела совсем иного полковника - не „мудрого, доброго" из кинокартины. Передо мной сидел злобный старикашка, с мутными глазами „снулой рыбы" и желтушным цветом лица. Мне показалось, что на меня опрокинули ушат холодной воды Это - „прояснило ситуацию". И всё стало на место. И, не дожидаясь приглашения, я села. Что бы я ни чувствовала, как бы мало мои чувства ни напоминали доверья - я брезгую надевать личину притворства, сознательно отбрасываю все, чем можно было бы заслониться от ожидаемого удара. Отчего? Не знаю. Должно быть это - идиосинкразия к малодушью?

У меня было странное ощущение: что то вроде тоски и отчаяния, щемящая боль от сознания, что я, может быть нанесу смертельный удар моей старушке, которая, с гордостью и доверьем ждет, что я, на днях, с честью, закончу свою шахтёрскую карьеру...

Да что там! Как бы ни скребли, на душе моей, кошки, я знала, что „забрало", у меня, поднято... а карманы - полны бисера.

Могу ли я изменит тебе теперь - о, Рыцарь Печального Образа?!

Сегодня — гражданская казнь... и даже — с репетицией. Судилище начнется в 4 часа. Но уже в 10 часов мне велено явиться на Гвардейскую площадь — в логово КГБ. Зачем? Просто для издевательства: сиди и жди! Провожай глазами снующих туда-сюда чекистов в военной, полувоенной и гражданской одежде. Нет! Этого удовольствия я вам не доставлю! Я прихватила с собой две плитки шоколада и книгу шведского писателя Аксель Мунте «San Michele»*.

Я открыла книгу наугад и увлеклась чтением. Автор чуть не поддался соблазну: ночь... полная луна... ему было 26 лет... графиня, тоскующая в загородном замке... прогулка вдвоем в лодке... Крик совы, нарушивший очарование лунной ночи... Диалог с собакой... Чтоб не рисковать еще одной прогулкой лунной ночью, он предпочел... прогулку в Лапландию... Цепь приключений и случайностей. Случайностью было и то, что из

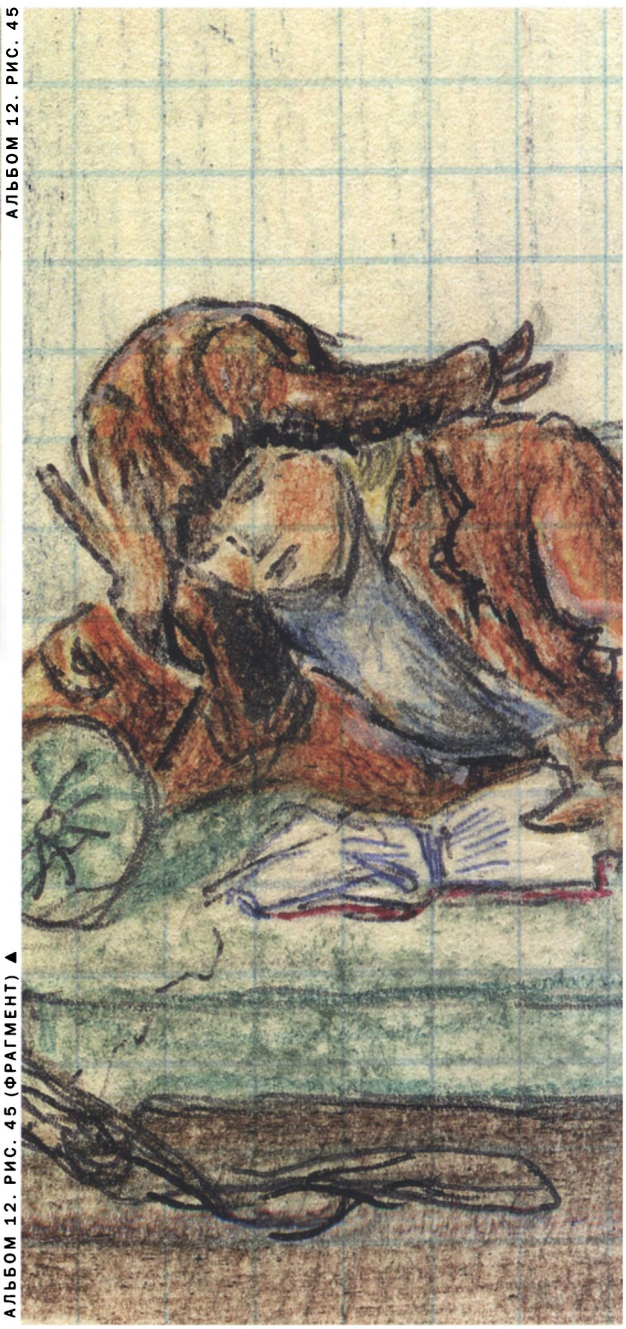
* В 1960 году Евфросиния читала книгу «Легенда о Сан Микеле» (1929) на иностранном языке (книгу она могла получить от своей мамы). В русском переводе книга вышла только в 1969 году, переводила ее по заказу Гослитиздата литератор Т.А. Аксакова-Сиверс (1892–1982), которая с 1937 по 1943 год была узницей ГУЛАГа.

Сегодня – „гражданская казнь"... и даже – „с репетицией". Судилище начнется в 4 часа. Но... уже в 10 часов мне велено явиться на Гвардейскую Площадь" – в логово КГБ. Зачем? Просто – для издевательства: сиди и жди! Провожай глазами снующих туда-сюда чекистов в военной, полувоенной и гражданской одежде. Нет! Этого удовольствия я вам не доставлю! Я прихватила с собой две плитки шоколада и книгу шведского писателя Аксель Мунте – „San Michele"!

Я открыла книгу наугад ... и увлеклась чтением. Автор – чуть не поддался соблазну: ночь ... полная луна ... ему было 26 лет ... графиня, тоскующая в загородном замке ... прогулка, вдвоем, в лодке ... Крик совы, нарушивший очарование лунной ночи ... Диалог с собакой ... Что б не рисковать еще одной прогулкой, лунной ночью, он предпочел ... прогулку в ... Лапландию ... Цепь приключений и случайностей. Случайностью было и то, что из обрывка газеты он узнал о холере в Неаполе. Он – врач! Его место – там! И вот он в самом центре очага холеры!

Тут есть над чем подумать! Что заставило его бросить всё, что красиво что способствует успеху, богатству? Что привело его в грязнейшие трущобы, где лишь крысы, умирающие и мертвецы. Какие побуждения заставляют победить страх и преодолеть инстинкт самосохранения?

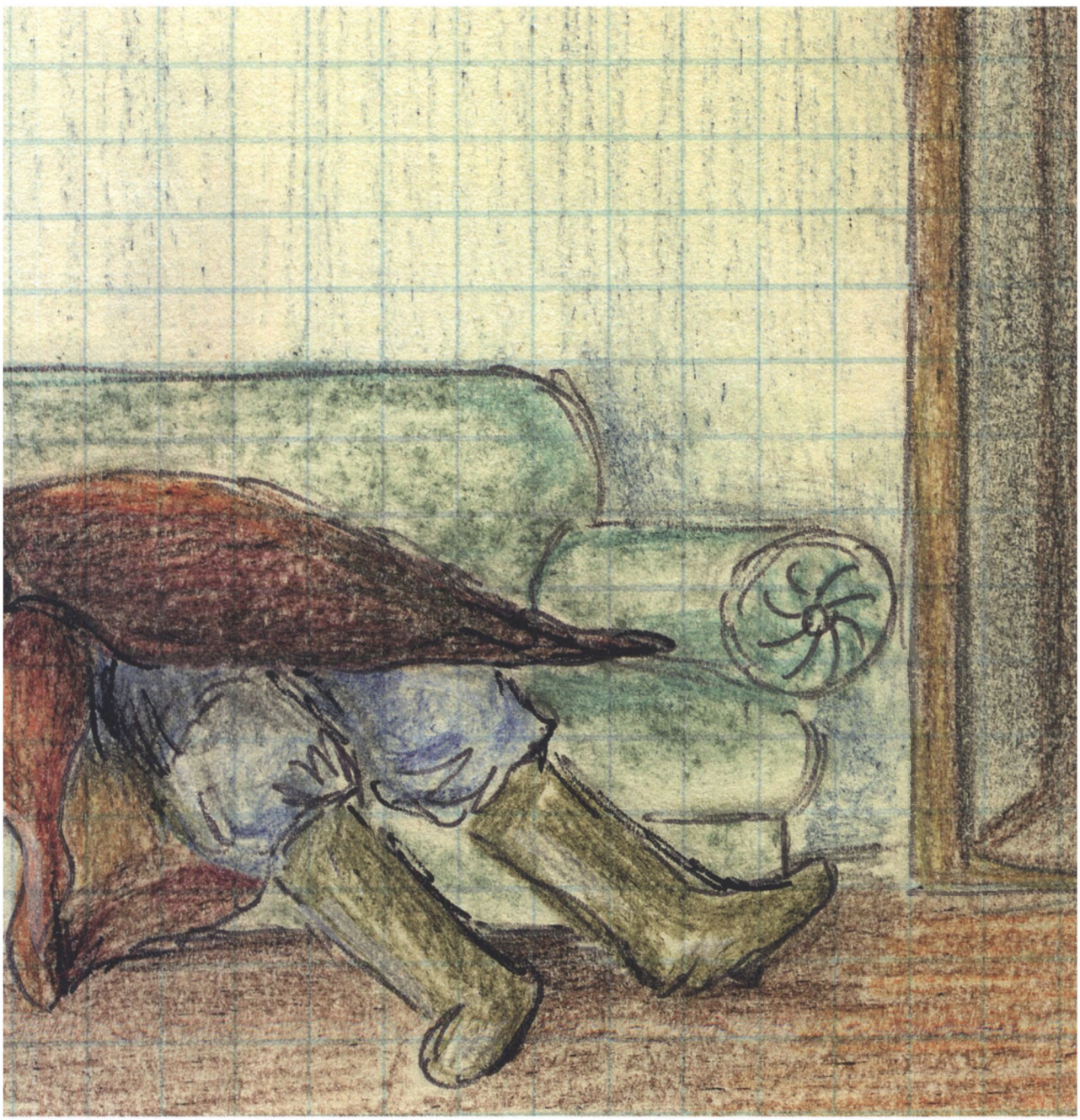
АЛЬБОМ 12. РИС. 45



АЛЬБОМ 12. РИС. 45 (ФРАГМЕНТ) ▲

обрывка газеты он узнал о холере в Неаполе. Он — врач! Его место там! И вот он в самом центре очага холеры!

Тут есть над чем подумать! Что заставило его бросить все, что красиво, что способствует успеху, богатству? Что привело его в грязнейшие трущобы, где лишь крысы, умирающие и мертвецы? Какие побуждения заставляют победить страх и преодолеть инстинкт самосохранения?

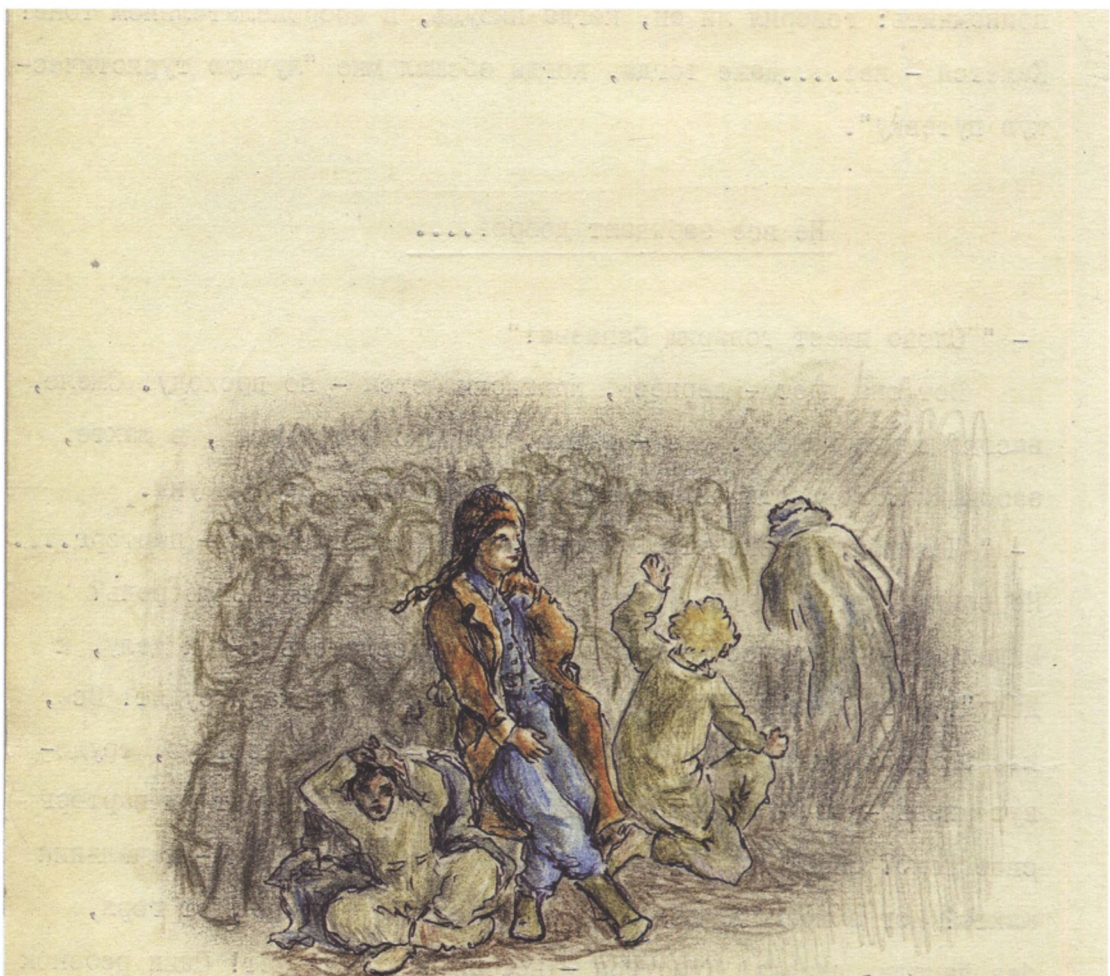


Вхожу в переполненный зал и останавливаюсь: сесть некуда!

Я смотрю на двух пареньков, уступивших мне место. Это — совсем мальчишки.

Один — прехорошенький татарчонок. Он так и подскакивает от волнения, всплескивает руками и вскрикивает: «Почему он сказала?.. а она... почему не сказал?»

Рядом, у моих ног, — паренек — курносый, губошлепистый, вихрастый — ну, вылитый прицепщик с картины «Ужин тракториста». Он так и ерзает и, когда мимо проходят те, кто на меня нападает, он говорит, грозя кулаком: «У, гадина!»



[...]* В зале — шум, выкрики... Кто-то скомандовал: «Занавес!» Занавес пошел криво и застрял. Я вихрем вылетела на сцену и, повернувшись лицом к людям, взмахнула рукой:
— Спасибо, товарищи!

Затем, нырнув под занавес, прошла мимо президиума и стола, за которым сидели кэгэбисты. С края сидел майор. Злой чертик ущипнул меня за язык, и, на мгновение замедлив шаг, я сказала тем же елейным голосом, каким спросил он меня утром, я бросила:
— Ну, как настроеньице? В фойе меня окружили врывники и самый старый из них Быховой, взял обеими руками мою руку со словами:
— Спасибо тебе, Аноновна! Спасиба за то, что не дрогнула, не поползла на брюхе, не унижалась, не молила о пощаде! Еще раз — спасибо!

* **Резолюция собранием шахтеров принята.**
«1. Вынести порицание Керсновской (без какого то ни было упоминания о «недостойном поведении»).
2. Оставить Керсновскую на прежней работе мастера буровзрывных работ вплоть до выхода ее на пенсию».

У лестницы, что ведет в фойе, ко мне подходит группы взрывников. Их «дуайен», старик Быховой, обеими руками жмет мою руку: «Спасибо тебе, Антоновна!»

Я удивлена: «Спасибо? Мне?! Это я должна сказать вам спасибо. А мне за что?» — «Как за что? Как за что?! Да за то, что не дрогнула, не поползла на брюхе! Не молила о пощаде! За это от имени всех наших товарищей еще раз — спасибо!»

* Дуайен (фр. doyen) — старейшина.

АЛЬБОМ 12. РИС. 48 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА)

Вдруг в кабинет начальника шахты ворвался парторг Ефимов.

Старый хрыч был вне себя. Он брызгал слюной, грозил мне пальцем и что-то бессвязно бормотал:

— Если б ты покаялась, пообещала, то все бы кончилось хорошо!

— Да! Для вас!

— Выходя на пенсию... шахта... именной подарок...

Боже мой! Дело шло о судьбе моей матери, а он... именной подарок... Я испытывала брезгливое отвращение. Но понять его было не так уж трудно: этот суд должен был попасть в газету, показываться в кино, как журнал... а получился конфуз... 2000 рударей и шахтеров с удивлением убедились, что страх еще не всех сделал подлецами! Каково было ему, профоргу*, организовавшему это судилище по распоряжению полковника Госбезопасности?!

* В тетрадном варианте воспоминаний Ефимов — парторг.

АЛЬБОМ 12. РИС. 49

На следующий день после суда ко мне на работу, туда, где я разгружала крепежный лес, пришел Евдокимов, один из наиболее интеллигентных взрывников:

— Антоновна, меня прислал Федоров — ты его не знаешь, он новый начальник первого участка. И он тебя впервые видел на суде. Он все понял и хочет тебя предупредить. Полковник разъярен; он требовал, чтобы редактор газеты написал так, как это было задумано, но тот возразил, что это никак невозможно, так как слишком много свидетелей! Но он обещал, что можно что-нибудь придумать.

И вот уже 5 мая [**1960 года**] в газете появилась гнусная клевета: кто-то видел, как я 24 августа 1944 года, будучи на службе у немцев, сожгла в церкви в Могилеве женщин и детей... Напрасно Моня [**Трегубов**] заявил редактору, что 20/VIII 1944 года я лежала в ЦБЛ, здесь, в Норильске.

Числа 15 мая — вторая статья. На этот раз статья порочила моих родителей, якобы избивавших плетью по лицу своих бесправных крестьян. Редактор сказал Моне Трегубову, что никакое опровержение немыслимо, так как эти статьи принес полковник КГБ... Тогда я обратилась к прокурору Кретову, который, как говорили, человек порядочный. Прокурор меня вызвал на 11 часов. Я пришла. Его не оказалось, но он, по словам секретарши, просил меня подождать. Аксель Мунте* был при мне, и я села у окошка в ожидании прокурора.

В час дня пришел прокурор, и сразу секретарша выглянула, сижу ли я? Я засекла время. Прошло 20 минут, и к прокурору прошел человек в гражданской одежде, но я его узнала — коренастый, с очень большой круглой головой и светлыми волосами. Только тогда он был в полувоенном кителе. Моя догадка подтвердилась: 20 минут — ровно столько, сколько нужно,

* Книга «Легенда о Сан-Микеле».

чтобы собраться и дойти от КГБ до прокуратуры. Еще один урок: власть юридическая подчинена полицейской власти. И все же — загадка: когда я вошла, прокурор встал, указал мне на стул и сказал: «Садитесь... будьте осторожны». Что? Боялся он, что я сяду мимо стула? Или опасаться нужно того, в синем костюме, кто стоит у окна, рассматривая какие-то папки?

Начал прокурор:
— Я прочел... С вами поступили не по закону: ваши товарищи решили оставить Вас на вашей работе. Вы получали [четыре — четыре с половиной] тысячи. Теперь — 860 рублей. И, считая оплату 6 месяцев отпуска... Это — большая разница. Я заставлю разницу заплатить начальника шахты из его кармана, это...
— Плевать мне на эти деньги! — вырвалось у меня.
— Так чего же Вы хотите? — спросил он растерянно.
— Я хочу правды! Если я сжигала детей — пусть меня расстреляют! А если это клевета, пусть клеветник будет наказан! Я не хочу, чтобы полковник Кошкин мог, когда захочет, выливать на меня свой ночной горшок!
Кэгэбист подошел к столу. Прокурор молчал. Я махнула рукой...

АЛЬБОМ 12. РИС. 52

АЛЬБОМ 12. РИС. 51 (ФРАГМЕНТ) ◀

Еще один «урок» — последний ли? — я успела получить буквально накануне того дня, когда я покидала Норильск. Все мои вещи я отдала Нинке Курчавиной. Комната уже не была моей: моя жилплощадь принадлежала шахте... Но я сделала обмен с моими соседями через коридор — жучкой Ленкой и ее «мужем» Васей-железнодорожником, который бывал трезв (относительно) лишь по пятницам...

Ленка на коленях ползла ко мне, теряя калоши, и, ломая руки, вопила:
— Антоновна! Плюнь мне в рожу и скажи, что я — сволочь и блядь!

— Тебе виднее, — сказала я, пятясь от неожиданности.
— Нет, ты так и скажи! Ты — вот как всегда была к нам добра! Стал бы кто на твоем месте хлопотать, чтобы мы переселились в сухую комнату? А мы в благодарность за твою доброту... тебя продавали... Да! Как Иуда продавали! Так знай же: майор КГБ вызвал Васю к себе и велел, как только почтальон опустит письмо в твой ящик, его вытащить и отнести его в их штаб, на Гвардейскую площадь. Там он ожидал с четверть часа. Затем возвращали письмо. Целехонькое!..

АЛЬБОМ 12. РИС. 53 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА) (ФРАГМЕНТ) ◀ АЛЬБОМ 12. РИС. 53 (ИЗ МАШИНОПИСНОГО ВАРИАНТА)

Эпилог
1970-е года

Век живи, век учись. После каждого урока мне кажется, что мое «высшее образование» завершено... и каждый раз убеждаюсь, что предела низости не существует: это — тот n, к которому всегда можно прибавить единицу.

И получится n+1. Что будет следующей единицей? Жить мне осталось немного... Может... «минет меня чаша сия»!

Мама! Ласковая моя старушка! Я выполнила твое желание...* Все, что здесь написано, — правда. А правда — вечна. Но иногда эта правда ужасна... Может, такую правду лучше вычеркнуть из памяти? Но что тогда останется... Ложь, только ложь! А ложь, даже красивая ложь, — все равно зло. Значит, вычеркнув из памяти ужасную правду, остается пустое место, куда заползает ложь. А неведение — бессильно.

Так пусть живет правда! И — да сгинет ложь!!!

* Евфросиния записала свою историю, как просила ее мама. На это ушло несколько лет, так как она иллюстрировала текст рисунками и создала несколько копий тетрадей, чтобы сохранился ее труд, в случае если рукопись попадет в руки КГБ. Создала она и отдельный «альбомный вариант» своей истории, представленный в этой книге.
Евфросиния не пишет о том, что работа бурильщиком дала осложнения на суставы и с начала 1970-х годов ей пришлось ходить на костылях. Такой она рисует себя на скамеечке возле могилы своей матери в Ессентуках.

ЭПИЛОГ. РИС. 54 ▶

„Век живи, век учись". После каждого урока, мне кажется, что моё „высшее образование" завершено... и, каждый раз убеждаюсь, что „предела низости" не существует: это – тот „м", к которому всегда можно прибавить „1"

И получится „м+1". Что будет следующей „единицей"? Жить мне осталось немного... Может „...минет меня чаша сия!"

Мама! Ласковая моя старушка! Я выполнила твое" желание... Все", что здесь написано – правда. А правда – вечна. Но иногда эта правда ужасна... Может, такую правду лучше вычеркнуть из памяти? Но что „тогда останется... ложь, только ложь! А ложь – даже „красивая ложь – всё" равно – зло. Значит, вычеркнув из памяти ужасную правду, остаётся пустое место, куда заползёт ложь. А неведение – бессильно.

Так пусть живёт правда! И – да сгинет ложь!!!

Виталий
Шенталинский

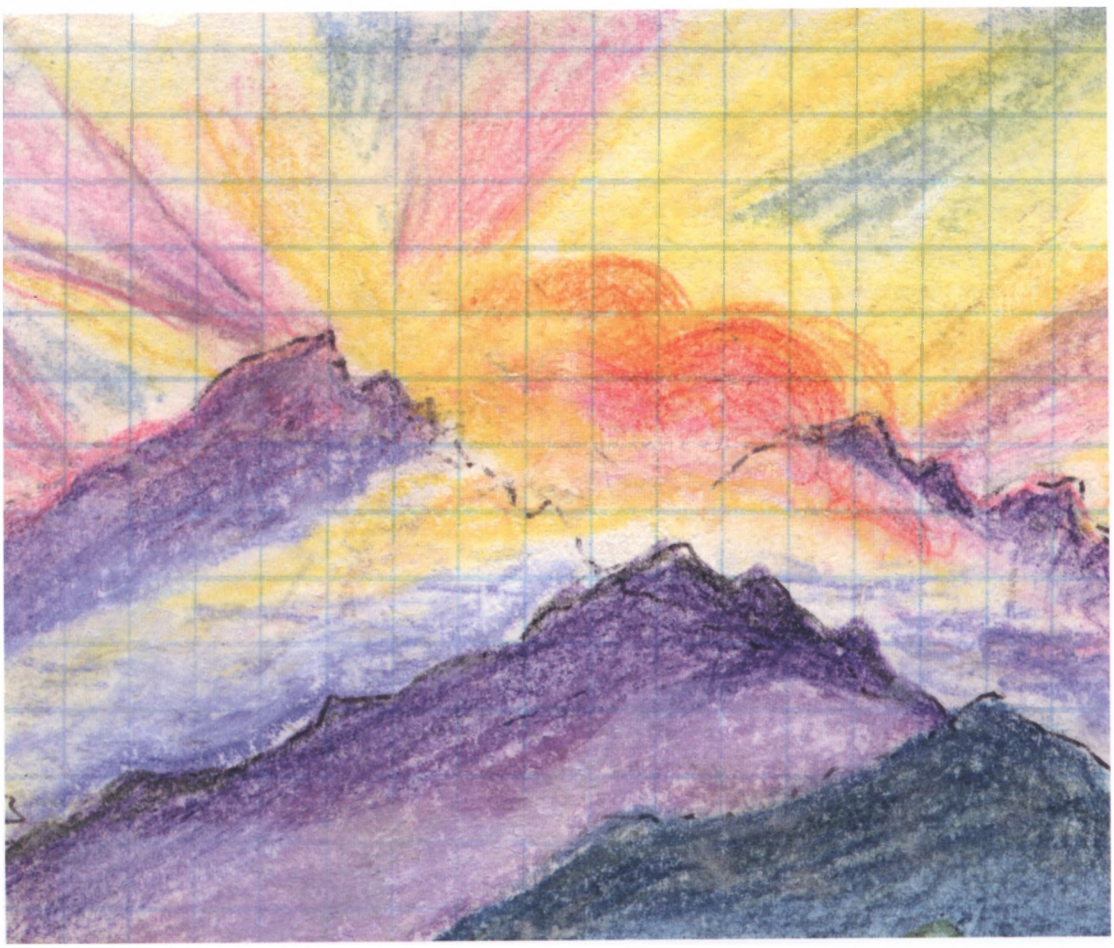
Не убоявшаяся тьмы

Евфросиния Керсновская — гениальная личность, уникальный человек. Один в поле воин! Герой — воочию. Причем ее героизм вырос не на общественной подпитке, социальной, политической почве — а из просветленной природы самого человека. Несомненно, у Бога был особый замысел о ней, кто-то ее вел, какое-то высшее предназначение, которое она, может быть, и не осознавала, но доверялась этому пути, шла, как на свет.

Она претворила свою жизнь в житие. Пройдя крестным путем ГУЛАГа, не считала себя его жертвой, осталась «нормальным европейцем», раз навсегда принятой системе общечеловеческих духовных ценностей не изменяла. Многие узники ГУЛАГа хотели забыть его, чтобы выжить, а она спасала память за себя и за других — в слове и в рисунках, — чтобы выжить. Заново пережила ГУЛ-АД, когда писала-рисовала свою книгу, отважно сберегла свои опасные рукописи и дождалась их выхода в свет — отдала людям. Сколько жизней надо прожить для этого!

Миссия, которую она несла, — Книга. Она в одиночку создавала памятник мировой культуры, который по творческому масштабу может быть внесен в список ЮНЕСКО. Ее книга — феномен слова, мысли и чувства, что и сочинением-то назвать нельзя, — это книга-событие, которая проламывает книжные полки. Одновременно вклад и в историю, и в литературу, и в человековедение, пример того, как поколения разговаривают друг с другом, преодолевая ужас забвения. Книга мистическая и актуальная — сейчас, когда многие стараются жить облегченно, без исторической памяти, а значит, без сознания.

Ее книга — храм, который не вмещается в душу сразу, для этого душа должна вырасти. «Самостоянье человека — залог величия его», — говорил Пушкин. Судьба и Книга Евфросинии Керсновской — свидетельство несомненной пушкинской правоты. Они вселяют надежду: оказывается, человек способен на чудеса, если в нем такое достоинство, если он внутренне свободен, он выстоит в любой беде и даже в тюрьме не станет рабом.



Сведения об авторах

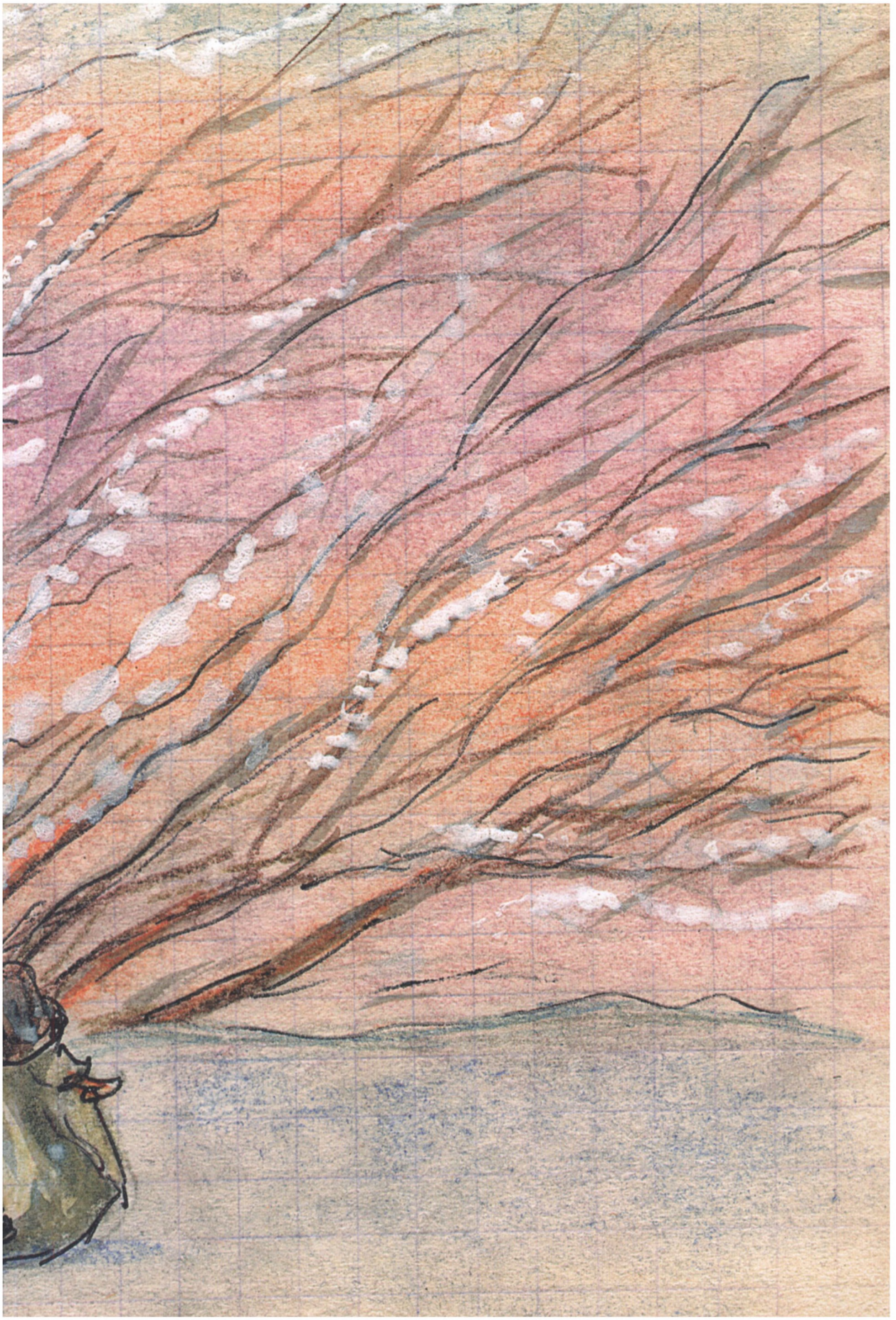
Никита Алексеев.

Родился в 1953 в Москве. Художник и литератор. Его работы находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Эрмитажа, Московского музея современного искусства, Staatliche Museen zu Berlin и в других государственных, муниципальных и частных собраниях.

Автор книг «Ряды памяти» (М.: НЛО, 2008) и «Hic Rhodus, hic salta, или Признаки и дела мужей Шаргорода» (М.: Maier, 2011).

Виталий Шенталинский.

Родился в 1939 в Сибири. Поэт и прозаик. С 1989 по 1993 год в журнале «Огонек» вел рубрику «Хранить вечно», где впервые были частично опубликованы воспоминания Е. Керсновской. В конце 1980-х возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей СП СССР. Трилогия, посвященная этой теме, «Рабы свободы. В литературных архивах КГБ» (1995), «Донос на Сократа» (2001) и «Преступление без наказания» (2007) переиздана (М., 2011).



МУЗЕЙ ГУЛАГА

Государственный музей истории ГУЛАГа основан в 2001 г. Экспозиция открыта в 2004 г. Основатель музея — А.В. Антонов-Овсеенко, известный историк, публицист, общественный деятель, в свое время прошедший через сталинские лагеря.

Музей ГУЛАГа по своей тематике, миссии, истории возникновения входит в категорию музеев памяти (совести).

Собрание музея включает в себя архив документов, писем, воспоминаний бывших узников ГУЛАГа; коллекцию личных вещей, принадлежавших им и связанных с историей пребывания в заключении; коллекцию произведений искусства, созданных художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными авторами, предлагающими свое осмысление этой темы.

gmig.ru

Керсновская
Евфросиния Антоновна

ПРАВДА КАК СВЕТ
Иллюстрированные воспоминания
О сороковых-пятидесятых
В двух книгах
Книга 2
Альбомы 6–12

Сканирование альбомов и набор текста: Е.С. Боброва
Редактор-корректор: Г.В. Атмашкина
Помощник корректора: Т.В. Савватеева

Архив Евфросинии Керсновской
www.gulag.su

Издатель Нелли Подгорская (Maier)
Координатор: Яна Тарасова
Принт-менеджер: Агата Чачко
www.maier-publishing.ru

Музей ГУЛАГа
127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 16
+7 (495) 621 7310
http://www.gmig.ru

Редакционно-издательский дом «Новая газета»
101000, г. Москва, Потаповский пер., д. 3
+7 (495) 926 2001
www.novayagazeta.ru

Гарнитуры: ITC Franklin Gothic, ITC Charter — ©ПараТайп
Тираж: 1000 экз.

Отпечатано в типографии
«PNB Print», Латвия
www.pnbprint.eu

ISBN 978-5-905494-11-6